1 [61]

СТРАНА И МИР

• das land und die welt • our country and the world • le pays et le monde • el pais y el mundo •

- Я – ЗА ВОЙНУ
- ТАМ, ГДЕ ТЫ СТОИШЬ
- БРЕМЯ ТРЕТЬЕГО РИМА
- ГОБСЕК С КОМПЬЮТЕРОМ

РАССЕКРЕЧЕННЫЕ ПИСЬМА

- СОРАТНИК СТАЛИНА НИКОЛАЙ БУХАРИН
- ТЕНИ НА ЧЕРНОМ ЭКРАНЕ
- ИНТЕРВЬЮ С ЧЕРТОМ
- ЗАВЕЩАНИЕ ДЮРРЕНМАТТА

1991 ЯНВАРЬ·ФЕВРАЛЬ

Общественно-политический, экономический и культурно-философский журнал «Страна и мир» издается в Мюнхене один раз в два месяца под редакцией Кронида Любарского, Бориса Хазанова и Эйтана Финкельштейна. Обложка художника Б.Рабиновича. Мнение, выраженное автором, может не совпадать с точкой зрения редакции. Все права сохраняются за авторами. Непринятые рукописи возвращаются с письменной мотивировкой.

Представители журнала:
В Москве – Сергей Лёзов (125167, Ленинградский просп., 45, корп. 4, кв. 367).
В скандинавских странах – Борис Вайль (Det Kongelige Bibliotek, Chr. Brigge 8, 1219 København K, Danmark).
В Израиле – Рафаил Шапиро (Rehov Halot, 41/9 Gilo, Jerusalem 93384 Israel).

Стоимость годовой подписки в Европе 75 нем. марок, в США, Канаде и Израиле – 60 ам. долл., в Австралии, Новой Зеландии и на Тайване – 70 ам. долл. Стоимость доставки включена в подписную плату; в неевропейские страны журнал доставляется подписчикам авиапочтой. Цена одного номера – 12 нем. марок. Подписка принимается перечислением на банковский или почтовый счет, а также в виде чека, высылаемого в редакцию.

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю 1
Страна сегодня 2
Политическое обозрение 10
Р.Бахтамов. Мы и они 21

А.Чигрин. Заметки после дискуссий о реформе 32
И.Крупник. Новый опыт 37
А.Быстрицкий. Политическая организация как субкультура 43
В.Чаликова. «Глокая куздра», или зачем мы говорим так? 53

П.Мейдмент. Свежие ветры в конторе Гобсека 58
Д.Марквенд. Парадоксы тэтчеризма 75
Фридрих Дюрренматт. Быть швейцарцем 83

Кун М. Бухарин против оппозиции 90
Архив. Предсмертные письма Бухарина 103
Ю.Айхенвальд. Рассекреченные письма 106
А.Истогина. «О прошлом – и непреходящем» 111

Г.Гасанов. Опыт утраты 117
С.Лёзов. Христианское в христианстве 126
М.Харитонов. Об искусстве как способе существования 130
А.Плахов. Кинематограф из подполья 147
Л.Шерешевский. Женский голос из преисподней 157

Револьт Иванович Пименов (1931–1990) 159

Das Land und die Welt e. V.
Schwanthaler Str. 73, D-8000 München, 2, Federal Republic of Germany
Tel. (089) 530514. Telex 5218017 umbt d. Telefax 534603
Deutsche Bank München, Konto 331 9613 (BLZ 700 700 10)
Postgiroamt München, Konto 223981-804 (BLZ 700 100 80) **ISSN 0178-5036**

Восьмой год издания

СТРАНА И МИР

К ЧИТАТЕЛЮ

Наш журнал вступает в восьмой год своего существования в условиях, когда «страна» переживает один из самых критических моментов своей истории, да и «мир» вновь начали потрясать кризисы. Пожалуй, только с 1917 годом можно сравнить наступивший 1991 год: те же «невиданные перемены, неслыханные мятежи» на горизонте, та же непредсказуемость будущего. Год 1941 тоже был трагичен, но все-таки уже тогда можно было провидеть мысленным взором 1945 год.

Мы вполне сознаем ответственность, которая лежит в этой обстановке на журнале – как и на любом другом демократическом средстве массовой информации, на любом честном журнале или газете. В трагические дни, когда то здесь, то там, в качестве аргумента начинает звучать автомат, сменивший «товарищ маузер», особую роль играет *слово*.

С этого номера мы рассчитываем печатать основной тираж нашего журнала в Москве (ряд номеров прошлого года уже печатался в Эстонии), – если, конечно, изменение политической ситуации и общий кризис газетно-журнального дела в стране не сорвут эти планы. Мы вполне отдаем себе отчет, что книжки нашего журнала лягут в киосках рядом с целым рядом уже существующих блистательных изданий, редактирующихся не в Мюнхене, а в Москве и других городах, в непосредственной близости от событий. Мы не хотим конкурировать с ними, мы хотим с ними взаимодействовать, сотрудничать в нашей общей серьезной миссии. Мы надеемся, что свой, непохожий на другие, голос нам поможет, как и ранее, находить то – отличное от других – положение, которое мы, маленькая горстка редакторов, занимаем: возможность, большая, чем у наших коллег, держать руку на пульсе мира, опыт жизни не только в тоталитарной стране, но также и в условиях современной демократии.

Не надо себя тешить иллюзиями: наступивший год не будет легким. Но нельзя и терять надежды. Рано или поздно наступит время, когда не будет противоречия между возможностью жить в своей стране и возможностью жить в условиях демократии. Ибо бесчеловечен выбор между родиной и свободой, перед которым нас ставят.

К счастью, позади уже то время, когда большинство могло лишь безвольно подчиняться чужим условиям выбора.

Конец перестройки
Кровь в Вильнюсе

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Слова «диктатура» и «государственный переворот» давно уже носились в воздухе. В том, что они станут реальностью, не сомневался почти никто. Мнения расходились лишь в том, кто возглавит переворот и когда он произойдет.

Теперь на оба эти вопроса можно дать ответ. Сначала о дате. Государственный переворот происходит сейчас, на наших глазах, и если не все это замечают, то лишь потому, что заговорщики действуют постепенно. Бывает, что режиссер фильма в особо критический момент действия демонстрирует движения героя в замедленном темпе. В фильме это делается, чтобы подчеркнуть драматизм происходящего, в политике – для того, чтобы этот драматизм скрыть. Сейчас переворот приближается к пиковой фазе своего развития. В ближайшие месяцы, если не недели, выяснится, были ли усилия заговорщиков успешными. Хочется думать – и для этого есть основания, – что переворот провалится.

Есть ответ и на второй вопрос: кто переворот возглавил. Ответ дал сам Президент СССР, дал публично, с трибуны IV Съезда народных депутатов СССР, выступая после потрясшего Съезд заявления Эдуарда Шеварднадзе о грядущей диктатуре. Сам Шеварднадзе не назвал имени диктатора, более того, подчеркнул, что это имя ему неизвестно. Но Горбачев точно знал, кого он имеет в виду. Едва справившись с шоком после выступления своего бывшего союзника, он поднялся на трибуну и заявил: «Ни о какой диктатуре речь не идет, а о сильной власти. Не надо смешивать, это была бы подмена понятий... В связи с этим я отвергаю тезис товарища Шеварднадзе...» Тем самым Президент показал, что хорошо понимает, какие события имел в виду министр иностранных дел, и лишь упрекнул его в неправильном их толковании. На воре загорелась шапка.

Кровавые январские события в Прибалтике не только подтвердили точность прогноза Шеварднадзе, но и пролили ретроспективный свет на события, происходившие в стране в предшествующие месяцы. Сейчас, прокручивая в убыстренном темпе хронику политического развития в Советском Союзе за последние несколько месяцев, нельзя не прийти к выводу, что план государственного переворота начал приводиться в действие летом 1990 года. Толчком к этому стали избрание Ельцина на пост Председателя Верховного Совета России и появление программы «500 дней».

Мотором переворота служили – и служат – хорошо известные силы: партаппарат и военно-промышленный комплекс. С их точки зрения необходимость в перевороте назрела давно, и для осуществления его практически все уже было готово. Не хватало одного: вождя, без которого невозможен ни один переворот. Жаркое лето 1990 года такого вождя определило: им согласился стать Горбачев.

Будущие историки напишут в этой связи немало страниц о «драме Горбачева». Впрочем, не дожидаясь будущих историков, об этом и сейчас уже пишут многие журналисты. Их можно понять: процесс превращения инициатора «перестройки», «нового мышления», «демократизации» в их могильщика – действительно большая человеческая драма. Согласимся с тем, что призывы «понимать Горбачева», «щадить», «жалеть Горбачева» далеко не всегда вызваны шкурными, конъюнктурными интересами авторов.

Но, во-первых, политик, который нуждается в жалости, – уже не политик, точнее, такой политик, время которого истекло. Во-вторых, – и это главное, – любые драмы Горбачева превышает страшная за-

тяжная драма народа, точнее народов нашей страны. «Жалеть», «понимать» Горбачева сейчас – значит длить эту драму еще неопределенное время, более того – углублять ее, делать все более необратимыми ее тяжелые последствия. Приходится делать выбор, кому адресовать свое сочувствие.

Направленность большинства критических стрел демократической общественности лично на Горбачева – вовсе не проявление «неблагодарности», «мстительности», «сведения личных счетов» и других неблаговидных мотивов. Горбачев, последовательно перенимая в свои руки всю возможную и невозможную власть, персонифицируя «перестройку» в себе самом, сам поставил себя в центр критики. Ему было многое дано – по его же требованию. Естественно, что теперь с него же многое и спрашивается.

Восстановление исторической справедливости следовало бы оставить будущим исследователям, которые найдут, безусловно, нужные слова, чтобы воздать должное последнему Генсеку. Сейчас же наилучшим выходом и для страны, и для самого Горбачева был бы уход его на покой – со всеми его нобелевскими и иными премиями, окруженного благодарным уважением прогрессивного человечества. Но Президент и Генсек явно не собирается уходить, не только затрудняя тем самым задачу будущих панегиристов, но и усугубляя кризис истерзанной страны.

Как же случилось это обратное превращение Павла в Савла, вождя революции (хотя бы и «революции сверху») в контрреволюционера? Короткий, но очень точный ответ на это дал, похоже, Станислав Шаталин в своем январском открытом письме Горбачеву, опубликованном «Комсомольской правдой». Пределом, его же не прейдеши, для Горбачева оказался вопрос о власти.

На обвинения в стремлении к личной власти Горбачев отвечает, что он такую неограниченную власть имел еще в 1985 году как Генсек и добровольно от нее отказался. Аргумент этот лишь по видимости кажется убедительным. Горбачев – не примитивный «вождь» вроде Брежнева, способный довольствоваться побрякушками орденов и проявлениями «народной любви», организованными Алиевым и Рашидовым. Он понимал, что его власть, как Генсека, нелегитимна, то есть исторического и нравственного права он на нее не имеет. Он знал цену «народной любви» и хотел любви настоящей. Не из сентиментальных соображений, конечно, но потому, что отдавал себе отчет: только легитимная власть прочна, а легитимация дается народом.

Именно эти соображения и привели Горбачева к перестройке, именно по этим причинам он был поддержан в своих планах и партаппаратом и военно-промышленным комплексом. Последнее утверждение может показаться парадоксальным, но парадокса тут нет. Разумеется, в аппарате был обветшавший слой геронтократов типа Гришина, Кунаева, Романова и других, которые не желали никаких изменений вообще. Разумеется, они сопротивлялись, но не может не поражать легкость, с которой их, как былинный богатырь, поражал еще не окрепший Горбачев. Потому и поражал, что пользовался широкой поддержкой «молодой» части аппарата. Произошло то, что в свое время кто-то из публицистов назвал «революцией вторых секретарей». И «вторые», и представители ВПК, хорошо знавшие, что и армию, и военную промышленность затронул общий кризис, также считали, что надо принимать экстренные меры, и видели в Горбачеве человека, способного это сделать.

С Горбачевым и другими «отцами перестройки» злую шутку сыграла их ограниченность, отсутствие политического – а не только аппаратного – опыта. Дети своего времени, отрезав страну от мировой политической и экономической мысли, они отрезали от нее и самих себя. Приступая к реформам, они искренне верили, что перемены возможны внутри системы, не понимая того, что она нереформируема принципиально. Они видели – поездки за рубеж не прошли даром, – что Запад живет свободно и богато, и вознамерились взять из западного опыта «все лучшее», откинув то, что «нам не подходит»: безработицу, частную собственность, «эксплуатацию человека человеком». Системное мышление детям аппарата, с кругозором обкомовских секретарей, противопоказано. Впереди виделось около пяти лет «перестройки», после которой предполагалось зажить в счастливом обновленном обществе, где, разумеется, будет «больше социализма», но и больше свободы, где будут уважаться общечеловеческие ценности. Власть тех, кому удастся построить этот светлый мир, конечно же, будет легитимной. Такой мандат на власть оспорить будет невозможно.

Невежество, увы, наказуемо. Очень скоро выяснилось, что «перестройка» почему-то идет не по плану. Вместо того, чтобы с энтузиазмом трудиться на ремонтных работах в здании социализма, люди, не подгоняемые более кнутом, но лишенные и пряника, предпочитают отлынивать от работы. Народ, вместо того, чтобы сплотиться вокруг тех, по инициативе которых и была начата перестройка, вдруг

порождает из своей среды какие-то новые силы, бросающие конкурентный вызов силе «руководящей и направляющей». «Архитектор перестройки» все более и более стал походить на Ученика чародея, вызвавшего к жизни силы, с которыми он не может совладать. «Неформалы» и «демократы», «националисты» и «сепаратисты» все более и более уводили страну с намеченного руководством пути. «Руководство» же восприняло их не как естественный результат раскрепощения общества, а как злокозненные происки «антисоциалистических сил», «теневиков», «мафии» и т.д. и т.п.

Партаппарат и ВПК гораздо раньше Горбачева и его окружения почувствовали опасность и начали оказывать дальнейшему развитию реформ сопротивление. Инстинктивно им стало ясно, что речь более не идет о «совершенствовании» старой системы власти, что происходит ее полный демонтаж, распад. Сопротивление аппарата и ВПК носило первоначально спонтанный характер, принимая преимущественно формы саботажа всех реформаторских шагов.

Однако дело зашло уже очень далеко. К тому времени – и почти без боя – аппарат уже сдал идеологию. Выяснилось, как недальновиден был Солженицын, видевший в идеологии все зло и призывавший в «Письме к вождям» спасти страну путем отказа от нее. Аппарат и ВПК готовы были к такому отказу – лишь бы сохранилось нечто более важное: структура власти, структура *их* власти. А власть напрямую связана с чем-то гораздо более существенным, чем идеология, – с экономикой. Управление ею партаппарат и ВПК решили удержать любой ценой.

Горбачев же и его окружение – верховные держатели рычагов власти – еще пытались по инерции двигаться дальше. Им, видимо, еще казалось, что потенциал перестройки не исчерпан, что первоначально поставленные цели могут быть достигнуты, стоит лишь сделать еще одно усилие. Было решено сдать еще один окоп – партию, переместив центр власти в государственные структуры, введя институт сильного президентства. Отдана была на заклание Шестая статья, Политбюро сведено до полукомического состояния, сама партия фактически раскололась. Предполагалось, что все это будет скомпенсировано сильной центральной властью Президента, вокруг которого сможет консолидироваться нация.

То, что и это не спасет положения, выяснилось довольно скоро. С начала года катастрофически ускорился процесс дезинтеграции Союза. Отложилась Прибалтика, вслед за нею двинулись Закавказье и Молдова. Моментом истины для Горбачева стало избрание Ельцина главой российского парламента и провозглашение суверенитета России.

Дело не только в том, что неизмеримо возвысился личный враг Президента, хотя и это было важно для по-женски обидчивого и честолюбивого Горбачева. Впервые стало невозможным ссылаться на то, что «Горбачеву нет альтернативы». Заклятие это ранее срабатывало много раз: пусть рейтинг Горбачева падает, пусть в народе его не любят, но заменить его некем, Горбачев – единственный гарант демократических преобразований, значит, его необходимо поддерживать. Теперь же альтернатива Горбачеву появилась.

Очень скоро «опасность Ельцина» стала материализоваться. Появился план «500 дней», грозивший изъятием экономики из-под власти партаппарата в результате появления реального, а не «регулируемого» рынка. Были сделаны серьезные шаги к установлению горизонтальных межреспубликанских связей, грозившие появлением новых «внесоюзных» структур, превращением Президента в «Президента Садового кольца». Горбачев понял, что дальше отступать некуда. Любой дальнейший шаг грозит полной утратой власти, притом на сей раз уже его *личной*, Горбачева, власти. Этого окопа он сдавать не был намерен.

С этого момента Горбачев, с одной стороны, партаппарат и ВПК – с другой, начавшие было расходиться и конфликтовать между собой, сошлись вновь. Горбачеву нужна была новая опора для «битвы в последнем окопе», ибо на поддержку прежней команды, «прорабов перестройки», интеллектуалов рассчитывать более не приходилось. Аппарату и ВПК нужен был вождь, нужен организационный, легализующий их действия центр: в своей среде найти мало-мальски нескомпрометированного человека было невозможно, но можно было рассчитывать на еще непрожитые остатки горбачевского капитала. Так голова и тело нашли друг друга.

Грандиозный эксперимент – попытка легитимировать власть системы, не разрушая сути этой системы, – провалился. Выбор оказался прост: либо создать легитимную власть, но отдать ее в чужие руки, либо сохранить власть в своих руках, пусть даже, как и ранее, нелегитимную. Горбачев, оказавшись перед этой альтернативой, принял решение в пользу собственной власти. С довольно большой степенью точности это решение можно датировать июлем 1990 г. С этого времени и началось осуществление ползучего переворота.

Основные этапы переворота у всех на памяти. Постепенное разрушение программы «500 дней», сначала путем попыток соединить ее с ее антагонистом – планом Рыжкова, а затем и путем создания мертворожденных президентских «Основных направлений». Демонстративный отказ Горбачева от идеи введения частной собственности на землю. Создание депутатской группы «Союз», активизация ее деятельности не только в парламенте, но и в аппарате, громогласные требования – очевидно срежиссированные – к Президенту о «наведении порядка». Ноябрьская сессия Верховного Совета СССР, закончившаяся принятием горбачевского плана о введении в стране фактически президентского правления. Назначение Кравченко руководителем радио и телевидения – подчинение Президенту наиболее влиятельных средств массовой информации. Замена в МВД Бакатина на Пуго–Громова и указ Президента об использовании воинских частей в республиках «для обеспечения призыва в армию». Появление «Проекта Союзного договора» и чрезвычайные меры, направленные на ускоренное его подписание. «Ультиматум Алксниса» и «Письмо 53-х», с требованием отбросить «конституционные формы воздействия на сепаратистов». Отставка Шеварднадзе, отстранение Александра Яковлева, уход Шаталина, Петракова и других – полный разрыв с теми, кто, оставаясь в составе «команды Горбачева», еще надеялся удержать его на пути реформ. Их место в качестве наперсников занимают Янаев, Павлов и деятели из аппарата ЦК КПСС. Приказ Пуго–Язова о патрулировании в городах и последовавший за ним президентский указ. Указы Президента, отменяющие решения Верховных Советов Молдовы и Грузии. Ввод десантников в семь союзных республик. Ультимативное обращение Горбачева к парламенту Литвы. Создание Комитетов национального спасения в Прибалтике (а позднее, как выясняется, и в России). Кровавая бойня в Вильнюсе, а через неделю – в Риге. Попытка ликвидации свободы печати. Конфискационное изъятие крупных купюр, указ о борьбе с «экономическим саботажем», предоставление КГБ чрезвычайных полномочий в этой сфере и другие меры, направленные на разрушение зачатков рынка и подрыв доверия к частному сектору. Провокации КГБ против правительства России («дело Фильшина», подслушивание в Верховном Совете России), давление на Ельцина и Силаева с целью заставить их уйти в отставку. Перечень этот очень схематичен и далеко не полон, но и он достаточно ясно представляет логику переворота.

«Перестройка», так и не став революцией, трансформировалась в контрреволюцию, – чтобы упредить начинающуюся действительную революцию «снизу».

Итак, теперь уже поздно задаваться вопросом, возможен ли у нас переворот. Он идет уже полным ходом. Гораздо более важен другой вопрос: возможен ли у нас *успешный* переворот. Я думаю, что ответ на этот вопрос может быть только отрицательным. Переворот уже захлебывается.

Что смешало карты заговорщиков? Многое. Мужественное сопротивление народа и руководства республик, прежде всего прибалтийских; резкие протесты демократических сил не только в Прибалтике, но и в России; решительные, героические действия российского руководства и прежде всего самого Ельцина: его кинжальная поездка в Таллинн, форсирование договоров между республиками и прежде всего – «конфедерация четырех», открытое осуждение горбачевской «политики обмана народа»; неожиданно для Горбачева жесткая реакция Запада на «кровавые воскресенья» в Вильнюсе и Риге; нерешительность и колебания самого Горбачева.

Все это, безусловно, сыграло свою роль. Но главная причина неуспеха переворота в ином: переворот может еще сохранить на какое-то время власть, но не в состоянии ее реанимировать, вывести из паралича. Власть, сохраненная переворотом, в нынешних условиях распада империи, государственных структур и экономики может существовать только в виде перманентного чрезвычайного положения. Рано или поздно ей все равно придется уйти. Задача демократических сил сейчас в том, чтобы этот уход не был кровавым. Добиться этого будет нелегко. Власть уже показала, что перед кровью она не останавливается.

Что касается судьбы самого Горбачева, то ей тоже не позавидуешь. Инициатор, лидер и могильщик «перестройки» доживает как политик свои последние месяцы. Мавр сделал свое дело, но показал при этом, что в диктаторы он не годится. «Правые» показали, что нерешительности своего вождя они не потерпят. Горбачеву, испуганно отступившему в Вильнюсе после первых трупов, уже открыто предъявлено «правыми» обвинение в «предательстве». Надо полагать, сейчас идут поиски «вождя» покрепче.

Революция «снизу» начинается. Будем ли мы мудры и достаточно сильны, чтобы она, эта революция, стала ненасильственной?●

К.Л.

ВИЛЬНЮС ГЛАЗАМИ ИНОСТРАННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА

Никогда еще в западной прессе не звучало так много неодобрительного по отношению к Горбачеву, как после кровавых событий в Вильнюсе 11–13 января 1991 г. Впервые западные журналисты собственными глазами увидели, каким образом КПСС с Горбачевым во главе собирается решать национальный вопрос. Мы, собравшиеся в гостинице «Лиетува» в Вильнюсе иностранные корреспонденты, с трудом верили собственным ушам, слушая по телевидению, как советский президент излагает события в Вильнюсе. Всего двое убитых, в том числе один солдат, первыми открыли огонь охранявшие здание литовцы, – такова была версия Горбачева. Но корреспонденты в роковой момент находились у телебашни. Они видели, что литовцы не были вооружены, и сами могли сосчитать убитых. Нам не нужно было составлять «объективную» картину событий, анализируя изложение событий, сделанное службой информации литовского парламента, и версию Кремля.

Оценка советским президентом бойни в Вильнюсе вызвала в памяти большинства иностранных корреспондентов целый ряд событий прошлого года, когда мировая пресса и западные лидеры верили словам Горбачева о том, что это не он дал приказ о нападении армии на гражданское население и что он ничего не знал о кровопролитии. После Вильнюса апрель 1989-го в Тбилиси и январь 1990-го в Баку предстают в совершенно другом свете.

Почему президент сразу же не заявил о том, что он осуждает действия армии против гражданского населения? Почему сразу же не была создана независимая комиссия для расследования? Почему до сих пор не названы те, кто несет ответственность за происшедшее? Так звучали некоторые из вопросов, которые задавали себе шокированные корреспонденты после военной акции в Вильнюсе. Ответы на них до сих пор не получены.

В газете «Washington Post» от 15 декабря прошлого года приводится следующее высказывание директора ЦРУ Уильяма Уэбстера: «Если Горбачев желает сохранить влияние Советского Союза в Эстонии, Латвии и Литве, то наиболее логично предположить, что он введет там чрезвычайное положение или что-либо в этом духе». Одновременно директор ЦРУ предсказал, что это произойдет в ближайшее время. Офицер британской разведывательной службы, MI6, высказался еще точнее, когда он примерно в то же время встре-

тился с британским журналистом в одном из лондонских ресторанов. Согласно данным MI6, в Советском Союзе должен был произойти военный переворот, назначенный на 6 января, и начаться он должен в странах Прибалтики. В этой связи, сказал офицер, ведущий член «демократического крыла» будет вынужден уйти в отставку. Переворот должен быть совершен армией и КГБ, а Горбачев будет представлен в глазах Запада марионеткой. В действительности же режиссером переворота будет сам советский президент. Несколько дней спустя Эдуард Шеварднадзе ушел с поста, предупредив о наступлении диктатуры. После этого здоровый скепсис британского журналиста в отношении «фантастических» предсказаний офицера MI6 исчез, как утренний туман, и сразу после Нового года журналист отправился в Ригу, чтобы на месте наблюдать события.

В январе по приказу министра обороны СССР Язова в республики Прибалтики были посланы крупные военные формирования, якобы с целью оказать давление на отказывающихся от призыва в Советскую армию прибалтов. Всего за два дня до этого начальник Генерального штаба Моисеев заверил, что наращивания войск в Прибалтике не будет и что речь пойдет об отводе войск из этого региона. Главнокомандующий Прибалтийским военным округом Кузьмин позвонил лидерам Латвии, Литвы и Эстонии и проинформировал их о предстоящей акции. Однако два дня спустя стало известно, что войска посланы только в Литву, – любопытная непоследовательность, ибо большое количество уклоняющихся от военной службы есть во всех прибалтийских странах.

В тот же день около 5000 разъяренных представителей промосковской организации «Единство» устроили демонстрацию перед зданием Литовского парламента против ожидаемого повышения цен и с требованием ухода правительства. Демонстранты ворвались в здание парламента, но были выдворены с помощью пожарных шлангов. Меньше чем за 20 минут парламент принял решение отказаться от повышения цен, и Казимера Прунскене, которая в это время находилась в Москве и вела переговоры с Горбачевым, подверглась нападкам за то, что она «действует заодно с Кремлем». Прежде чем Прунскене вернулась обратно в Вильнюс, законодательство было изменено таким образом, чтобы дать возможность сместить правительство простым большинством голосов (ранее требовалось две трети голосов). Когда Прунскене вечером 8 января вернулась в Вильнюс, она предпочла сама подать заявление об уходе с поста премьера вместо того, чтобы ожидать вотума недоверия. Парламент высказался за уход правительства 72 голосами против 8 (22 воздержались).

Через два дня 40-летний экономист Альбертас Шименас был избран новым председателем Совета Министров после безуспешной попытки уговорить бывшего заместителя премьера Ромуальдаса Озоласа стать на место Прунскене. Шименас пробыл на этом посту всего три дня, так как в связи с попыткой переворота в ночь с 12 на 13 января он вдруг бесследно исчез. Объявился Шименас только после того, как был избран другой председатель Совета Министров – Гедиминас Вагнорюс. Исчезновение Шименаса до сих пор окружено плотной завесой тайны. Его дело обсуждалось при закрытых дверях. Непосредственно после того как Шименас был найден, его поместили в больницу с нервным расстройством.

10 января Горбачев опубликовал «Обращение к Верховному Совету Литовской ССР», тон и стиль которого заставили опытного латвийского политика Маврика Вульфсона определить «обращение» как «вызывающий беспокойство ультиматум». Вульфсон в особенности обратил внимание на две последние строки: «Верховный Совет Литовской Советской Республики должен понять полную меру своей ответственности в отношении народов республики и Советского Союза». Литовский президент Витаутас Ландсбергис сказал, что этот ультиматум как две капли воды напоминает тот, который был направлен литовскому правительству в ночь с 14 на 15 июня 1940 г., за день до советской оккупации страны. Согласно Ландсбергису, единственной разницей было то, что на этот раз не было указано конкретной даты для принятия советского ультиматума.

На следующий день, то есть 11 января, я взял такси и отправился из Риги в Вильнюс. Движение самолетов и поездов было остановлено из-за забастовки. Бастующие требовали прямого президентского правления в Литве. Когда я приехал в литовскую столицу, советские десантные войска уже заняли Дом печати, а также множество отделов в литовском Министерстве обороны. Во время занятия Дома печати советский офицер открыл огонь и ранил в голову одного молодого человека. Норвежская киногруппа случайно оказалась на месте и засняла это происшествие. Эти кадры обошли весь мир.

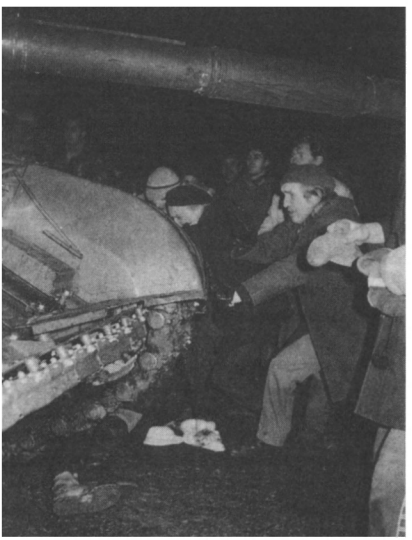
Уже в это время многие тысячи литовцев начали охранять ряд стратегически важных объектов в городе: телебашню, здание Комитета по радио и телевидению, телефонную станцию. Одновременно глав-

ный идеолог литовской компартии Юозас Ермалавичюс объявил, что организован Комитет национального спасения, который «займется будущим Литвы». Имена членов Комитета держались в секрете по соображениям безопасности. Ермалавичюс сказал, что через него можно держать связь с Комитетом, но что он сам не знает имен членов. Согласно Ермалавичюсу, в Литве сложилось реальное двоевластие. «Комитет берет власть в свои руки и обеспечивает продолжение пребывания Литвы в составе Советского Союза. Мы... нет, я считаю, что Комитет пользуется полной поддержкой президента Горбачева. Советские войска обнаружили склады с оружием в Вильнюсе и раскрыли документы иностранных разведывательных служб. Существует два возможных решения конфликта. Или Комитет национального спасения берет власть в свои руки, или же будет введено прямое президентское правление» ,– сказал Ермалавичюс в телефонном разговоре со мной в субботу 12 января, примерно в три часа дня. Сразу после этого Ермалавичус провел пресс-конференцию, на которой он повторил сказанное. Журналисты, однако, усомнились, стоит ли вообще посылать в газеты такую ахинею. Было ясно, что речь идет о совершенно незначительной группе, не имеющей какой-либо поддержки у населения.

Через несколько часов этот анонимный Комитет попросил армию о вмешательстве.

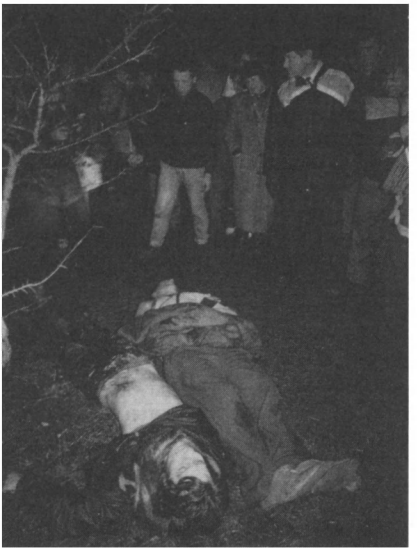
Не успел я прилечь, как в 1 час 35 мин. ночи с субботы на воскресенье был разбужен каким-то шумом и треском. Я включил телевизор. Ландсбергис читал обращение к населению. Одновременно зазвонил телефон. Звонила редактор русскоязычной газеты «Согласие» Люба Черная, которая тут же перевела мне слова Ландсбергиса. «Советские танки движутся по направлению к телебашне и зданию Комитета по радио и телевидению», – сказал литовский президент и призвал литовцев молиться за нацию.

Через двадцать минут мы были у телебашни. Стреляли как холостыми, так и боевыми патронами. От стрельбы разбивались стекла в машинах и близлежащих домах. Многие легковые машины были раздавлены танками по пути к башне. На земле лежали раненые и убитые. Постоянно подъезжали и уносились машины скорой помощи. Со зданием Комитета по радио и телевидению дело пошло еще быстрее. Танки прорвались через человеческую стену, окружавшую телебашню. Там находилось около 2–3 тысяч человек, которые еще недавно просто стояли и пели. Вначале солдаты стреляли в землю, а потом – прямо в человеческую массу, так как люди не разошлись, а остались стоять на месте. 13 литовцев были убиты у телебашни, более 500 человек были ранены. Один офицер КГБ получил пулю в спину от солдата-десантника у здания радиокомитета. Войска стреляли пулями калибра 5,45 мм, способными разделяться на части. Они запрещены Женевской конвенцией 1949 г. о защите жертв войны (с дополнениями 1977 г.). 23-летняя женщина



была задавлена танком: фотография этого события обошла весь мир, однако на пресс-конференции 17 января представитель Министерства обороны СССР генерал-майор Юрий Науман сказал следующее: «Все механики-водители заявили, что видимость была отличная. Наезды на кого-либо исключены, так как танки двигались на первой скорости с включенными фарами. Люди не пытались лезть под танки или на танки, вели себя достаточно дисциплинированно... в этой ситуации. После каждой остановки танки трогались лишь после подачи звукового сигнала. Вот один из офицеров говорит: во время остановки на перекрестке я увидел большое количество людей у моего танка. Многочисленные вспышки фотоблицев... Позже десантники мне рассказали, что один из гражданских подложил ногу под одну из гусениц танка, а в это время его фотографировали. То, что это фотомонтаж, я думаю, следствию не представит большой трудности установить».

На той же пресс-конференции Науман также признал, что «Комитет национального спасения Литвы обратился за помощью к начальнику Вильнюсского гарнизо-



на, вручив ему постановление об оказании помощи рабочим дружинам по взятию под контроль функционирования радио, телевидение с целью предупреждения и прекращения провокационной деятельности».

Но вернемся к событиям в ночь на 13-е. В 2 часа 35 минут из транзисторного радио на траве у телебашни зазвучал женский голос:

«Внимание – внимание! Говорит последнее радио Литовской республики! Сообщаем, что регулярные программы литовского радио прерваны с применением грубой военной силы. Об этом информируем жителей Литвы, народы Европы и всего мира!

Тишина в эфире или чужие голоса в нем не означают, что мы отказываемся от намеченной цели. Основное большинство людей нашего безоружного государства полно решимости твердо идти путем, намеченным днем 11 марта 1990 года. Обращаемся ко всем, кто слышит нас! Насилием можно нас сломить физически, можно заткнуть нам рты, но никто не заставит нас отречься от свободы и независимости. Повторяю свое заявление... Люди доброй воли Литвы, друзья нашей республики за границей! Внимание...»

Час спустя Ермалавичюс обратился к собравшимся у телебашни через громкоговорители на военных средствах транспорта. Он сказал, что Комитет национального спасения взял власть в свои руки, и призвал людей разойтись по домам.

В это время я и многие другие у телебашни думали, что военный переворот удался, хотя литовское радио по-прежнему посылало в эфир сигналы бедствия. Мы были убеждены, что телефонная связь с окружающим миром прервана. И несколько дней спустя президент Ландсбергис и руководитель литовского Департамента охраны края Аудрюс Буткявичюс признали, что они разделяли это представление.

«Мы приготовились оставить здание и оказать символическое сопротивление теми средствами, которые у нас были», – сказал Ландсбергис.

«Я направил 50 вооруженных человек за пределы здания, и людей попросили отойти на несколько шагов назад, так чтобы было пространство между ними и моими людьми. Другие 50 вооруженных находились внутри здания, чтобы в случае необходимости защищать членов парламента. Советские танки были на пути к парламенту, но вдруг остановились и двинулись обратно в Северный городок», – рассказал мне Буткявичюс.

В начале восьмого утра по военному радио было зачитано следующее заявление:

«Внимание, уважаемые граждане Литвы! В связи с грубыми нарушениями общественного порядка, избиениями трудящихся, неоднократным применением огнестрельного оружия и газов в республике в интересах безопасности граждан и по решению Комитета национального спасения Литвы с 6 часов 13 января 1991 года введен комендантский час. Всем гражданам запрещается покидать места постоянного проживания с 22 до 6 часов ежедневно, проводить пикеты, собрания, митинги, шествия, уличные демонстрации, забастовки, хранить и применять огнестрельное и холодное оружие, ядовитые газы, использовать множительную, радио- и телепередающую аппаратуру, создание и деятельность вооруженных формирований граждан, не предусмотренных законодательством страны. Вводится особый режим въезда и выезда в населенных пунктах, проверка документов в местах скопления людей, а при необходимости личный досмотр вещей и транспортных средств. Комендантом города Вильнюса назначен генерал-майор Усхобчик Владимир Никитович. Комитет национального спасения Литвы. 13 января 1991 г.».

Когда журналист на вышеназванной пресс-конференции задал вопрос, имеет ли право по советским законам политическая, общественная, неформальная, незарегистрированная организация, такая, как Комитет национального спасения, объявлять комендантский час, полковник юстиции Альберт Кеври ответил: «Комендантский час вводят государственные органы...» ●

Флеминг Розе (Копенгаген)

Неистовые миролюбцы
Распад Югославии
Г.Коль — еврофедералист
Досье

ЭТИ НЕИСТОВЫЕ МИРОЛЮБЦЫ

Первого февраля в престижном немецком еженедельнике «Die Zeit» было опубликовано эссе Вольфа Бирмана, вызвавшее в Германии заметный шум. Шума во всем мире к тому моменту было более чем достаточно: из Багдада и Басры доносился грохот ракет и бомб, из Тель-Авива – взрывы иракских «скадов», из Вильнюса – автоматные очереди по защитникам литовского телевизионного центра, из Москвы – треск ломающейся перестройки, и со всех сторон и на разных языках – громкие упреки в адрес немцев. Тем не менее, а вернее – благодаря всему этому, голос Бирмана был услышан. Ответная реакция, самая противоречивая, от благодарного согласия до резкого осуждения, была обеспечена, даже если бы Бирман ограничился одной только фразой. Начало ее построено на перевернутой наизнанку идиоме, перевести которую можно лишь приблизительно: «Во избежание ложного взаимопонимания, скажу сразу – я за войну!». Чтобы понять, почему подобное заявление вызвало столь сильный резонанс в довольно широких кругах немецкой общественности, надо знать, кто такой Вольф Бирман и в какое смятение ввергли его соотечественников неожиданные повороты внутренней и международной политики на рубеже 1990–91 годов.

Совсем ведь еще недавно, да что там – вчера! – немцы пережили звездный час своей новейшей истории: мирная революция в ГДР, объединение Германии, зачатки новой дружбы с русскими во главе с симпатичным Горби, надежды на дальнейший прогресс в области разоружения и на отмирание военных блоков в Европе, на относительно быстрое экономическое чудо в новых восточногерманских землях. Все это внушало уверенность, что мы стремительно продвигаемся по пути к объединенной Европе, к «общему европейскому дому», в котором большая, цветущая, миролюбивая Германия будет передвинута с восточной окраины Западного мира в центр новой большой Европы, одухотворенной благородными и разумными принципами Заключительного акта Хельсинки...

Все это было давно – в далекий, почти уже неправдоподобный золотой век.

Если бы сегодня какой-нибудь немецкий политик вздумал публично заявить, – подобно мэру Западного Берлина Момперу, сказавшему несколько месяцев назад, что «ныне немецкий народ – самый счастливый народ в мире», – его бы высмеяли, освистали. Чистка авгиевых конюшен в бывшей ГДР, решение проблем, связанных с переходом от командно-административной системы хозяйствования к социально-рыночной экономике, оказались неизмеримо труднее и дороже, чем предполагали в Бонне. Люди в новых восточногерманских землях большей частью понимают причины своих бед, среди которых на первом месте стоит круто растущая безработица. Причины эти – сорокалетнее господство «реального социализма» на немецкой земле. Но множатся и голоса, упрекающие правительство Коля в недостаточно энергичных мерах и отсутствии четкой программы помощи бывшей ГДР. А отсюда и разочарование, нетерпение и недовольство.

Неподготовленными оказались немцы и к тревожному развитию событий в Советском Союзе. Тем неуютнее чувствуют они себя теперь, при виде «состыковавшегося» с правыми Горбачева и явно возросшего влияния на него генералитета. Какникак на территории Германии остаются значительные воинские соединения Советской армии, и кто сегодня знает, ограничится ли Москва одним только финансовым шантажом. (Уже поступили сигналы, что советская сторона намерена потребовать миллиардную «надбавку» к тем 15 миллиардам немецких марок, которые Бонн обязался заплатить за содержание и отвод войск Западной группы и строительство жилищ для возвращающихся на родину офицеров и прапорщиков.)

И до, и после декабрьских выборов в бундестаг правительство уверяло, что с финансовой нагрузкой, связанной с объединением Германии, оно справится за счет экономии, внутренних резервов и дополнительных кредитов. Однако вскоре выяснилось, что таким путем справиться с проблемой не удастся. Теперь решено значительно повысить налогообложение (на 7,5% подоходный налог, на 25% – налог на нефтепродукты). Население и пресса ропщут. Недовольство вызвано не столько даже необходимостью раскошеливаться, сколько тем, что правительство нарушило свои обещания, которые давало, либо честно заблуждаясь (что плохо), либо тактически лавируя (что воспринимается как надувательство). В Бонне оправдываются ссылкой на дополнительные, непредвиденные расходы, связанные с войной в Персидском заливе. Но эта отговорка мало кого удовлетворяет: все равно деньги смешиваются в общем котле. А если бы у людей был выбор, они охотнее платили бы за поправку дел в восточных землях, чем за малопопулярную в Германии войну.

Антивоенные манифестации, молебны, ночные «вахты мира», еще до истечения ультиматума Объединенных наций Саддаму Хусейну и особенно в первые дни военных действий, – происходили во многих странах мира, включая Соединенные Штаты и Англию. Перед Белым домов в Вашингтоне один из демонстрантов в первые же часы войны сжег американский флаг на глазах у телезрителей. И кто знает, какого происхождения лозунг «Кровь за нефть – нет!»: американского или немецкого? Но нигде, пожалуй, антивоенное движение не мобилизовало так много народу, как в Германии. И нигде оно не вызвало столько толков и споров, столько недоумевающих, возмущенных и негодующих комментариев – немецких и иностранных. Немцев упрекали за то, что демонстрации за мир часто оборачивались демонстрациями против Соединенных Штатов, за то, что, выбрав удобное место на пьедестале морального превосходства, сами они не воюют («прячутся за своей конституцией»), откупаясь только деньгами – в том числе и теми, что преступным образом были заработаны немецкими фирмами, поставлявшими Ираку заводы для изготовления оружия и – хуже всего – токсических газов. Английская пресса, особенно ура-патриотическая в эти дни, издевалась над трусостью и пугливостью немцев (забыв о том, что еще недавно предостерегала об опасности возрождения немецкого милитаризма в объединенной Германии), сетовала, что теперь, когда он нужен, немцы не дают нам нового Роммеля...

Эмоционального перехлеста, огульных обвинений было больше чем достаточно.

Но что безусловно справедливо, так это обвинение в адрес немецких фирм, которые в обход законодательных запретов внесли значительный вклад в вооружение Ирака смертоносной техникой. Так что антивоенные демонстрации в самом деле носили зачастую весьма двусмысленный характер. С неожиданной критикой в адрес тех, кто вышел на улицы, и тех, кто их осудил, и выступил Вольф Бирман.

Да, тот самый поэт и бард, высланный в свое время по приказу Хонеккера из Восточного Берлина в Западную Германию. Здесь он свободно выступал, печатался; в песенках своих он продолжал бичевать или высмеивать «прелести» хонеккеровского режима, но пел также о своей любви к стране ГДР, к своим друзьям и единомышленникам, мечтающим о другом – «подлинном», справедливом и человечном социализме. Бирман активно участвовал в демонстрациях протеста против размещения ракет «першинг» в ФРГ. Пацифисты, зеленые, весь «клуб» левых интеллектуалов в ФРГ считали его «своим». И вдруг в престижном либеральном еженедельнике «Die Zeit»: «Я – за эту войну в Заливе»! И дальше: «Хуже того, я надеюсь, что эта война без остатка уничтожит весь западно-восточный импортный арсенал оружия, предназначеный Саддамом для уничтожения Израиля». И заканчивает Бирман свое эссе припиской: «Понедельник, 28 января. Саддам Хусейн заявил, что теперь, испробовав обычные виды оружия, он обрушит на Израиль крупный удар оружием неконвенциональным. И я предчувствую, уже будто слышу реакцию некоторых особенно прогрессивных наших миролюбцев: «Сами же они и виноваты». Ах так? Ну, друзья, тогда давайте, крепче кутайтесь в свои палестинские платки, – нам с вами больше не по пути».

Вольф Бирман – человек очень верный (иногда, хочется сказать, даже слишком верный). Тем более разительным был эффект его публичного разрыва с «некоторыми особо прогрессивными миролюбцами». Именно эту публику он имел в виду, написав: «Во избежание ложного взаимопонимания»... И камнем в их огород бросил он изобретенный им неологизм – «Friedenshetze» – по аналогии с «Kriegshetze» (слово означает «разжигание войны»). «Разжигание мира» по-русски звучит неудачно, но смысл ясен: даже за мир можно бороться нетерпимо, агрессивно, партийно. К тому же: «Борцы за мир в Федеративной республике Германии (не все, конечно, но большинство) со времен «Пасхальных походов» (против ядерного оружия) были ясновидящими на один глаз и слепыми на другой. Во все годы холодной войны их вела, как ярмарочного медведя на невидимой цепи, горсточка сексотов Штази и агентов ГПК. И теперь эта цепочка еще цела, но сгнила державшая ее рука. А медвежата все еще делают свои неуклюжие па и, подобно гейневскому Атта Троллю, таращатся на злой мир».[1]

«Всякая война – преступление, пусть даже она справедлива. А значит – мир! Мир безоговорочно!» Это лозунг тех, кто вышел на улицы. Комментируя его, Вольф Бирман обращается ко временам нацизма: «В 1938 году четверо борцов за мир заключили в Мюнхене соглашение: Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер – поучительное групповое фото. Когда в 39-м Гитлер со Сталиным напали и поделили Польшу, в Соединенных Штатах шел спор, надо ли вступать в войну против нацистской Германии. Во Франции левые борцы за мир в 1938 году вопрошали: «Mourir pour Danzig?» (умирать ли за Данциг), – и ответ был ясен: Нет! Оставьте же господину Гитлеру эти мелочи – Австрию, Чехословакию да Польшу... Пусть зверь жует – и нас тогда не укусит».

А ныне, полвека спустя: «Включаю новости и смотрю антивоенные демонстрации перед базами американских ВВС. Лозунги преимущественно антиамериканские – будто агрессор Соединенные Штаты. Модные палестинские платки – и ни слова в поддержку Израиля. Чувствуешь себя, как не на тех похоронах».

«...Хотите ли вы тотальной войны? – спросил Геббельс собравшихся в берлинском Дворце спорта. В учебниках истории, – пишет автор эссе, – зафиксирован ответ ваших дедов: истерическое «Да-а-а!». Если вы меня сегодня спросите, хочу ли я тотального мира, то отвечу вам: спасибо, нет».

Учить его, Бирмана, что война ужасна и приносит страдания невинным людям, не надо: это он знает давно и не понаслышке; шестилетним мальчиком он пережил самый сокрушительный налет британской авиации на Гамбург. Вокруг полыхали пожары, рушились здания, облитые фосфором люди сгорали живьем.

---

1 **Это заявление можно считать маленькой сенсацией. Консервативные политики и публицисты с самого начала обвиняли западногерманское «движение за мир» в прямой или косвенной зависимости от коммунистической агентуры. Бирман, кажется, первый «левый», решившийся открыто заявить об этом как о факте. Следует, однако, подчеркнуть, что относится это лишь к какой-то части движения.**

В аду горящего рабочего квартала Хаммерброок уцелеть удалось немногим. Мать Бирмана, с сыном на спине, переплыла через канал, спасла жизнь свою и сыновью. (Отец Бирмана, портовый рабочий, коммунист-подпольщик, к тому времени уже погиб в газовых камерах Освенцима.)

То было в 45-м году XX века. Прошло еще 45 лет: «...В Тель-Авиве и в Йерусалиме евреи сидят у себя дома в своих, таких уютных, полиэтиленовых газовых миникамерах, с немецкими противогазами на своих еврейских носах, дожидаясь того момента, когда сверху на них будет пущен ядовитый газ. Не прогресс ли? Вместо заброшенного рукою эсэсовца зернистого «Циклона-Б» фирмы IG Farben, – современные газы, доставленные через иорданский воздушный коридор ракетой советского производства.

...Все повторяется и всегда по-другому. Саддам, как и Гитлер, открыто объявил о намерении уничтожить евреев. В обоих случаях угроза исходила от кровавого тирана – выскочки, демагога и параноика власти. Однако и здесь – прогресс: не надо больше гадать. Автор книги «Mein Kampf» до 1933 года был лишь крикуном: как было знать, что он и на самом деле примется осуществлять свои бредни! Саддам Хусейн же – матерый убийца. Он напал на Иран и обрек миллионы людей на смерть. Он же, по военно-стратегическим соображениям, отравил газом часть своего населения – курдов. Из опытов такого рода рождается фраза: «Могу потерять три, даже шесть миллионов людей, с этим я устою». И вправду ведь устоит, на глубине девяноста метров под землей, в неуязвимых даже для атомной бомбы укреплениях, сконструированных и построенных строительными фирмами DGB (Объединение германских профсоюзов)».

«Война началась, – напоминает Бирман, – не 15 января 1991 года и не в день иракского нападения на Кувейт. Слишком поздно забили тревогу. Война началась, когда Брежнев стал вооружать Ирак танками, ракетами, МИГами и тяжелой артиллерией. Когда французы построили иракцам атомный реактор для производства атомной бомбы и продали им свои «Миражи». Все было предопределено, когда западногерманские шакалы продали Ираку и Ливии оборудование для производства отравляющих газов. Уже не миновать было беды, когда американцы на все смотрели сквозь пальцы – лишь бы ослабить главного (на тот момент) своего врага – аятоллу Хомейни. Преступление уже совершилось, когда Маркус («Миша») Вольф и возглавляемая им Штази создали Саддаму Хусейну многосложный аппарат слежки и подавления, при помощи которого диктатору удавалось обезвредить в зародыше всякую внутреннюю оппозицию. До последнего дня существования ГДР там обучали палестинских террористов – договор есть договор! И по сей день в Ираке работают советские военные советники. Война в Заливе – это кровавая карикатура на сообщество наций: сотрудничали все!».

Вольф Бирман признает, что в этой войне он – сторона. Но за израильскими заботами он не забывает и палестинских. Не об Арафате он печется («...трус в позе бойца, произносящий революционные фразы; бонвиван, посылающий на смерть несчастных своих фанатичных соплеменников»), но о рядовых палестинцах, о народе, столь же экзистенциально затронутом самым «проклятым вопросом» в регионе, как и израильтяне, об их, в сущности, братьях по несчастью.

«Живи я в Израиле, – пишет Бирман, – я, наверно, принадлежал бы к критикам правительства. Был бы среди тех четырехсот тысяч, которые протестовали против ливанской войны. Стоял бы на стороне тех, кто снова и снова пытается вступить в диалог с палестинцами, и охотно пел бы песни против агрессивной колонизаторской политики ортодоксов на занятых территориях». Однако: «...требовать от Израиля радикального изменения его политики в отношении палестинцев арабы не могут, пока сами они угрожают евреям истреблением».

Страстное, субъективное, полемическое эссе Вольфа Бирмана (о тематическом диапазоне и литературном блеске которого по нашему выборочному пересказу да немногим цитатам судить нельзя) – далеко не лучшее из того, что в Германии за эти недели писалось или говорилось о войне в Заливе. Но оно внесло свой вклад в дискуссию, которая вот уже в течение многих недель ведется в обществе, буквально на всех уровнях: в парламенте и в пивных, в школах и на улицах, в печати и в телевизионных программах, умно и глупо, рационально и эмоционально, с молитвами на устах и с пеной у рта. В дискуссии участвуют бывшие канцлеры, президент республики, ученые, философы, писатели, военные, политологи, экономисты, экологи, правоведы, богословы. Взвешиваются все мыслимые «про» и «контра» между моральным ригоризмом, на одном полюсе, реально-политическим прагматизмом – на другом. Но в конечном итоге никакие аргументы не могут разрешить подлинные дилеммы. Один из авторов (в том же еженедельнике «Die Zeit») пишет: «...Настаивают ли одни на необходимости немедленного перемирия, видят ли другие

все только в свете проблематичных или ложных исторических аналогий, – все сводится к одному вопросу: что хуже? Война теперь или война, которая грянула бы позже, если бы не атаковали Саддама Хусейна? Допустимо ли было вести эту войну, учитывая все ее непредсказуемые экологические, экономические и политические последствия, или она является меньшим злом по сравнению с той войной, которую пришлось бы вести с Саддамом Хусейном, вооружившимся атомной бомбой?»

Это вопросы, которые задают не только в Германии. Немцы же стоят еще и перед своими специфическими дилеммами, вытекающими из недавнего исторического прошлого. Это, однако, отдельная тема.●

Ю. Шлиппе

ГЕЛЬМУТ КОЛЬ – ЛИДЕР НОВОЙ ГЕРМАНИИ

17 января президент Федеративной республики Германии вручил Гельмуту Колю, лидеру парламентского большинства в бундестаге, мандат на формирование правительства. Хотя Колю уже в четвертый раз выпадает произносить присягу в качестве канцлера и кто-кто, а он-то отнюдь не новичок в немецкой и европейской политике, тем не менее, принимая диплом канцлера, Коль вовсе не выглядел радостно и безмятежно. Оно и понятно: забот у «старого политического волка» предостаточно, причем большинство проблем, которые ему предстоит решать, совсем иного рода, нежели те, с которыми он сталкивался на протяжении всей своей долгой и успешной карьеры. Именно в те часы, когда новому канцлеру пожимали руку и вручали цветы, в районе Персидского залива рвались бомбы, а в Вильнюсе, Каунасе, Риге советские десантники штурмовали гражданские здания, убивали, давили гусеницами танков горожан, порой случайных прохожих.

Но какими бы тревожными и опасными ни были события на Ближнем Востоке и в советской Прибалтике, возможности Г.Коля оказать на них непосредственное влияние весьма ограничены. История, похоже, отвела ему иную роль. Первоочередной задачей Коля станет реальное объединение страны, такое объединение, когда ее восточная часть догонит западную не только по уровню благосостояния, когда здесь будут окончательно изжиты последствия сорокалетнего господства коммунистического режима. Далее, канцлеру Колю предстоит выработать концепцию новой роли Германии в Европе и мире и заложить основы нового внешнеполитического курса страны. И, наконец, Г.Колю суждено сыграть важную роль в строительстве объединенной Европы на новом историческом этапе, когда восточноевропейские страны предпринимают усилия к тому, чтобы войти в общеевропейский дом. От позиции Коля в значительной мере зависит ответ на вопрос, останется ли Европа просто зоной свободной торговли, чем-то вроде европейского содружества, или она станет политическим союзом с общей экономической структурой и единой политической линией. Однозначный ответ на этот вопрос канцлер Коль дал в интервью газете «Financial Times» от 29 октября прошлого года. Начав с того, что «государственный суверенитет – это не самоцель, а инструмент, которым надо пользоваться с полной ответственностью для достижения партнерства», он обещал постоянно «прилаживать свой флаг к мачте федералистов». «Борьбу за достижение равновесия сил в Европе, – продолжал он, – должен сменить поиск разумного равновесия между руководством наднационального сообщества и правами его членов. В этом смысле будущее – за федерализмом». Короче, канцлер Коль выразил полную поддержку новой Германией той концепции Европейского Сообщества, которая основана на равноправии наднациональных и национальных структур единой Европы. Очень важно при этом, что Коль опирается на опыт нации, живущей в соответствии с федералистской конституцией и наглядно продемонстрировавшей все преимущества такой системы. Кроме того, канцлеру теперь уже не нужно опасаться, что он навредит воссоединению своей страны, продвигаясь слишком быстро по направлению к объединенной Европе. Это у него уже позади.

Те, кто предсказывал, что объединенная Германия повернется спиной к Европейскому Сообществу и пойдет своей дорогой, теперь могут убедиться, насколько необоснованными были их опасения. Именно убежденностью немецкого канцлера в необходимости создания объединенной Европы объясняются решения, принятые в Риме. Именно там, на встречах в верхах в октябре прошлого года было принято решение о создании единой европейской денежной системы. Римские соглашения в каком-то смысле представляют собой акт доверия. С другой стороны, они не лишены осторожности. И действительно, эти соглашения вступят в силу не ранее 1994 г., и лишь через три года европейцы смогут серьезно говорить о единой валюте, которая станет реальностью, вероятно, только к концу столетия. Однако не это было главным на

Римской встрече. Вопрос, который обсуждался там как бы между прочим, имеет гораздо большее значение для сохранения единства Европы.

Западная Германия, вступившая в Европейский общий рынок в 1958 г., сегодня наиболее могущественная в экономическом отношении страна Европы. С 3 октября прошлого года ее население увеличилось на 17 млн. человек. Считается, что к 2000 году восточная часть Германии догонит западную и, соответственно, усилится экономическая мощь всей страны. В свете этой новой ситуации двенадцать стран, включая Германию, считают, что необходимо ускорить процесс интеграции Европы. В настоящее время канцлеру Колю особенно выгодно форсировать процесс интеграции, ибо это открывает новые возможности для объединенной Германии. Но и остальным одиннадцати странам Европы выгодно воспользоваться настроениями в Германии и попытаться интегрировать эту страну в единый европейский механизм еще до того, когда она перестанет в этом остро нуждаться.

С другой стороны, соглашения о единой денежной системе демонстрируют, как действует Сообщество: его члены приходят к решению о политической цели и определяют для себя сроки ее достижения. Так были образованы рынки угля и стали в 1958 г. и Общий рынок в 1985 г. Следует отметить, что решение о переговорах по Европейской Хартии с целью образовать Единый рынок в 1993 г. было принято вопреки возражениям Маргарет Тэтчер. Однако это не помешало бывшему премьер-министру Великобритании сыграть конструктивную роль на переговорах, подписать Единый Европейский Акт, а затем расхваливать его на все лады, как будто инициатива с самого начала принадлежала именно ей.

Римские решения принимались по тому же сценарию. Как заметил сэр Джеффри Хау: «Мы уже бывали здесь». Теперь наследник г-жи Тэтчер считает, что принятые в Риме решения будут способствовать продвижению вперед всех членов Европейского Сообщества. Очень хочется надеяться, что поскольку Европа теперь вынуждена «печь свой собственный пирог», опасность борьбы за национальное превосходство внутри Европы резко уменьшилась. Как сказал в своем историческом интервью канцлер Коль: «Когда руководство осуществляется совместно, не остается места для национального соперничества и стремления к превосходству, как это было в прошлом».

Французы и другие члены Европейского сообщества, придерживающиеся таких взглядов, должны быть удовлетворены тем, что Германия искренне разделяет их. На предстоящих межправительственных совещаниях по вопросам денежного и политического союзов эти взгляды должны обрести форму договора. Хотя, конечно, не споткнуться бы на пустяках! ●

Рене Фош

ЮГОСЛАВИЯ – ВРЕМЯ РАСПАДА

В воскресенье 28 января в Загребе, Сплите, других городах Хорватии прошли мощные – сотни тысяч участников – демонстрации в поддержку республиканского руководства и его курса на расширение политической и экономической независимости республики от Югославской федерации. Стоя под хорватскими национальными знаменами и транспарантами типа «Хорватию не отдадим!», демонстранты выслушали отчет президента республики Франьо Туджмана о переговорах с союзным руководством, завершившихся за день до того компромиссом, который каждая из сторон посчитала выгодным для себя.

В канун ночных переговоров в Белграде вооруженный конфликт казался неотвратимым. Еще 9 января Президиум (то есть коллективный президент) СФРЮ отдал ультимативное распоряжение о роспуске всех «незаконных военизированных формирований» в Югославии до 21 января. При этом имелись в виду формирования трех типов: подразделения министерства внутренних дел Хорватии, войска территориальной обороны Словении и народное ополчение сербского меньшинства в Хорватии. (Хорватские сербы, проживающие в окрестностях города Книн, объявили – в обход республиканской и союзной конституции – о создании собственной республики, возглавляемой собственным же парламентом «Сабором».) Иначе говоря, вполне законные, созданные под эгидой республиканских парламентов и в соответствии с законодательством времен Тито войсковые формирования были поставлены на одну доску с теми, которые никак нельзя признать законными. Речь, конечно же, велась (и ведется) не столько о конфликте «Югославская федерация – Хорватская республика», сколько об этническом сербско-хорватском конфликте. Сербы давно стали «цементом», который скреплял Югославскую федерацию. И нынешний президент СФРЮ Йович, и министр обороны генерал Кадиевич, и 70% личного состава югославской Народной армии – сербы. В критических ситуациях, вроде той, что сложилась к 21 января в

Хорватии, военнослужащие несербского происхождения отправляются во внеочередной отпуск или переводятся в другие районы страны, чтобы таким образом обеспечить национальную однородность армии.

К пятнице 25 января вооруженное противостояние достигло апогея. Югославская Народная армия (ЮНА) была приведена в состояние повышенной боевой готовности и выведена из казарм на боевые позиции – в данном случае на улицы и площади хорватских городов. Военное командование Федерации не скрывало решимости любой ценой, в том числе и военной силой, разоружить республиканскую милицию. Эта последняя обещала оказать армии посильное сопротивление, а руководство республики пригрозило в случае неблагоприятного поворота дела формально выйти из Югославской федерации. Ходили слухи о предстоящем налете десантников на загребский телецентр – по сценарию, поставленному за неделю до этого в Вильнюсе.

Любопытно при этом, что творческая мысль сценаристов из Белграда работала в том же направлении, что и у их московских коллег. В дни кризиса белградское телевидение часто сокрушалось о том, что в Хорватии происходит разгул антиармейских страстей, офицерский корпус будто бы подвергается публичным оскорблениям и пр. В пятницу 25 января по центральному телевидению продемонстрирован видеофильм, цель которого – доказать «преступный характер политического руководства Хорватии». Фильм был снят «скрытой камерой компетентных органов» (определение киножанра принадлежит ТАСС). На фоне югославских «профессиональных журналистов» Александр Невзоров со своей работой «Наши» кажется начинающим стажером. В получасовой ленте предстают «в лучшем виде» министр обороны Хорватии Мартин Шпегель и министр внутренних дел Йосип Больковац. Из их бесед с активистом правящего в республике Хорватского демократического содружества Звонимиром Остоичем мы узнаем «о подготовке террористических актов, о нелегальных закупках оружия в Венгрии, об антиконституционном заговоре и пр». В уста министров вложены на редкость красочные тексты. В частности, Шпегелю приписывается такой кровожадный пассаж: «Придет час, когда дома офицеров нужно будет забросать гранатами, убить их жен и детей... Самых непокорных из рядовых солдат надо убивать в казармах, и лучше всего выстрелами в живот». Больковац якобы предается столь же людоедским мечтаниям: «Сербов в республике придется перерезать. Государство хорватов должно быть создано, пусть даже ценой крови».

Фильм явно готовил неискушенного зрителя к предстоящей большой передряге: к вооруженной расправе, к показательным судам и тому подобным вещам, сопутствующим «нормализации». Естественно, руководство Хорватии заявило, что получасовой телесюжет представляет собой топорно сработанную фальшивку, созданную чекистами-кинолюбителями методом монтажа и имитации голосов. Не придал достоверности фильму и тот факт, что сразу же после его телепремьеры единственный свидетель обвинения, упомянутый активист Звонимир Остоич, был найден в своей квартире в северохорватском городке Борово мертвым, – он не то покончил с собой, не то с ним было покончено. Но одного постановщики документальной ленты добились: конфликт стал международным. Венгрия заявила правительству Югославии резкий протест в связи с обвинениями в нелегальной торговле оружием. С аналогичными протестами выступила и Австрия. Соединенные Штаты и Великобритания через своих послов в Белграде также предупредили руководство Федерации, что заинтересованы исключительно в политическом, то есть мирном решении конфликта. Как бы там ни было, 26 января президент Хорватии Франьо Туджман снова отправился в Белград в попытке в последнюю минуту избежать кровавой междоусобицы. Многие его земляки опасались, что в сербской столице с ним могут приключиться неприятности вроде ареста или «случайного» убийства. Хорватская печать запестрела мрачными прогнозами и ретроспективными параллелями – в частности, вспомнила о судьбе Степана Радича, популярного в свое время председателя Хорватской аграрной партии, который в 1928 г. был застрелен одним из сербских депутатов прямо на заседании Белградского парламента. Туджман уже было отказался от поездки, но в последнюю минуту внял уговорам главы союзного правительства Анте Марковича, который, во-первых, гарантировал ему личную безопасность, а во-вторых, в случае отказа не брался гарантировать безопасность Хорватии.

Переговоры в Белграде проходили на редкость энергично. Сначала состоялась встреча двух главных врагов – Туджмана и новоиспеченного президента Сербии, возглавляющего заодно и Социалистическую партию республики, Слободана Милошевича. Хорватская сторона отстаивала ту точку зрения, что хорватский народ обладает теми же правами, что и сербский, и если Сербия могла произвольно отменить конституционно оговоренную автономию

Косово и Воеводины, не испрашивая чьего-то разрешения, то почему Хорватия должна терпеть самозванную автономию Книнского района? Сербская сторона аргументировала тем, что... на ее стороне сила. Единство мнений было достигнуто только по одному пункту: было констатировано, что отношения между двумя крупнейшими народами Югославии, сербским и хорватским, достигли самой низкой после 1945 года точки – точки замерзания.

После этого состоялось общее заседание Президиума СФРЮ. Об атмосфере дебатов свидетельствует то обстоятельство, что где-то к середине ночи представитель Словении в Президиуме Янез Дрновшек выскочил из зала заседаний и заявил задремавшим было журналистам, что «ноги его в Белграде больше не будет». На рассвете, однако, Франьо Туджман вернулся в Загреб усталый, но довольный. По его словам, переговоры были «опасным для жизни предприятием», но результаты оправдывают риск. «Демократия, – сказал он, – спасена, но это не значит, что в Хорватии воцарится «райское спокойствие».

В чем же суть достигнутого компромисса? Югославская Народная армия возвращается в казармы, и боеготовность номер один отменяется. Министерство внутренних дел Хорватии, со своей стороны, демобилизует милицейских резервистов – общим числом до 20 тысяч бойцов. Что собственно означает такая демобилизация – на этот счет у каждой из сторон есть свое толкование. Сербия считает, что происходит фактическое расформирование этих войск, Хорватия полагает, что от перевода бойцов в запас военная структура МВД не страдает, – указывая при этом на тот факт, что все вооружение милиции (от 20 до 30 тысяч автоматов «Калашников», купленных на венгерском оружейном рынке по мировым ценам) остается в арсеналах хорватской МВД, а не сдается союзной армии. Но компромисс потому и компромисс, что позволяет обеим сторонам выйти из игры без потери лица.

Кроме явного неравенства противостоящих сил и вооружений, хорватских руководителей толкал на компромисс и тот факт, что политическая верхушка родственной им по стремлениям Словении заняла в конфликте с Сербией более примирительную позицию. На состоявшейся в четверг 24 января встрече между президентами Словении и Сербии – Кучаном и Милошевичем – было подписано совместное

Югославия после раздела?

коммюнике, в котором одна фраза вызвала озабоченность хорватов: в ней Словения признает право сербов «на жизнь в едином государстве». Хорваты усмотрели в этом уступку «великосербскому шовинизму» за их, хорватский, счет – в Словении-то сербов нет! Сербия, согласно тому же коммюнике, проявила готовность признать право Словении «на собственный путь».

Как бы то ни было, достигнутый компромисс снимает остроту конфликта, не решая его по существу. Клубок социально-экономических, этнических и даже конфессиональных противоречий в Югославии затягивается все туже. Собственный корреспондент германской газеты «Die Welt» Карл-Густав Штрём приводит в своей статье в номере от 28 января высказывание одного из хорватских министров: «По сути, наша хорватская проблема одновременно и крайне сложна, и предельно проста: по нашей земле проходит граница между Востоком и Западом... Глубинный предмет нашего спора с Белградом сводится к тому, будет ли нам позволено вернуться в лоно Запада, куда мы, будучи народом католическим, относим себя, или же нас окончательно поглотит Восток. Вы, живущие на Западе, впадаете в роковое заблуждение, полагая, что холодная война закончилась. Нет, она продолжается – только по-другому. В ближайшие годы, а может быть, и месяцы на огромной территории от Балтии до Хорватии будет решаться вопрос о том, где пройдет восточная граница Европы». Даже тривиальность и спорность такой трактовки не отменяют того факта, что она разделяется большинством хорватов всех социальных уровней. И еще одно высказывание, сделанное на многолюдном митинге в Загребе членом Президиума СФРЮ от Хорватии Стипе Месичем: «Югославское государство, – сказал он, – создано во исполнение воли великих держав. Хорватская республика создана во исполнение воли хорватского народа». Нечего и говорить, что бурные аплодисменты собравшихся на площади Елачича тут же перешли в нескончаемые овации.

Недели, прошедшие после январского многообещающего соглашения между центральной властью в Белграде и республиканской – в Загребе, наглядно продемонстрировали, что компромисс предотвратил лишь вооруженное столкновение между югославской Народной армией и войсками МВД Хорватии. Кардинальных проблем Югославской федерации он, разумеется, не решил и даже не послужил уроком для других республик.

Заседания Президиума СФРЮ, на которых предполагалось внести ясность в безнадежно запутанные отношения между республиками, в эти недели проводились почти беспрерывно, но шансов на успех у них не было, поскольку их поочередно бойкотировали то представитель Словении Дрновшек, то представитель Хорватии Месич. В начале февраля председатель Президиума Йович попытался было добиться от Хорватии большей сговорчивости, угрожая ее президенту Франьо Туджману «последними предупреждениями» и требуя немедленного выполнения взятых на себя обязательств, но затем и эти угрозы прекратились. Оружие, находящееся на вооружении хорватского ополчения, в конечном счете так и осталось в арсеналах республиканского МВД, правительство Хорватии так и не выдало органам федеральной прокуратуры своих министров обороны и внутренних дел: загребский особняк первого из них, Мартина Шпегеля, на аресте которого особенно настаивал Белград, по слухам, охраняют до 200 вооруженных резервистов. Слабым утешением для югославского руководства послужило, вероятно, то обстоятельство, что в связи с продажей автоматов «Калашников» Хорватии в соседней Венгрии разразился правительственный кризис, так как, по мнению депутатов оппозиции венгерского парламента, сделка осуществлялась в тайне от общественности и испортила отношения между Будапештом и Белградом.

В состояние глубокого нокаута повергло правительство Югославии и решение парламента Словении, принятое в среду 20 февраля. Согласно этому решению, сформулированному в виде поправок к конституции, в компетенцию республиканских властей переходят банковское дело, оборона республики, таможенные и другие государственные службы, подчинявшиеся до сих пор правительству в Белграде. Одновременно парламент в Любляне обратился к скупщинам других республик с ультимативно сформулированным предложением о разделе Югославской федерации по меньшей мере на два государственных образования. Предложение подкреплено заверением, что если оно не будет принято, Словения в одностороннем порядке выйдет из Федерации.

Маленькая альпийская республика, граничащая с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией, давно жалуется на то, что пользы ей от пребывания в составе Югославии никакой, так как она дает Федерации гораздо больше, чем получает. Такие заявления подкрепляются цифрами: словенцы, составляющие чуть больше 8% общей численности югославского населения (в СФРЮ – 23,5 миллиона человек), вносят в общий котел около 20% всех валютных поступлений от экспорта.

«Принимая решение об отделении, – заявил президент республики Милан Кучан, – наш парламент исходил из того факта, что в политическом и экономическом смысле Югославия все равно уже развалилась. Поэтому мы предлагаем немедленно начать формальные переговоры о роспуске Федерации». В резолюции словенского парламента не оговорены сроки возможного выхода из Федерации, но зато такие сроки предусмотрены референдумом от 23 декабря прошлого года, в ходе которого свыше 90% избирателей в Словении высказались за отделение от Югославии до конца июня этого года.

Словения заинтересована в том, чтобы и впредь оставаться субъектом международных соглашений, заключенных Югославией и касающихся ее непосредственно (таких, в частности, как договор о границе с Италией). Именно поэтому Загреб предпочитает говорить не об «отделении», а о «самороспуске Югославии». В любом случае, как подчеркнул министр иностранных дел республики Димитрий Рупель, «после принятия поправок к конституции пути назад нет, и это должно быть ясно всем». Для скорейшего внесения полной ясности в ситуацию решено уже в ближайшее время учредить Словенский национальный банк и заняться строительством собственной армии.

Неясно пока, как отреагирует на эти заявления югославская Народая армия, когда ее политическое командование выйдет из состояния шока. Во всяком случае президент Словении Кучан тешит себя надеждой, что взаимоотношения республики с ЮНА будут выясняться в ходе переговоров. И здесь за образец словенцы хотели бы взять формулы поэтапного вывода Западной группы войск с территории бывшей ГДР, разработанные на советско-германских переговорах. Словенское предложение относительно будущего государственного устройства нынешней Югославии предусматривает немедленный роспуск СФРЮ как противоестественного порождения последней мировой войны. На ее территории должны сложиться как минимум два государственных образования. Первое будет представлять собой федерацию республик, предпочитающих сильную центральную власть. Второе – союз суверенных государств или просто ряд государств, существующих на свой страх и риск, вне всяких союзов.

Хорватия, и сама настаивающая на федеральном устройстве югославского государства, вне всякого сомнения, поддержит словенскую инициативу. Франьо Туджман уже заявил, что если Словении удастся отделиться, Хорватия без промедления последует ее примеру. Столь же мало сомнений в том, что Сербия и верная ей Черногория отвергнут предложение Словении. Обе республики достаточно бедны и даже после свободных выборов управляются коммунистами или их преемниками – социалистами; следовательно, им прямой резон удерживать работящих и зажиточных словенцев в своей «коммуне». Республика Босния и Герцоговина имеет со Словенией и Хорватией общее прошлое: когда-то все они входили в состав Австро-Венгерской монархии. Но эта республика этнически не однородна: здесь живут сербы, хорваты и исламизированные словенцы. Как отреагирует республиканское правительство, вечно занятое выяснением национальных отношений, на вызов времени, можно только гадать. Самая южная республика федерации – Македония – уже объявила о своем суверенитете сразу после прихода к власти некоммунистического правительства. Но нищета и географическое положение Македонии, зажатой между Грецией, Болгарией и Сербией, могут бросить ее в «братские объятия» последней.

Да, в Югославии сегодня много неясного, ясно лишь, что страна переживает время распада, и югославское государство ни при каких обстоятельствах уже не будет таким, каким оно было во времена И.Тито. ●

Ефим Фиштейн

ДОСЬЕ «ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕНИЯ»

СЕВЕР ЕВРОПЫ СТУЧИТСЯ В «ОБЩИЙ РЫНОК»

Из пяти стран Северной Европы Дания – единственный участник Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС), называемого ныне «Общим рынком». Решение о вступление в ЕЭС было принято в 1972 г. на основе общенародного референдума, к чему на Западе прибегают крайне редко – когда решаются самые важные вопросы. Противники вступления в ЕЭС говорили тогда, что если Дания вступит в сообщество, то она утратит национальный суверенитет, важные политические решения будут приниматься не в Копенгагене, а в Брюсселе, а в экономике страны будут доминировать западногерманские монополии. Теперь, спустя 20 лет, оказалось, что страхи противников ЕЭС были сильно преувеличены. Движение против вступления в «Общий рынок», которое когда-то собира-

ло многотысячные манифестации, пошло на убыль и, похоже, вообще дышит на ладан. Как оказалось, Дания не потеряла независимости, хотя и согласовывает свои позиции по многим важным вопросам с другими участниками ЕЭС, в котором в настоящее время состоит 12 государств. Что касается других северных стран, то в Швеции и Финляндии вопрос о присоединении к ЕЭС до последнего времени вообще не обсуждался, а всенародный референдум в Норвегии в свое время показал, что большинство норвежцев против вступления в ЕЭС.

В минувшем году положение изменилось. И в Швеции, и в Норвегии проходят острые дискуссии о том, стоит ли присоединяться к ЕЭС и когда это лучше всего сделать. Инициатива здесь принадлежит шведам. Швеция, как известно, страна нейтральная, и вступление в ЕЭС многими в этой стране и за ее пределами рассматривается как частичная утрата нейтралитета. Для многих заявление министра иностранных дел Швеции Стена Андерссона (сделанное в сентябре прошлого года) о готовности его страны вступить в ЕЭС в 1993 г. оказалось неожиданным. Министр объяснил, что сейчас происходит процесс строительства новой системы европейской безопасности, и это решительно меняет дело. Любопытно, что политический противник министра, лидер «умеренных» Карл Бильдт, считает, что не надо ждать 1993 г.: вступать в ЕЭС надо уже в 1991 г. Опрос общественного мнения показал, что 82% шведов – за членство в «Общем рынке». Ясно, что проводить референдум нет никакой необходимости.

Желание шведского правительства вступить в ЕЭС объясняется не столько политическими, сколько экономическими причинами. Отражая мнение широких кругов общественности, популярная газета «Politiken» пишет: «Невозможно поддерживать высокий уровень жизни, изолируя себя от остальной Европы».

Решение Швеции сразу же получило отклик и в Норвегии. Норвежский коллега Андерссона Бондевик заявил, что вступление Швеции и Норвегии в ЕЭС может произойти одновременно. Интересно, что противниками европейской интеграции в Норвегии выступают некоторые религиозные группы (протестанты), которые утверждают, что Европа «управляется католиками», а также сторонники «трезвого» образа жизни, которые опасаются, что после вступления в ЕЭС в Норвегии возникнет «либеральное» отношение к алкоголю (в Норвегии спиртное можно купить лишь в определенных магазинах и в определенное время).

Дискуссия о вступлении в ЕЭС развернулась и в Финляндии. Если нейтральная Швеция собирается стать участником «Общего рынка», то почему это невозможно и для нейтральной Финляндии? Если уже члены Варшавского Договора устремляются в ЕЭС, то почему это возбраняется Финляндии – разве Хельсинки больше зависят от Москвы, чем Варшава, Будапешт или Прага? В Финляндии практически все будет зависеть от позиции президента Койвисто, поскольку именно он, а не правительство, решает внешнеполитические вопросы.

Вступление Швеции, Норвегии и Финляндии в ЕЭС может разрушить другое объединение – Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ), куда входят Австрия, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швейцария и Швеция. С другой стороны, страны Северной Европы, всегда стремившиеся к тесному экономическому и политическому сотрудничеству, обретут его на этот раз на более высоком уровне.

Когда-то датская газета «Jullands Posten» писала, что страны Севера Европы завидуют Дании, поскольку она является членом ЕЭС. Но не следует забывать, что и в «Общем рынке» существуют свои проблемы и свои противоречия. Главная проблема – перепроизводство сельхозпродукции, ибо на складах ЕЭС накапливаются огромные запасы масла, сухого молока и говядины. Возникают трения между отдельными членами сообщества, между ЕЭС и США и так далее. В целом же «Общий рынок» продемонстрировал свою жизнеспособность. И он уже перестал быть лишь чисто экономической организацией: страны-участницы совместно решают многие социальные и политические проблемы.

Сообщество, безусловно, будет расширяться. Один скандинавский журналист высказал предположение, что к 2000 году в Европе будет лишь ЕЭС и две страны, в него не входящие, – Швейцария и Албания. Он, правда, ничего не сказал о Прибалтике... В этой связи хочется добавить, что советские руководители неоднократно указывали мятежным республикам Прибалтики на пример ЕЭС, на процессы интеграции в Европе. Там, мол, стремятся к объединению, к общей валюте, к отмене границ, а вы «толкаете нас в обратном направлении». При этом в Москве забывают об одной «малости»: в Европе процесс интеграции происходит добровольно, объединяются суверенные государства, и что такое «диктат центра», здесь не знают. При том что все-таки часть суверенитета утрачивается – во имя общей политики. Не нравится – уходи. Но никто уходить не хочет.●

Борис Вайль (Копенгаген)

Р. Бахтамов

МЫ И ОНИ

Аналитический обзор

Воистину умом Россию не понять. *Самодостаточная*, как ни одна страна в мире, она больше, чем любая другая, пребывает в состоянии постоянной озабоченности своими отношениями с миром. Кажется, эта проблема актуальна на все времена. Актуальна для Ивана Грозного и Петра I, для Чаадаева и Пушкина, для славянофилов и западников, для нынешних консерваторов и радикалов. Где еще беглые путевые заметки вызывали бы на протяжении полутора веков столь яростный накал страстей – только потому, что их автору, Астольфу де Кюстину, не понравились российские порядки времен Николая I? Где еще половина газет и журналов была бы занята поисками «фобий» – всего, в чем можно усмотреть малейший признак неуважения к стране и нации?

1 ВОЗВРАЩЕНИЕ В МИР

Вроде бы всего у нас достаточно: земель, природных богатств, талантливых людей. Но ощущение всегда было такое, что *чего-то* не хватает. Офицеры русской армии входили в Париж как победители. Уходили же, ощущая недовольство и смутную тоску. В чужом Париже дышалось легче и свободнее, чем в родном Петербурге.

Эту повышенную чувствительность можно объяснить двояко. Прежде всего, *комплексом неполноценности*. Трехсотлетнее татарское иго исказило естественное развитие страны, отбросило ее назад. Мир давно вступил в Новое время, а мы все никак не могли выкарабкаться из крепостного права, абсолютной монархии, феодально-сословной системы отношений. Просвещенного человека охватывала тоска, когда он попадал за границу. Уютные деревенские домики, чистота, спокойные и уверенные в себе обыватели, атмосфера свободной, благополучной, глубоко личной жизни...

Странным образом, однако, тот же просвещенный человек ощущал свое *превосходство* над Западом. В чем? Трудно сказать. Может быть, именно в отсутствии жизненного благополучия. Ясно, что при потенциальных возможностях страны мы тоже были в состоянии достичь всего этого. И если не достигли, то, очевидно, потому, что сосредоточили усилия на чем-то другом, неизмеримо более важном. На поиске смысла жизни, или Бога, или равенства, или справедливости. Недовольство существующим порядком вещей всегда уживалось у нас с идеей Третьего Рима. Особой миссии России, которой суждено – пусть не сейчас, но уж непременно в будущем – открыть человечеству путь к иным, высшим ценностям: религиозным, нравственным, социальным, политическим.

Нелепо, конечно, сводить Октябрьскую революцию к воплощению мессианской идеи. Но и значение этого фактора не следует недооценивать. Признавая, что экономически Россия меньше других была готова для перехода к коммунизму и возлагая основные надежды на поддержку развитых государств, Ленин не сомневался, что

именно Россия призвана стать *инициатором* революционного процесса, указать остальному миру дорогу в будущее.

Понимание того, что всемирная революция откладывается и России предстоит в одиночку осваивать мир будущего, далось вождям революции нелегко. Видимо, многие из них так до конца этого и не осознали. Классический пример – Троцкий. Похоже, однако, что и сам Ленин долго тешил себя иллюзиями. Ему казалось, что просчет лишь во *времени*, что мировая революция просто задерживается. Он согласился даже отступить в нэп, чтобы дистанция между авангардом и основными силами не была такой обескураживающей.

Первоначально курс на построение социализма в одной, отдельно взятой стране вовсе не предполагал разрыва с остальным миром. Считалось само собой разумеющимся, что события будут развиваться в двух направлениях. С одной стороны, произойдет дальнейшее обострение кризиса капитализма и соответственно нарастание революционной ситуации на Западе; с другой – Россия на собственном опыте продемонстрирует миру преимущества социализма и тем окончательно убедит колеблющихся.

Нетрудно заметить, что преемники Ленина (и прежде всего Сталин) вкладывали в ту же формулу совсем иное содержание. Для Сталина мир был разорван на две части: «отдельно взятую страну», строющую социализм, и все остальные государства – не только чужие этой стране, но и глубоко враждебные. Создание так называемого лагеря социализма ничего не изменило: странам народной демократии Сталин доверял никак не больше, чем остальным. И объяснялось это вовсе не патологической подозрительностью Вождя, а вполне *рациональными* соображениями. Если Ленин отводил России место поводыря остального мира, то Сталин видел в ней будущего хозяина этого мира, устроителя и распорядителя нового порядка. Естественно было предположить, что подобная иерархия понравится далеко не всем – особенно странам и народам, воображающим себя великими. Можно себе представить, памятуя опыт Прибалтики и стран народной демократии, какую *всеобъемлющую чистку* учинил бы Иосиф Виссарионович в остальном мире, доведись ему стать хозяином!

Впрочем, и собственные граждане вызывали у Вождя не меньшие подозрения. Во всяком случае те, кто что-то знал об остальном мире и, значит, мог сравнивать. О рядовых гражданах говорить нечего. Все они – солдаты-освободители, люди, попавшие в оккупацию, моряки, соприкасавшиеся с союзниками, – автоматически попадали в разряд подозреваемых. Но и те, кто вроде бы пользовался доверием – члены не слишком многочисленных делегаций, посланных за границу, – оказывались в том же положении. Так произошло, например, с военными делегациями: делегацией тридцать девятого года, направленной в Германию для закупки оружия и снаряжения, и делегацией сороковых годов, выполнявшей те же функции в Соединенных Штатах. Обе успешно завершили работу, были торжественно встречены дома, а затем – почти в полном составе – отправлены в лагеря.

И снова мы имеем дело не с болезненной подозрительностью, а с рациональным (может быть, *слишком* рациональным) подходом к проблеме. Сталин не сомневался, что каждый (или почти каждый) нормальный человек, побывавший за границей и получивший возможность сравнивать, должен был стать пусть не шпионом, но уж непременно потенциальным противником системы. Вопреки мнению Черчилля, Вождь достаточно хорошо знал действительность. А если он и ошибался, то лишь в том, что переоценивал рациональное начало в психике человека. Пропаганда, страх, любовь к родине и семье часто оказывались сильнее разума. Многие люди возвращались из-за рубежа точно такими же, как уехали. Они предпочитали не видеть, не сравнивать, не думать – так было легче и спокойнее.

Сталин исказил благородную ленинскую идею? Нет. Исказило идею *время*. В начале 20-х годов еще можно было верить в марксистскую перспективу: все хуже – у них, все лучше – у нас. Через 15 лет верить в это было уже невозможно. Конечно, еще и тогда далеко не все было ясно. Но Сталин раньше других понял (или ощутил кожей) связанные с этим опасности. Тридцать седьмой год – кровавое тому доказательство.

Отказ от «изоляционизма» связывают обычно с приходом к власти Горбачева. Это не совсем точно. Не только в начале перестройки, но и позже об этом не было и

речи. Новое политическое мышление сводилось, в сущности, к отказу Советского Союза от претензий на мировое господство – не менее, но и никак не более того. Саму же систему отношений с окружающим миром Горбачев отнюдь не собирался менять. Почти в каждом его выступлении того периода на разные лады варьируется нехитрая мысль о невмешательстве в дела друг друга. У вас, дескать, свои порядки, у нас – свои. Не думайте, что наши оценки двух систем хоть в чем-то изменились. Ничего подобного. Просто мы отказались от намерения избавить вас от эксплуатации, рыночной стихии, буржуазной демократии и прочих язв. Отказались, ибо в атомном веке это благородное желание может привести к результату, который гении марксизма не предвидели, – к уничтожению человечества.

Эта *единственная* поправка на время, которую мы готовы были принять. Свой выбор народ сделал – раз и навсегда – в октябре семнадцатого года. И до сих пор пожинает плоды. Правда, сейчас предстоит кое-что перестроить, изменить, модернизировать. Но все это – в рамках *того же* выбора. И учтите: никакого вмешательства в наши дела, никаких советов, рекомендаций и прочего мы не потерпим.

Основную реакцию мира на этот поворот можно было предвидеть: восторг, смешанный с недоверием. Десятки лет – целую эпоху – перед западным обывателем стояла дилемма: красный или мертвый, rot oder tot? Красным быть не хотелось, мертвым – еще меньше. Эта дилемма деформировала сознание всех послевоенных поколений. Сокращение рождаемости, поток самоубийств, вызванных страхом перед грядущей войной, истерические взрывы насилия, сексуальная революция, многие левые движения, даже смешные купальники «бикини» – таковы лишь некоторые признаки деформации, обусловленной вовсе не прогрессом в мире науки (как пытаются изобразить), а тупым самодовольством вождей в одной, отдельно взятой стране. И тут вдруг очередной лидер этой страны почему-то решил освободить мир от угрозы , не требуя взамен ничего, кроме невмешательства.

Условие странное. Со времен революции никто и не пытался вмешиваться в дела этой загадочной страны. Это она постоянно вмешивалась в чужие дела: расстреливала иностранных коммунистов в Испании и у себя дома, навязала Восточной Европе уродливые «народные демократии», блокировала Западный Берлин, спровоцировала Карибский кризис, утвердила в Анголе и Мозамбике племенной социализм, оккупировала Афганистан, провозгласила доктрину помощи революционным движениям... А теперь, смешно сказать, делает вид, что боится лишь одного – нарушения собственного суверенитета.

Да ради Бога! Если бы, однако, кто и помыслил о вмешательстве, как это возможно? Сотни тысяч пограничников, колючая проволока и собаки, монополия внешней торговли, жесткая система въездных и выездных виз... Но главное – *зачем*? За десятки лет, что Советский Союз пребывал в состоянии добровольной самоизоляции, мир давно *приспособился* к его отсутствию. Сложились постоянные связи, наладилось сотрудничество, возникли такие мощные организации, как Всемирный банк реконструкции и развития, Генеральное соглашение о тарифах и торговле, Европейское сообщество. Внезапное появление на этой арене Советского Союза с его плановой экономикой, строго говоря, было даже опасно, ибо могло иметь те же последствия, что дружеский визит слона в посудную лавку.

Короче, обе стороны, хотя и по разным причинам, были заинтересованы в сохранении *дистанции*. И если сохранить ее не удалось, то виной тому вовсе не иностранные агенты и не российские «западники», а *положение в стране*. Как-то сразу все вдруг стало разваливаться: социалистическая экономика, национальные отношения, система управления, авторитет власти, право, нравственность. Оказалось, что за семьдесят лет отдельно взятая страна так и не придумала ничего путного. И уже не местные «западники», а самые разные люди (включая тех, кто еще совсем недавно «гордился общественным строем») стали оглядываться на остальной мир. Конечно, у них эксплуатация и все такое прочее, но люди там как-то живут; магазины полны; нации мирно сосуществуют; система управления работает; законы (пусть буржуазные) соблюдаются; даже нравственность, о которой мы потихоньку начали забывать, для них что-то значит.

Естественно, воспринимать этот чуждый и неизвестный мир следовало со всей возможной осторожностью. Если, скажем, магазины у них полны, то чем они за это *расплачиваются*: жестокой эксплуатацией, нищетой, отсутствием государственных квартир, бесплатной медицинской помощи и пособий по старости, неравенством, угнетением, культом денег и силы? Вроде бы нет. Но ведь так не бывает, чтобы и это лучше, и то лучше. Должно же и у них быть что-то плохо. Иначе выходит, что все эти годы мы только тем и были заняты, чтобы делать *хуже*.

Разумеется, спокойнее не оглядываться. Сколько лет мы жили своей жизнью, Бог даст, проживем и дальше. Однако беда в том, что привычная жизнь разваливается, а новая не складывается. А это, хочешь не хочешь, вынуждает смотреть и сравнивать. Не Горбачев осознал вред самоизоляции. Это *мы осознали*, что вечная тема «мы и они» перестала быть *умозрительной*, что время споров на тему, хорошо у них или плохо, нужно это нам или нет, кончилось. Пора решать. Либо мы повернемся лицом к окружающему миру, либо нам придется вновь искать собственный путь. Других возможностей нет.

2 КОМБИНАЦИЯ ИЗ ТРЕХ КУБИКОВ

На первый взгляд, палитра нынешней российской идеологии расплывчата – сплошные полутона. Стоит, однако, присмотреться, и мы без труда обнаружим линию *раздела*. Дело, понятно, не в названии (радикалы и консерваторы, неославянофилы и неозападники), дело в сути – в выборе будущего. Одни считают, что эпоха экспериментов кончилась, пора вернуться к тому пути, которым идет все цивилизованное человечество. Другие по-прежнему убеждены, что у России своя дорога, и этой дорогой нам надлежит следовать.

Это деление – основное. А вот в его рамках можно действительно обнаружить широчайший диапазон взглядов. Даже у радикалов (скажем, идея перехода к свободному рынку посредством «сильной руки»), но особенно у консерваторов – уже хотя бы потому, что никто не знает, откуда вести отсчет *собственно* российской дороги: с революции, самодержавия, православия, язычества?..

Порой кажется, что для консерваторов это не так важно, что они готовы принять любой вариант, лишь бы он был своим, отечественным. Вряд ли это верно. Конечно, сейчас, когда всех их объединяет паническая боязнь перемен, они готовы идти вместе. Поклонники плановой экономики и сельской общины, трехцветного флага и красного знамени, убежденные интернационалисты и радетели «России для россиян», люди, хорошо знающие, чего они хотят, и те, кто твердо знает лишь то, чего не хочет: нищеты, безработицы, эксплуатации. Стоит им победить, отстоять свою, исконную дорогу, и сразу же начнется *расслоение*, потому что – при всей невообразимой сумятице взглядов – за каждой идеей стоит довольно четкая группа со своими, достаточно определенными интересами.

От этих идеологий нельзя отмахнуться. Не только потому, что исповедующие их группы многочисленны и влиятельны. Еще важнее другое: специфика российско-советского пути такова, что интересы этих групп нередко совпадают с интересами *государства*, а в какой-то степени – и значительной части *народа*. Как раз по этой причине перестройка шла так медленно и вяло. Ведь жертвовать приходилось видимыми интересами государства и народа во имя других, а которых можно было лишь догадываться.

Возьмем, например, группу людей, о которых с усмешкой говорят, что они «не могут поступиться принципами». Она тоже неоднородна. В нее входят и те, кто занимает (или до недавнего времени занимал) руководящие должности, и те, кто никаких особых постов отродясь не занимал и не занимает – та же Нина Андреева. Позицию первых проще всего свести к утилитарным интересам: стремлению сохранить власть, привилегии и прочие преимущества, которые дает положение.

Для некоторых людей данной категории их «принципы» тем и исчерпываются. Но будем объективны: есть и другие. Эти другие действительно много и тяжело работали: руководили, организовывали, направляли. И делали это вполне (или

почти вполне) бескорыстно – в интересах страны, партии, народа. Чем же они хуже капиталистов, откровенно работающих на себя? Да и результаты усилий этих людей нельзя назвать нулевыми или только отрицательными. Какие-то конкретные вопросы решались, дома строились, заводы выпускали продукцию. Страна вроде бы развивалась: стала индустриальной, победила в тяжелейшей войне, первой добилась успеха в освоении космоса, распространила свое влияние на государства Восточной Европы, Азии, Южной Америки, Африки, достигла положения одной из двух сверхдержав.

Система работала не безупречно? Пусть так. Но что предлагают взамен? Бог с ними, с должностями и привилегиями – не в них суть. Предлагают отказаться от положения великой страны и великого народа, от недавних союзников, от статуса *сверхдержавы*. И все это ради того, чтобы стать *обычным*, рядовым государством, каких много. И даже не развитым, а развивающимся, государством-учеником, которому только предстоит осваивать азы капитализма: рыночные отношения, свободу, демократию. Осваивать едва ли не с самого начала – с периода первоначального накопления, о котором на самом Западе вспоминают с ужасом. Неужто это и есть та *альтернатива*, во имя которой нам предстоит работать и работать, отказавшись от всего, чего мы достигли за сотни российских и десятки советских лет?

Перспектива, согласимся, не слишком вдохновляющая. И не только для Егора Лигачева, Ивана Полозкова или даже Нины Андреевой, а для миллионов обычных людей. Людей, которые вовсе не в восторге от существующей системы, но боятся, что переход к рынку – пусть не вообще, а в наших *конкретных* обстоятельствах – не улучшит, а ухудшит их и без того шаткое положение.

В рассуждениях тех, кого ехидно именуют неославянофилами, тоже немало правильного. Можно сколько угодно доказывать, что дореволюционная Россия вовсе не была той страной свободы, благосостояния и всеобщего счастья, какой ее сейчас изображают. Все зависит от того, с чем сравнивать. Да, царский строй был далек от идеала, но тот, что пришел ему на смену, был настолько ужасен, что все пороки и преступления прежней системы представляются детскими играми.

Можно, разумеется, сравнивать не с Советским Союзом, а с государствами Запада. Однако и в этом случае оценки могут быть разными. Если достижения западного мира очевидны, то и несовершенства его лежат на поверхности. Благосостояние – и перманентная безработица, рост производства – и отравление среды обитания, укрепление правовых основ государства – и разгул преступности... Кто возьмет на себя смелость, сложив плюсы и минусы, заявить, что прогресс очевиден? Тем более, что в человеческом сознании «доброе старое время» всегда подернуто розоватым туманом. В этом тумане плохое расплывается, теряет краски. Хорошее, напротив, сгущается, обретает яркость.

И уж вовсе человеку трудно удержаться от *игры в кубики*. Смысл игры в том, что вы берете одни кубики из современности и добавляете к ним другие – из доброго старого времени. Получается замечательно: наука, техника, медицина – на уровне конца века; природная среда, нравы, обычаи – на уровне его начала. И хотя в натуре так не бывает, самым разным людям эта игра нравится.

Перемены в нашей жизни разительны. Голос народа, который некогда был слышен под одеялом, а немного позже – на кухне, теперь звучит громко. И к нему прислушиваются – по крайней мере в определенных случаях. Похоже, сам Горбачев предпочел бы сложить здание из кубиков трех видов: *западного* (полусвободный рынок, гласность, почти свободные выборы), *социалистического* (экономика, контролируемая государством, своеобразная социальная политика, союз республик, направляемый центром) и *исконно российского* (смесь национализма, патриархальности и еще чего-то, что трудно обозначить). Пять лет перестройки показали, однако, что из этих кубиков здание не складывается – чем-то надо жертвовать. И если в какой-то момент казалось, что Президент готов пожертвовать исконно российскими ценностями, то сейчас впечатление такое, что основная ставка делается именно на них. По крайней мере подобное развитие событий не исключается.

Конечно, Горбачев колеблется, а потому его политика ближе не к прямой, а к *ломаной*. Но отрезки этой ломаной начинают складываться в фигуру известного

вида. Все свободнее и громче звучат голоса тех, кто хотел бы соединить преимущества социализма, добытые в ходе революции, с достоинствами дореволюционной России. Программа перехода к рыночной экономике не то чтобы отменена, но незаметно утратила актуальность. Похоже, что главное – не рынок, а дисциплина и порядок. А если без рынка не обойтись, то это должен быть наш, советский рынок: упорядоченный, регулируемый государством в интересах народа. Подписав договор о сокращении обычного вооружения, Советский Союз одну часть этого вооружения увел за Урал, а другую, похоже, припрятал. К чему бы это? Тот, кто действительно хочет сотрудничать с остальным миром, так не поступает. И пируэты вокруг Ирака производят странное впечатление: да, нет, нет, да – и загадочное советское судно с грузом боеприпасов и запасных частей для танков, идущее в иорданский порт Акаба. Кто его знает, нужны ли эти части Иордании, но зато точно известно, что Саддаму они необходимы, и Акаба – прямая дорога в Ирак. Снятие Бакатина, отставка Шеварднадзе, назначение Янаева, выступление Крючкова. Наконец, расстрел демонстрации в Литве. Не станем возмущаться – приучены, попробуем понять логику. Ясно, что мера направлена не на развитие отношений с Западом. Тогда на что же?

В попытке сделать Советский Союз интегральной частью современного мира Горбачев отказался от некоторых позиций, захваченных его предшественниками. Многие из этих позиций (например, в странах Восточной Европы) без войны уже не вернуть. Но другие позиции (и не только в Прибалтике или в Закавказье) сохранить еще, видимо, можно. Как раз этого добиваются от Горбачева консерваторы обеих мастей. Однако главная их идея – вернуть Советский Союз к положению сверхдержавы – страны, не просто владеющей оружием массового уничтожения, но пребывающей в *постоянной оппозиции* Западу. В нашем сложном, раздираемом противоречиями мире такая позиция открывает немало возможностей. От игры на этих противоречиях – до шантажа и элементарного вымогательства.

Замечательное в своей откровенности заявление Лукьянова в Японии: «Перестройка помогла миру, теперь мир обязан помочь перестройке» – еще не самый яркий пример этой политики. За последние месяцы советское руководство обрушило на мир целый каскад тревог-угроз. Превращение страны в конгломерат государств, чья политика непредсказуема. Растаскивание атомного оружия. Голод, всеобщее ожесточение, военный переворот, гражданская война. Многомиллионный поток беженцев, сметающий границы и затопляющий Европу...

Эти опасности, и правда, существуют. Но они еще и расчетливо *педалируются*. Свою ответственность за состояние, до которого советское руководство довело страну, оно пытается переложить на мир. И развязать себе руки. Чтобы мир не смел и помыслить о вмешательстве, его назначение – сочувствовать, помогать и поддерживать. Выбора у него нет. Собственно, это и есть классический вариант шантажа.

Трудно сказать, понимает ли эту механику просвещенный мир. Вероятно, понимает. Но мир – таковы *современные веяния* – готов признать свою ответственность и за свои, и за чужие грехи. Неважно, кто виноват, важно найти консенсус, общее согласие. Неважно, реальные это опасности или мнимые; в любом случае следует сделать все, чтобы избежать последствий. Обвинения Крючкова, дикие обвинения, мир воспринял спокойно и даже с сочувствием. Бедный Горбачев: то ли он утратил контроль над председателем КГБ, то ли вынужден пользоваться явными фальшивками, лишь бы успокоить народ...

Так что мир сочувствует. И не просто сочувствует, поддерживает и помогает. Миллиардные займы, эшелоны с продовольствием, новые репарации, которые Германия платит то ли за объединение, то ли за вывод советских войск со своей территории.

Единственное, что беспокоит мир, – *тщетность* его усилий. Деловой человек Запада плохо разбирается в тонкостях советской хозяйственной системы. Однако он хорошо знает, что прокормить триста миллионов людей, которые *не хотят* работать, никак невозможно. Как невозможно и *убедить* их хотеть – в условиях, когда нет стимулов, нет мотивации. А этот непредсказуемый Горбачев говорит и говорит, ничего не делая. Впрочем, может быть, бедный президент СССР просто не знает, что делать?

3 СОЦИАЛИЗМ С ПАТРИАРХАЛЬНЫМ ЛИЦОМ

Обстановка в стране такова, что Горбачев, кажется, готов принять меньшее из зол – расписаться в собственной некомпетентности. Не так давно он с видимым удовольствием рассказывал анекдот о Президенте СССР, у которого сто экономических советников. Президент знает, что один из них умный. Беда лишь в том, что он не знает, кто именно.

Думаю, беда не в этом. Сторонники рыночной экономики нередко расходятся в частностях. Однако в главном – в том, что переход к рынку надо вести быстро и решительно, – все они согласны. Так что проблема не в них, а в самом Горбачеве. Разумом понимая, что они правы, он ничего с собой не может поделать – все в нем этому решению противится. И главное здесь, пожалуй, не сам рынок, а то, что за ним: утрата положения сверхдержавы, распад империи, превращение КПСС в рядовую партию, отказ пусть от иллюзии, но иллюзии неограниченной власти...

Думаю, что как человеку и руководителю Горбачеву несравненно ближе вариант, сочетающий *умеренный социализм с исконными российскими идеалами*. Конечно, речь идет не о православии, самодержавии, народности (все это слишком одиозно), а о модели специфически российского, *патриархального социализма*.

Что это такое, я, понятно, не знаю (как не знает, очевидно, и сам Горбачев). Однако некоторые черты этой модели угадываются. Сверхдержава с достаточно развитой, но не агрессивной военной структурой, пользующаяся влиянием в мире. Широкая (хотя и без излишков) автономия республик – и сильный центр. Государство, регулирующее рынок в интересах народа. Иными словами, неопатриархальная структура с элементами социализма: ограниченная частная собственность, жесткие (для собственников) условия найма, оплаты и увольнения, высокие ставки налогов и проч. Государству отводятся и другие роли: покровителя искусств и изящной словесности, блюстителя нравов и нравственности, арбитра, хранителя традиций...

Можно было бы поехидничать на тему о том, что эта модель подозрительно напоминает идеальные построения в стиле Николая I. Но дело в конце концов не в авторстве и даже не в том, хороша или плоха эта модель. Главное – в какой мере она *реальна*, осуществима. Насколько *работоспособными* окажутся все эти патриархально-социалистические конструкции: модернизированная сельская община, крупный завод, принадлежащий на паях тем, кто на нем работает, мелкие частные предприятия, придавленные тяжелым прессом социального законодательства и высоких налогов?

Каждый, кто знаком с мировой практикой (а эта практика испытала едва ли не все мыслимые формы организации производства), скажет, что нет – не осуществима, не реальна. Правда, в особых, специфических условиях какая-то из этих форм может существовать и даже быть эффективной. Однако это *исключение*, а не правило. По общему же правилу, подобные системы нежизнеспособны, ибо не выдерживают конкуренции с частными фирмами, акционерными компаниями, небольшими предприятиями, которым государство предоставляет льготы. В рамках отдельного государства эту искусственную структуру, может быть, и удастся сохранить. Но это значит обречь страну на вечное отставание, сделать ее бедность и «второсортность» *нормой*.

Откуда же в таком случае возьмутся средства на содержание сверхдержавы, на сильную социальную политику, на развитие культуры, просвещения, здравоохранения? Получится тришкин кафтан, причем легко предсказать, какие части кафтана кое-как залатают, а какими по привычке пожертвуют. Экономика – особая сфера. Именно о нее разбиваются благие пожелания, с нее начинается дорога в ад.

Противники рыночной экономики (есть в СССР и такие) уныло хнычут, что Горбачев недооценивает их идеи. Скорее наоборот: он их *переоценивает*, все еще надеясь, что однажды удастся найти рецепт, изобрести новый, неведомый миру экономический порядок. В технике так бывало, в экономике, увы, нет. И это объяснимо. Чтобы изменить производственный процесс, достаточно убедить в преимуществах новой техники или технологии сравнительно узкий круг специалистов. Чтобы изменить экономические отношения, надо перестроить человека – сознание и под-

сознание миллионов людей, ту могучую, основанную на тысячелетнем опыте систему интересов, стимулов, мотивов, которая побуждает человека работать с высокой отдачей, искать и находить все более разумные, рациональные, экономичные решения. Эта сторона дела, всегда составлявшая сердцевину, *суть труда*, сегодня стала еще и *условием выживания* человечества. Стремительный, угрожающий самому существованию миллионов людей развал огромной и богатой страны свидетельствует, насколько опасна в XX веке попытка строить экономику на базе умозрительных, чуждых ее законам социальных конструкций.

И Горбачев, и его оппоненты справа (от идеологов до генералов) довольно отчетливо представляют себе то общественное здание, которое они хотели бы *видеть*. Проблема в том, что под это здание никак не удается – даже мысленно – подвести хоть какой-то *экономический фундамент*. Между тем без него (одни это понимают, другие – чувствуют) самое лучшее здание будет стоять на песке. Любезная их сердцу плановая система за семьдесят лет безнадежно скомпрометирована; ее новейшие модификации («нравственная» или «патриотическая» экономика) напоминают мыльные пузыри; пятилетние эксперименты по скрещиванию командных методов с рыночными отношениями довели страну до ручки. Свободный рынок? Это, конечно, фундамент надежный, но – от *другого* здания.

За последнее время (Игорь Клямкин называет точную дату – с октября 1990 года) Горбачев стал заметно сдвигаться вправо – факт, который у многих наблюдателей вызывает опасения. Сами по себе эти опасения оправданы: за такие сдвиги люди часто расплачиваются жизнью. Я, однако, не стал бы торопиться с выводами. И не только потому, что сходные колебания маятника мы наблюдали и раньше. Главное здесь то, что амплитуда этих колебаний *ограничена*. Чем? Отношениями с миром.

Разумеется, есть немало такого, что объединяет Горбачева с консерваторами. Но существуют и очевидные отличия. Консерваторы все еще верят в чудо – в туманное магическое средство, которое приведет в движение умирающий хозяйственный механизм, заставит его работать хотя бы в режиме благословенной эпохи застоя. Горбачев – реалист; с некоторых пор в чудеса он не верит. Верит он в нечто более реальное, *в помощь Запада*. Понимает он и опасность: есть тут красная черта, переходить которую нельзя. Слишком явный откат назад, слишком крутой поворот вправо приведут к тому, что самые верные его сторонники на Западе от него отвернутся. И тогда...

Это не значит, что Горбачев оценивает ситуацию до конца правильно. Видимо, он верит, что мир, если захочет, сможет страну спасти, помочь ей выбраться из трясины. Задача, следовательно, в том, чтобы любыми средствами (хорошим поведением, шантажом, разумными доводами) добиться, чтобы мир захотел.

В этом, по-моему, и состоит его основная *ошибка*. Убеждать или принуждать никого не надо – мир хочет помочь. И не его вина, что он не знает, как это сделать. Или иначе: знает, что при действующей в СССР системе помочь ему *невозможно*. И хотя мир продолжает что-то делать, его не покидает унылое ощущение безнадежности. Примерно так чувствует себя врач, прописывая очередное лекарство смертельно больному.

Возможности мира велики, но не безграничны. У той же Америки, Японии, Германии великое множество своих проблем. Но главное – полное отсутствие возможностей в *самой стране*. Затопить Советский Союз продуктами? Их съедят и разворуют. Предоставить ему режим наибольшего благоприятствования в торговле, освободить его товары от таможенных пошлин, дать льготы? Не поможет, ибо стране, увы, нечем торговать. Даже если страна-меценат приобретет эту продукцию за счет казны, то что с ней делать дальше? Заставить потребителя покупать скверные советские изделия или ввести систему принудительного ассортимента цивилизованное государство не может. Сырье? Но добыча его в СССР непрерывно падает. Крупные кредиты? Мало того, что их не из чего будет возвращать, они ничего не дадут – растекутся между пальцев. Чтобы помощь имела смысл, нужно изменить систему. Вот как раз это от Запада не зависит.

Правда, профессор Гарвардского университета Джеффри Сакс недавно объявил, что «новую экономическую систему» для СССР «можно купить», и что это будет стоить 30 миллиардов долларов в год. Боюсь, что почтенный профессор плохо пред-

ставляет себе советскую действительность. «Купленная» система работать не будет. А вмешательство Запада в этот деликатый вопрос лишь обострит и без того напряженную ситуацию. Председатель КГБ понимал, что делает, когда обвинил Запад во всех смертных грехах. В создании препятствий на пути реформ и в отравлении продуктов, в саботаже и создании на территории СССР антисоветских групп, в выкачивании валюты и в давлении с целью навязать нам сомнительные экономические программы.

Крючков лучше других знает, что все это абсурд, ахинея, галиматья чистой воды. Но знает он и то, что происки врага – *струна*, на которой можно играть. В сознании рядового человека столько намешано, что он всему верит: и тому, что деньги на Западе растут на деревьях, и тому, что единственное, чем занят мир, – *интриги* против нашей страны. С какой целью? Прибрать к рукам богатства, обратить в марионеток, эксплуатировать, разорить. В коварные действия Запада обыватель верит особенно охотно. Потому что они *объясняют* сразу все: нашу бедность, пьянство, дурные нравы, неудачу реформ, бесконечные зигзаги в экономике и политике. Так что упаси Бог всех нас от слишком активной помощи Запада, от любой попытки что-то нам навязать – даже дельный совет. Независимо от намерений, эффект будет обратным – реакция *отторжения*. Свои проблемы мы должны решать сами. Это не лозунг из нехитрого арсенала «патриотов», а всего лишь здравая оценка ситуации.

4 ИСТИНЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ УСВОИТЬ

Из многих истин, которые нам предстоит усвоить, назовем две главные. Первая касается того, что никакого *особого пути в экономике нет*. Капитализм, в отличие от социализма, допускает любую форму хозяйствования. Критерий тут один – эффективность. И если за сотни лет просеивания сквозь жесткое сито конкуренции какие-то формы утвердились, а другие были отброшены, то здесь уже ничего не поделаешь.

И второе. Переход от состояния экономического (и всякого иного) абсурда к нормальному рынку – задача *новая* и необычайно сложная. Ведь перестроить надо не только собственно экономику (это, может быть, самая простая часть дела), но и привитую нам *систему понятий:* равноправия и равенства, мотивов и стимулов, справедливости и нравственности. Естественно, что этот путь не может быть гладким. Сопротивление тут неизбежно, причем на всех уровнях: от колхозника и «работяги», в совершенстве постигших искусство безделия, до рафинированного писателя-интеллигента и самого инициатора перестройки.

Рынок – штука беспощадная, и справедлив он (если тут вообще можно говорить о справедливости) лишь *в конечном счете*. В промежуточном же – и это чистая правда – рынок можно обвинить в чем угодно: в жестокости, в дурном вкусе, в пренебрежении к нуждам людей, в равнодушии к таланту, в несправедливости и аморальности...

Но что это за конечный счет? Все та же эффективность. Теперь, когда стало ясно, что мы живем на маленькой, слишком плотно населенной планете, чьи ресурсы ограничены, у нас *нет выбора:* мы вынуждены использовать не справедливые, благородные или симпатичные нам формы хозяйствования, а *самые эффективные*. В противном случае нас ждет экономическая катастрофа, а может быть, и нечто еще более страшное – смертельная схватка за остатки природных ресурсов и среду, еще пригодную для обитания. Война всех против всех.

Понятно, что сам по себе свободный рынок подобных проблем не решает. Это забота правительств, международных сообществ, специализированных организаций. Однако основа, важнейшее условие любого решения – экономика, высокоорганизованное, непрерывно развивающееся производство. Сфера, где государство со всем своим могучим аппаратом бессильно. Сфера рынка.

Вот почему спор, какой путь нам выбрать, представляется несколько *абстрактным*. С тем же успехом можно спорить о том, чем мы намерены дышать: воздухом или аргоном. Вопрос пора ставить в иной плоскости: *когда* мы поймем, что выбора нет. И рано или поздно нам придется, сопротивляясь, негодуя, ругая себя и других последними словами, искать дорогу к рынку. Все уверения советского руководства,

что оно примет меры, не допустит, «подстелит соломку» – то ли обман, то ли самообман. Будем объективны: наши славные вожди, воспитанные на политэкономии социализма, в нормальной экономике смыслят мало. Они, конечно, слыхали про экономические законы. Но законы законами, а если мобилизовать, призвать, направить, потребовать, наконец?..

Итак, вопрос не в том, поймут ли они. *Поймут.* И мы поймем. Вопрос: когда? И если для истории особого значения это не имеет, то для нас, людей, это важно. Чем раньше мы осознаем, что иной возможности нет, тем быстрее и с меньшим ущербом для жизни и здоровья выберемся из *засасывающей трясины* социализма.

За семьдесят лет социализм довел экономику страны до состояния коллапса. Безнадежно устаревшая техника и технология. Бессмысленно огромные, практически неуправляемые промышленные мастодонты. Истощенная земля. Природная среда, переставшая быть средой обитания. Деформированная, искаженная, искареженная система производственных отношений: атрофированная мотивация к труду, ложные стимулы, искусственные цены, псевдоденьги...

Распутать этот клубок не просто. Тем не менее основные трудности, по-моему, ждут нас в другой плоскости, субъективной. Нам вбивали (и продолжают вбивать) в головы странную мысль о том, что переход к рыночной экономике равносилен *поражению*, капитуляции, отказу от своих идеалов в пользу чуждых нам, западных.

Все это нелепо и глупо. Формирование рыночных отношений началось в такие незапамятно далекие времена, когда не было ни русских, ни немцев, ни даже древних римлян, греков, египтян. Так что назвать рынок «западным» изобретением можно с тем же основанием, как каменный топор или колесо. И если вклад Древнего Рима в развитие этих отношений велик, то значителен и вклад Великого Новгорода. И уж вовсе очевидно, что Россия конца XIX – начала XX века прочно встала на путь капиталистического развития, заняв на этом пути не первое, но и отнюдь не последнее место. А поскольку место, которое она занимала, действительно не соответствовало ее природным и человеческим возможностям, то развитие приняло стремительный, взрывной характер. Кстати, и в отставании, и в последующем ускорении нет ничего необычного: аналогичные тенденции просматриваются в истории многих стран: Соединенных Штатов, Германии, Японии, Бразилии, Сингапура, Испании...

Октябрьская революция затормозила и деформировала этот естественный процесс. Смешно думать, однако, что все последующие годы мы занимались лишь тем, что *отставали и деградировали,* и что, отказавшись от социализма, мы прямиком угодим в эпоху первоначального накопления или хотя бы в Россию 1913 года. Так не бывает. И тот, кто пугает нас этими жуткими перспективами, либо ничего не смыслит в экономике, либо сознательного нагнетает страх.

Интересно, что мир расценивает экономическую ситуацию в СССР иначе, считая, что потенциально страна обладает всем необходимым для развития. Если Запад чего-то и не понимает, то не понимает, почему эта ситуация *не реализуется.* Природные ресурсы страны огромны. При всей запущенности производства в стране есть и работоспособная техника, и вполне современная технология. Есть и достаточное количество людей, обладающих знаниями и навыками, – об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что советские эмигранты высоко котируются на трудовом рынке любой страны. Есть, наконец, главное – неограниченный рынок сбыта: трудно назвать продукт или товар, в котором страна сейчас не испытывает голод.

С точки зрения *потребителя,* это, разумеется, плохо. Но с позиций *производителя* – превосходно. Ибо это значит, что самому простому, скромному, ничем не замечательному изделию гарантирован спрос. О таком положении производитель и торговец любой страны может только мечтать.

Ситуация, если взглянуть на нее глазами нормального человека, представляется *дикой.* Все есть: сырье, техника, спрос, люди, которые хотят и могут этот спрос удовлетворить. А товаров нет. Зерно покупают за тридевять земель, тратя на это дорогостоющую валюту; одежду, обувь, мыло, сигареты, бритвенные лезвия везут со всего света; здания в Москве строят турки или финны. Нас убеждают, что в этом виноваты мы сами. Разучились работать, не соблюдаем порядок и дисциплину, митингуем,

возмущаемся. Все это не так уж трудно исправить. Нужно лишь вернуться к добрым старым порядкам, к неукоснительному выполнению указаний властей.

Понять ситуацию действительно не так уж сложно. Система, и прежде не слишком действенная, сейчас окончательно утратила способность делать что-то *полезное.* Но она сохранила достаточно сил, чтобы *мешать* другим. Любой, кто пытается честными методами создать производство, сталкивается с инстинктивным, животным противодействием. На всех этажах системы – от государственного до мафиозного. Термин «организованная преступность» имеет у нас глубокий смысл. Преступность в самом деле *организована* – совместными стараниями уголовников обычных и уголовников высокопоставленных. Тут я имею в виду не столько деятелей, которые сотрудничают с бандами, сколько тех, кто своими постановлениями, решениями, указами создает условия для преступности, кто прямо-таки генерирует преступность. Самыми разными способами, – но прежде всего тем, что *препятствует* всякой *нормальной* производственной деятельности, лишает экономику возможности функционировать по ее законам.

Именно для того, чтобы оправдать эту преступную политику, граждан стращают всяческими бедами: нищетой, голодом, военным переворотом, разграблением страны иностранцами, утратой национальной самобытности. Если раньше пропаганда клялась, что все у нас хорошо, то теперь, когда это не проходит, тактика изменилась. Да, у нас плохо, но будет еще хуже.

А хуже не будет – это можно сказать твердо. Во-первых, хуже некуда. Во-вторых, рыночная экономика тем и отличается от социалистической, что сама расставляет все по своим местам: насыщает рынок, повышает качество продукции, устанавливает разумные цены и оплату труда. В том, что это действительно так, убеждает мировой опыт, в том числе и *новейший:* Южной Кореи, Малайзии, Тайваня, острова Маврикий. Все эти страны встали на рыночный путь недавно. И тем не менее ни одна из них почему-то не испытала ужасов эпохи «первоначального накопления»...

Что касается утраты самобытности, то что-либо более нелепое трудно придумать. Всякий, кто бывал за границей, знает, что «Запад» – понятие условное, имеющее смысл только в сопоставлении с «Востоком». Во всем остальном Германия куда меньше похожа на Соединенные Штаты (не говоря уже о Японии или Сингапуре), чем Советский Союз – на Кубу или Анголу. Это относится не только к образу жизни, нравам, культуре, но и к *экономике.* Общую формулу рыночных отношений каждая страна расшифровывает по-своему, вкладывая в нее нечто свое, обусловленное особенностями исторического пути, национальным характером, географией и многим другим.

Эта истина, справедливая вообще, вдвойне справедлива для Советского Союза с его своеобразной судьбой. Более того. Это при социалистической унификации экономическая жизнь во всех республиках была одинаковой. В условиях свободы каждая республика выработает *собственную* модель развития. Так что рынок (а значит, и вся система отношений) в свободной России будет иным, чем в свободной Украине, Литве или Грузии. Причем никаких специальных усилий для сохранения самобытности не понадобится, все произойдет само собой.

Социализм – система *искусственная,* а потому закрытая. Из всех теоретически мыслимых форм хозяйственной жизни социализм отбирает те, что совместимы с его командно-административной структурой управления. Свободный рынок – система *естественная,* открытая для всех форм экономической деятельности. Повторяю, что единственный критерий тут – эффективность. А эффективность – показатель сугубо конкретный, зависящий от специфики страны. Институты, которые оправдывают себя в одних обстоятельствах (кибуцы в Израиле, социальная политика в Швеции) необязательно применимы в другой. Можно не сомневаться, что свои, самобытные институты сложатся и в каждой республике Советского Союза. Но именно сложатся, а не будут *навязаны.*

Консерваторы чувствуют опасность. Боятся они, конечно, не того, что Запад нам что-то навяжет. Их пугает *рынок:* и не чужой, а наш *собственный.* Потому что переход к рынку станет *концом* великого эксперимента. Народ, который получит возможность сравнивать, во второй раз обмануть не удастся. ●

Анатолий ЧИГРИН (Мурманск)

ЗАМЕТКИ ПОСЛЕ ДИСКУССИЙ О РЕФОРМЕ

Переход к рынку – вопрос, похоже, решенный и населением в основном поддержанный. Однако в своих предсказаниях о рынке все – и облеченные доверием экономисты, десятки лет пугавшие нас этим самым рынком, и хозяйственники, наученные жизнью разбираться в хитросплетениях инструкций и постановлений, условностей и негласных законов бюрократической иерархии, но не знакомые по большей части с механизмами функционирования нормальной экономики, и нормальные советские обыватели, как мать родную возлюбившие дешевизну государственных товаров, несмотря на то, что большей части самих товаров в магазинах годами не видно, – все мы демонстрируем примерно одинаковое невежество. Никто у нас современную рыночную экономику всерьез не изучал, никто в ней по-настоящему не работал. Знаний и практического опыта нет ни у кого. По всему по этому следует ожидать, что все ошибки, которые можно сделать на этом пути, мы сделаем, все палки, которые можно перегнуть, перегнем, все шишки, которые можно себе набить, набьем. На некоторые потенциальные источники «шишек» в сложившейся рыночной концепции, не претендуя ни в коем случае на меньшее по сравнению с другими невежество в этом вопросе, я хотел бы обратить внимание.

О налогах

При переходе к рынку и сокращении государственного сектора экономики действовавшая до сих пор система налогообложения предприятий через налог с оборота просто перестанет функционировать. Принятые Верховным Советом СССР законы о налогообложении предприятий и граждан исходят фактически из того, что основным источником доходов бюджета должна быть прибыль промышленных предприятий, и налоговая ставка здесь будет, безусловно, очень высокой. Прямые налоги на личные доходы граждан остаются в среднем сугубо символическими.

Такой принцип налогообложения имеет по крайней мере два неприятных свойства. Во-первых, прибыль, рентабельность в рыночной экономике – вещь в долгосрочном плане довольно нестабильная. В периоды экономического подъема и во время кризисов в среднем по экономике она может отличаться в несколько раз. Соответственно в несколько раз, в зависимости от экономической конъюнктуры, могут меняться доходы бюджета. А этого вполне достаточно, чтобы в периоды спада поставить под вопрос существование если не государственной власти вообще, то по крайней мере некоторых ее функций. Во-вторых, промышленная и торговая прибыль служит основным источником капиталовложений, источником развития производства и регулирования рыночной экономики. Изымая большую часть прибыли в бюджет, государство лишает экономику источника развития и основного механизма регулирования.

Наконец, за счет только прибыли невозможно обеспечить потребности государственного и местных бюджетов. В странах с рыночной экономикой при 40–50% ставке налог на прибыль дает примерно 10% бюджетных поступлений. Основным источником доходов бюджета служит прямой налог на доходы граждан. Средняя его ставка отличается от ставки налога на прибыль, как правило, на несколько процентов, а не в несколько раз, как у нас. Такой подход делает доходы бюджета примерно пропорциональными национальному доходу. Последний же – величина несравненно более стабильная, чем коммерческая прибыль.

О рыночном регулировании

Ни в программе правительства, ни в выступлениях экономистов не упоминается об одном существенном «пустяке»: о концепции управления и регулирования народного хозяйства в условиях рыночного распределения и независимости предприятий. В сущности, сказаны пока только общие слова, что экономика будет регулироваться традиционными механизмами рынка, налогами, ценой кредита, рынком ценных бумаг. Между тем экономические условия наши весьма специфичны, экономические отношения создаются и внедряются искусственно, и нет никаких гарантий, что естественные рыночные механизмы будут работать в наших искусственных условиях. Чтобы понять, в чем состоят различия, имеет смысл вспомнить суть основного механизма саморегуляции капиталистической экономики – единственного до сих пор известного рыночного регулятора крупного индустриального производства.

Цель капиталистического производства, как известно, – прибыль. Большую часть полученной прибыли крупные собственники – капиталисты – вкладывают в расширение «дела»: в новое производство или в модернизацию старого. Средства, естественно, вкладываются в те отрасли и предприятия, которые обещают дать наибольшую прибыль. И вновь полученная прибыль вкладывается в «дело», и снова с целью получить максимальную прибыль. Таким образом, каждый оборот полученной прибыли – самой по себе имеющей вид почти таких же бумажек, как наши «деревянные», – дает максимальный прирост вполне материального национального богатства: производственных мощностей и сопутствующей инфраструктуры.

Рынок, как известно, делает выгодным производить то, что необходимо потребителю, что пользуется наибольшим спросом. Это обстоятельство заставляет собственников вкладывать средства в производство той продукции, на которую возникает неудовлетворенный спрос, подстраивая таким образом экономику под непрерывно меняющиеся общественные потребности и возникающие технические возможности. То есть главный механизм саморегуляции заключается в реинвестиции полученной прибыли.

Необходимо отметить, что механизм этот держится на крупных собственниках – «акулах большого бизнеса». Это связано отчасти с тем, что люди начинают вкладывать средства в акции, в производство, как правило, не раньше, чем удовлетворят основные потребительские запросы. Мелкие владельцы, для которых дивиденды с акций – не основной источник доходов, чаще «проедают» их, чем пускают в оборот. Но главное не в этом. Чтобы капиталовложения были рентабельными и оказывали регулирующее воздействие на экономику, их должны осуществлять профессионалы, ориентирующиеся в конъюнктуре рынков и тонкостях организации производства. Таковыми бывают обыкновенно капиталисты, посвятившие жизнь управлению состоянием, имеющие необходимое образование и опыт. Акционерным предприятием управляет один или небольшая группа собственников – держатели контрольного пакета акций. Остальным предоставлена роль статистов – более или менее пассивных доноров денег. Так масса мелких собственников-дилетантов, не имеющая достаточно времени и необходимой квалификации, от реального управления предприятием естественным образом отстраняется.

Посмотрим, как в свете сказанного выглядит наша концепция перестройки экономики. Ставка сделана на самостоятельность предприятий под контролем трудовых коллективов. Наиболее последовательный и наименее традиционно идеологизированный вариант реформы предполагает распродажу акций предприятий трудовому коллективу. То есть предполагается передать права собственности на большую часть экономики огромной массе абсолютно некомпетентных и экономически инертных собственников. Грамотной реинвестиции полученной прибыли и, следовательно, регулирования экономики в таком случае ждать, естественно, не приходится.

Более того, сама возможность возникновения прибыли при распределении акций между персоналом предприятий становится проблематичной. Ведь прибыль – это остаток дохода предприятия после выплаты зарплаты; чем больше прибыль, тем меньше зарплата и наоборот. Как поделить доход на фонд зарплаты и прибыль, решает собственник, то есть трудовой коллектив. При этом следует учитывать, что для рабочего-акционера дивиденды с прибыли никаких решительных преимуществ перед зарплатой не имеют. Зарплатой по крайней мере каждый распоряжается сам, а прибылью – СТК, администрация: на нее всегда непрочь наложить лапу государственная власть, а в последнее время и местные советы. И еще одно существенное обстоятельство: ставка налога на зарплату в несколько раз меньше, чем на прибыль. Много ли найдется энтузиастов получения прибыли?

Экономистам не надо объяснять, что рыночные механизмы саморегуляции крупного товарного производства держатся на органическом единстве трех относительно самостоятельных рынков: товаров, капитала и рабочей силы. Один без других регулятором экономики не станет. Так вот, распределяя нынешнюю государственную собственность на сотню миллионов мелких акционеров, мы, во-первых, обрекаем на проедание рынок капиталов, во-вторых, подрываем рынок рабочей силы, привязывая этими акциями рабочих к их рабочим местам, в-третьих, лишаем права на свою часть общенародной собственности всех работников непроизводственной сферы.

К этому остается добавить, что всех сбережений советских граждан на покупку сколько-нибудь заметной части государственной собственности не хватит. Значит, объявленное срочное разгосударствление будет представлять собой не что иное, как бесплатное или полубесплатное распределение, дележ государственного пирога. И, как это у нас традиционно ведется, большой кусок, наверняка, достанется тем, кто стоит ближе к распределителю.

Закон о налогообложении исправить, конечно, нетрудно – была бы в парламенте осознана необходимость. Гораздо труднее найти замену естественным механизмам экономики. Легальных крупных собственников в стране нет, и в ближайшее время возникновение их в значительных количествах законными средствами маловероятно. Пока они не возникнут, их роль в экономике временно могло бы выполнять государство. Для этого достаточно перевести принадлежащую ему промышленность на коммерческие, капиталистические начала. Разумеется, полноценного рынка капиталов в этом случае не получится. Но по крайней мере не наносится ущерба рынку рабочей силы, и в основном сохраняются все материальные стимулы и объективные критерии экономической целесообразности капиталовложений. Но вот парадокс: ни один из экономистов и политиков, ратующих за разгосударствление, за развитие частного предпринимательства, не предложил пока сделать государство таким же нормальным собственником, как частник, то есть сделать целью производства госпредприятий и ведомств коммерческую прибыль.

Проблема усугубляется тем, что государственная собственность настолько скомпрометирована в глазах общественности, что даже примеры весьма эффективной ее работы в капиталистических странах у нас никого не убеждают. В результате, при всеобщем уповании на регулирующие и стимулирующие свойства рынка, один из главных механизмов саморегуляции рыночной экономики – инвестиционный механизм – из употребления сознательно выводится. Адекватной замены ему не предложено, и даже вопрос о ней не поставлен.

О государственной собственности

В отношении государственной собственности в умах царит поразительная неразбериха. Закон о собственности относит к государственной и союзную, и республиканскую, и областную, и коммунальную собственность. Вернее ска-

зать, он отражает характерное для административной системы отсутствие какой-либо общественной собственности, кроме союзной. Этого одного достаточно, чтобы сохранить в масштабе Союза тот гигантский колхоз, о котором в народе говорят: все вокруг колхозное – все вокруг мое. Состояние это неизбежно, пока платит один, распоряжается другой, отвечает третий. Вернее, никто толком не отвечает.

Чтобы покончить с «колхозом» и перейти к нормальной собственности, необходимо прежде всего четко определить владельцев, наделить их всей полнотой прав и ответственности. Пусть будет собственность союзная, республиканская, областная, районная и всякая прочая. Только пусть будет собственность, а не подчинение. Пусть каждая власть распоряжается тем, что построила по поручению своих избирателей и на их деньги. Каждый район, город или республика должны жить за свой счет – собирать налоги со своего населения, сами решать, что на собранные средства строить: коммунальное жилье или дорогу, что содержать: школу или бесплатную больницу. У всякого имущества, будь то корова, земля или промышленный гигант, должен быть один хозяин (индивидуальный или коллективный), который приобретает его на собственные средства, содержит и использует его ради собственной пользы или выгоды. Тогда ни у кого не будет претензий к правительству, что оно кого-то обделяет, и к соседним республикам, что те живут богаче.

Всякий собственник имеет право на невмешательство в его дела со стороны любой власти. Союзное правительство должно управлять союзной собственностью, имея гарантии от вмешательства местных властей, местные власти должны управлять местной собственностью, имея гарантии от вмешательства правительства. То же самое должно касаться частной, республиканской, областной и всякой прочей собственности. Иначе нормальных отношений собственности, настоящего хозяина у нас никогда не будет.

Присмотритесь внимательно к раздирающим страну межнациональным, региональным, трудовым и прочим конфликтам. Как правило, на девять десятых это конфликты по поводу собственности. Национальная рознь у нас часто возникает как раз там, где у общенародного добра нет конкретного хозяина, а есть только иерархия властей, которые им распоряжаются, но никак от него не зависят и толком за него не отвечают. Если бы в НКАО или в Средней Азии каждый клочок земли, каждый дом или квартира были кем-то куплены или унаследованы, а не выделены распоряжением начальства, поводов для междоусобицы было бы гораздо меньше.

Другой пример: бастуют шахтеры. Они считают, что имеют право управлять шахтами и распоряжаться добытым углем, потому что они на шахтах работают и уголь этот добывают. Это равнозначно тому, что все это принадлежит им. Союзное министерство считает, что шахты и уголь принадлежат народу, то есть государству. А министерство управляет ими от имени и в интересах государства, то есть народа. Кто из них прав? Не вникая в тонкости советского права, ясно видно, что конфликт спровоцирован законом о госпредприятии, который лишает смысла вопрос, кто на предприятии хозяин. Хозяина теперь просто нет. Ведь независимо от того, кому принадлежит предприятие, значительная часть прав собственника по закону передана трудовым коллективам. Значительная, но не вся. Вот и идет война между собственником и персоналом за «контрольный пакет» прав, за право быть хозяином.

Похожая ситуация возникает и в отношениях Союза с республиками. Некоторые республиканские парламенты и правительства решили, что находящиеся на территории республик предприятия должны подчиняться исключительно республикам. Положение, с точки зрения международного права, более чем спорное. При таком положении дел иностранная собственность была бы просто невозможна. Между тем в Сингапуре, скажем, более половины

производственных мощностей принадлежат иностранному капиталу. Правительство, кроме экологического контроля и традиционного налогообложения, никакого влияния на них не оказывает. Несмотря на это, а вернее благодаря этому, уровню жизни сингапурцев может позавидовать немало европейцев.

Все это касается не только Сингапура. В политическом лексиконе последних лет появилась не требующая расшифровки аббревиатура: НИС – новые индустриальные страны. Дрожжами, на которых они выросли, были западный капитал и технологии. Придерживайся правительства этих стран той же идеологии в отношении иностранной собственности, что иные наши республиканские политики в отношении союзной, такой аббревиатуры никогда бы не возникло.

Я далек, разумеется, от мысли отстаивать идею сохранения союзной собственности на все и вся. Имущество надо делить: от этого никуда не деться. И лучше бы большую часть передавать не республикам, а непосредственно местным, городским, областным советам. Но при этом хорошо бы предварительно посчитать, что кому выгоднее передать, а что лучше оставить в ведении Союза. В отношении почты, телеграфа, железных дорог, союзная собственность, по-видимому, не вызывает протеста ни у кого. Гораздо труднее будет сохранить едиными основные сложившиеся отраслевые комплексы в области высоких технологий. Растаскивание их по национальными квартирам, очевидно, сильно подорвет шансы страны в конкуренции с промышленными гигантами Запада. Конкуренция в наукоемких отраслях давно уже вышла на международный уровень, потеряв былое значение внутри национальных границ. «Fiat», например, контролирует более 90% производства автомобилей в Италии, а «Boeing», по существу, контролирует мировой рынок гражданских самолетов. И никого это до сих пор не беспокоило. Все понимают: политику диктуют гиганты, мелкие фирмы ищут экономические ниши.

О революционном наследии

Смею утверждать, что почти все наши беды так или иначе связаны с двумя необыкновенно революционными и до сих пор популярными лозунгами: «Фабрики – рабочим!», «Земля – крестьянам!». По признанию самого Ленина последовательное проведение в жизнь этих лозунгов неизбежно приводит к призыву грабить награбленное. Из них естественно вытекает идея диктатуры пролетариата со всеми последствиями, так хорошо знакомыми нам по нашей истории. На нормальное право и традиционную незыблемость собственности на такой идеологической основе надеяться не стоит. Альтернатива такова: либо заводы, земля и все остальное принадлежит полностью и безраздельно купившему ее собственнику, либо нам предстоит возрождение идейного наследия Великого Октября на новом уровне – производственной демократии и независимости предприятий от собственника.

В первом случае есть вероятность создания нормальных отношений собственности, а, значит, нормальной экономики. Во втором – остаемся на позициях диктатуры пролетариата и оказываемся перед перспективой бесконечных поисков замены тем имущественным отношениям, на которых держится всякая нормальная экономика. Делайте ваши ставки!..

Игорь КРУПНИК (Москва)

НОВЫЙ ОПЫТ

Национализм и модернизация в СССР

Осенью 1990 г. этнополитическое развитие Советского Союза перешло в новую фазу. В политическом сознании многонационального государства за летние и осенние месяцы произошел гигантский сдвиг. Произнесенная Горбачевым фраза о новом устройстве советской федерации как «союза суверенных государств» (которая поначалу воспринималась как очередной «изящный» лозунг) все больше наполнялась реальным смыслом. Слово становилось делом, возможно, без особого желания его инициатора. К осени 1990 г. произошел очевидный надлом идеологии «Союза» как бюрократической пирамидальной конструкции во главе с союзными органами и Президентом. На ее месте все более обозначается новая система достаточно самостоятельных образований-республик самой разной ориентации: от национал-коммунизма до нескрываемого антикоммунизма. Попытки соединить столь разнородные этнополитические модели выглядят все более иллюзорными, и эту мысль в последние месяцы постепенно осваивали миллионы советских граждан.

Новый опыт, который шаг за шагом усваивает страна, складывается из разных элементов. Их сочетание формирует нынешнюю ситуацию и одновременно является механизмом ее развития.

Первым и, пожалуй, наиболее важным элементом нового опыта стала неожиданно открывшаяся *хрупкость* этнополитической системы. И хотя, на мой взгляд, эту хрупкость склонны сейчас преувеличивать (отсюда столь популярные сейчас вопросы: когда и на сколько частей распадется Советский Союз), важнее не столько объективная устойчивость системы (которая скорее всего достаточно велика), сколько ее субъективное восприятие собственными гражданами.

К осени 1990 г. в глазах населения страны стала очевидной дезинтеграция национальной экономики, по крайней мере на уровне потребительского рынка, как и хрупкость существующей политической системы, неспособной, по общему мнению, остановить наступающий хаос и распад государства. Не менее, если не более важным стало осознание этнической хрупкости системы, которое проявилось в кризисе идеологии Союза как «общего дома» советских наций, распаде общесоветской этнической ментальности и новых актах национального насилия в разных частях страны. Нынешний год принес очередной печальный рекорд по числу этнических конфликтов и количеству людей, погибших в межнациональных столкновениях и погромах в Азербайджане, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Молдове. Столкновения в Молдове показали, что национальное насилие вышло за пределы пояса среднеазиатских и закавказских республик, автономий Северного Кавказа и Сибири и теперь переходит на территории с европейским населением, приближаясь к этническим границам России.

Вторым элементом нынешней ситуации является ее *труднопредсказуемость*, поскольку этнополитическая система развивается по типу тектонического процесса: она постепенно накапливает напряжение и затем меняется быстрыми толчками. Одним из таких явных «толчков» стало изменение статуса большинства национально-административных автономий в составе Советского Союза. Сначала все союзные республики поочередно провозгласили свой суверенитет и приняли ряд соответствующих законов, выражая свое стремление стать самостоятельными «государствами». Затем или почти одновременно с этим большинство автономных республик РСФСР (Татария, Башки-

рия, Якутия, Бурятия, Калмыкия, Удмуртия, Мари и др.), некоторые из автономных областей (Горно-Алтайская) и даже автономных округов (Чукотский, Ямало-Ненецкий) провозгласили себя соответственно «союзными» или «автономными» республиками, то есть также на одну или даже две ступеньки подняли свой статус в рамках прежней административной иерархии. То же произошло с Абхазской АССР и недавно провозглашенными Гагаузской и Приднестровской республиками. В результате прежняя административная структура СССР нарушена на всех уровнях и, по-видимому, все еще продолжает меняться «снизу». Можно лишь гадать, где произойдут следующие изменения, или нужно очень хорошо знать местную ситуацию, чтобы уверенно утверждать, где они точно не произойдут.

Чтобы теперь вернуть систему в сколько-нибудь устойчивое состояние, нужно либо признать (официально подтвердить) все объявленные перемены статусов и перейти к совершенно новому административному делению страны (в том числе признать независимость Литвы и ожидаемую независимость других республик), либо придумать, как безболезненно «не заметить» новых статусов бывших автономий и сохранить все старые подчинения. И то, и другое, очевидно, потребует огромных усилий.

Другой пример труднопредсказуемости и «толчкового» развития – празднование дня 7 ноября и проведение праздничных парадов и демонстраций. В четырех республиках (Молдове, Грузии, Армении и Азербайджане) публичные празднования вообще не состоялись или были отменены из-за напряженности обстановки, а еще в четырех (Литве, Латвии, Эстонии и на Украине) они привели к столкновениям или росту этнополитической конфронтации. Вместе с альтернативными демонстрациями в Москве, Ленинграде, других городах России эти события продемонстрировали накопившийся «сдвиг» в сознании людей, все более широкое неприятие идеологии и парадных символов системы. Напряжение явно прорвалось, подтолкнуло ситуацию на какой-то новый уровень и теперь будет вновь накапливаться до следующего толчка.

Отличительным признаком нынешней ситуации стал растущий *изоляционизм* республик, в некоторых из них переходящий даже на уровень изоляционизма их отдельных частей, автономий или регионов (как это происходит в России, Грузии или Молдове). Конечно, изоляционизм в значительной степени подталкивается экономической ситуацией, распадом товарного рынка, повсеместным созданием товарных, коммерческих и иных барьеров. Но пример Югославии показывает, что изоляционизм является симптомом скорее определенной этнополитической, чем экономической болезни. В условиях СССР это знак политической конфронтации с «центром», общесоюзной или местной столицей и ее политической программой. С нарастанием конфронтации нарастает изоляционизм, который разламывает и без того девальвированные общегосударственные ценности.

Наиболее интересен в нынешней ситуации *российский политический изоляционизм,* который первоначально возник из-за усталости и раздражения российского населения от непрекращающихся национальных волнений в республиках и роста там антирусских настроений. Но теперь российский изоляционизм из национального стал скорее политическим; он требует превращения России в такое же независимое от «центра» национально-политическое государство, как это делают Литва или Грузия. Возможно, для российских лидеров это временный тактический лозунг. Но чем больше он будет сохраняться, тем больше он будет разрушать прежнее гегемонистское, имперское сознание широких масс российского населения.

С изоляционизмом непосредственно связана еще одна черта нынешней ситуации – *фрагментарность информации и фрагментаризация программ.* В разных частях огромной страны постоянно происходят какие-то события. В союзных и автономных республиках пишутся новые конституции, закладываются основы новой жизни. Но в большинстве случаев подробная информация об

этих процессах не выходит за пределы этих регионов. Либерализация некоторых органов печати и появление многочисленных региональных изданий вызвали в 1989 г. взрыв интереса к обстановке в других частях страны, особенно в Прибалтике и Закавказье. Теперь этот информационный «взрыв» явно пошел на убыль и стал еще одним показателем растущего изоляционизма и общей политической усталости.

Распад единого потока информации о событиях в разных частях страны (или резкое падение интереса к нему) неизбежно ведет к провинциализму и снижению нравственного тонуса политической жизни. Можно упрекать столичную интеллигенцию за ее патерналистскую позицию, за бессмысленные призывы к миру, адресованные армянам и азербайджанцам после сумгаитских убийств в феврале 1988 г. Но теперь уже никто не обращается ни к кому из нравственных побуждений. Люди как бы очерствели и становятся все более равнодушными к информации о событиях в Средней Азии, в Закавказье и даже в Прибалтике, за которыми прежде следили с таким вниманием и подъемом. В результате такую информацию становится все труднее собирать (несмотря на рост и большую доступность независимой прессы) и сложнее обсуждать.

Общее ослабление информационного потока привело и к ослаблению *обмена значимой информацией* между заинтересованными сторонами, экспертами, национальными движениями. В разных частях страны одновременно пишутся десятки программ, документов, вариантов местных и союзных конституций, проектов союзного договора, большинство из которых заведомо не известны друг другу. Неожиданно оказалось гораздо легче обратиться к тексту немецкой, французской (не говоря уже об американской) конституции, чем узнать что-либо о новом проекте конституции украинской или, скажем, якутской. То же самое происходит с различными декларациями о суверенитете, особых региональных или национальных правах, с проектами нового административного устройства в разных частях страны. Большинство авторов это отсутствие информации на данном этапе не смущает. Но можно лишь представить себе трудности, с которыми предстоит столкнуться при соединении всех этих новых документов в процессе подготовки союзного или федеративного договоров, установления новой схемы административного деления страны и т.п.

Строительство национального будущего в большинстве районов страны происходит, как ни парадоксально, на фоне повсеместного *погружения в национальное прошлое*. Оживают и становятся социально значимыми события многодесятилетней давности. В Прибалтике в качестве образцов развития провозглашаются модели тридцатых годов; в Грузии или на Украине – 1918–1920 гг.; в России – самого начала XX или даже конца XIX века. Повсеместно наблюдается идеализация исторического и политического прошлого, включая и то, что оказалось заведомо несостоятельным в свое время (например, старые территориальные претензии, конфронтация с национальными меньшинствами и т.п.). Современными национальными символами становятся политические деятели первых десятилетий XX века: Столыпин в России, Симон Петлюра и Степан Бандера на Украине, президент Пятс в Эстонии и т.д.

При этом нынешний этнополитический процесс почти повсеместно обозначается как «возрождение», то есть восстановление погубленного или уничтоженного прошлого. Отсюда понятно то огромное символическое значение, которое приобретает открытое восстановление религиозной жизни как социальной и политической силы (массовые богослужения, закладка и освящение храмов, посещение храмов светскими деятелями, политиками и т.п.), причем в подчеркнуто традиционном оформлении. На этом фоне тем более заметны слабость и неразработанность национальных программ, которые обращались бы к новым, а не старым ценностям, к политической реальности, построенной на современных и устремленных в будущее моделях.

Обращение к национальным традициям и ценностям неизбежно провоцирует еще один процесс: *переход к новой этничности*, который для одних становится естественным в силу самого факта национальной принадлежности, а для других требует своеобразного *экзамена* на новую этничность или этнополитическую лояльность. Почти во всех республиках население многонационально. Но если раньше термины типа «народы России» или «народ Молдавии» были малозначимыми штампами-оболочками, то теперь само их четкое юридическое (конституционное) определение превратилось в серьезнейшую национальную проблему.

Местами конфронтация стала очень острой, поскольку так называемые «статусные» нации республик или автономий решительно не желают включать в состав «народа» остальные (или некоторые) группы населения. Значение самого факта проживания на данной территории или давности проживания отвергается. Целые народы объявляются «пришельцами», вероломно нарушившими правила поведения «гостей» в доме необдуманно гостеприимных «хозяев». Такова ситуация абхазов и осетин в Грузии, гагаузов в Молдавии, уйгуров в Казахстане и т.п. Все статусные нации отчетливо стремятся к *мононациональности* своих территорий или будущих государственных образований. При этом, однако, выделяются меньшинства (обычно весьма малочисленные), которые как бы могут подвердить свою «этническую лояльность», и те группы (обычно более многочисленные), кому в этом заведомо отказывают. Например, курды-йезиды в Армении, евреи в Грузии или почти все национальные группы на Украине (кроме русских) считаются «этнически лояльными», а поляки в Литве, абхазы в Грузии и русские почти повсеместно – этнически «нелояльными».

Переход к новой этничности или даже требования такого перехода показывают, что Советский Союз с очевидностью вступает в эпоху национализма. Идеология национализма, по определению Эрнеста Геллнера, весьма проста: она требует, чтобы политические и национальные границы совпадали, чтобы у каждой нации был свой политический «зонтик» в виде независимого государства. Именно такая идеология получает сейчас все большую популярность среди десятков народов Советского Союза. Такова этническая реакция: в течение десятилетий на глазах у миллионов людей «советские социалистические нации» с искусственно оборванной исторической памятью и культурной традицией в силу миграционной политики государства превращались в открытые территориальные сообщества типа «многонациональный народ Казахстана», «народ Якутии» и т.п. Теперь этнические процессы требуют своего реванша под знаменем национализма. Во многих районах СССР вопрос о том, кто «хозяева», а кто «гости» на этой земле, поставлен совершенно открыто и решается с помощью лозунгов, деклараций, а кое-где (как в Грузии, Молдове или Узбекистане) с использованием национального насилия.

Эти и другие элементы нынешней национально-политической ситуации позволяют оценить ее как очевидно *переходную* к какому-то новому состоянию. Не раз писалось, что большевистская революция в итоге не решила национальный вопрос в России, а лишь законсервировала его на десятилетия, сохранив последнюю европейскую многонациональную империю в форме тоталитарного государства. Это значит, что национально-политический процесс, начатый в 1917 г. и искусственно оборванный, продолжается сегодня. В 1917–1918 гг. этот процесс в России, как и в Австро-Венгрии, вел к «вычленению» из тела рухнувшей империи отдельных национальных государств либерально-парламентского типа. По сравнению со старыми европейскими нациями эти молодые центрально- и восточноевропейские государства уже тогда считались «отставшими» в своем политическом развитии. Послевоенное сорокалетнее включение Восточной Европы в сферу тоталитарной системы лишь усилило это отставание. Оно стало разительно заметным в наши дни, когда бывшие «народные демократии» пытаются встать на путь ускоренной модернизации и войти в европейское содружество.

Обособляющиеся части-республики Советского Союза выбирают сегодня путь независимости в условиях еще большего отставания. Их опыт самостоятельного национального существования измеряется либо двумя межвоенными десятилетиями для Прибалтики, Западной Украины или Бессарабии, либо вообще несколькими крайне неустойчивыми годами сразу после 1917 г. в случае Закавказья, основной части Украины и Белоруссии, Средней Азии, Сибири. Очевидно, что этот опыт недостаточен или не соответствует реалиям сегодняшнего мира. И в этом, возможно, кроется главная трагедия нынешней ситуации.

1990 год, похоже, убедительно показал всем, что советская система не может далее существовать в прежнем или слегка обновленном виде, а требует коренной трансформации и модернизации. Уже явно сделан главный идеологический выбор в сфере экономики: плановая централизованная модель – пусть хотя бы на словах – оставлена в пользу свободного рыночного хозяйства. Крайне неохотно, но назван и путь модернизации политической системы в сторону многопартийной парламентской демократии. В обоих случаях в качестве моделей провозглашаются реалии современной западной жизни: открыто и декларативно в восточноевропейских странах и в прибалтийских республиках, с некоторыми ограничениями и поправками – в либеральной печати в Советском Союзе.

Но такой же решающий выбор предстоит сделать и в сфере национальной жизни: в формировании нового типа этничности, отношении к национальным и религиозным меньшинствам, системе административного устройства и организации национальных автономий. Этот выбор должен быть как *общим*, то есть для всего Союза как национально-государственной системы в целом, так и *частным* – для каждой отдельной его республики, стремящейся к независимому существованию. Но главное, этот выбор должен соответствовать избранным моделям экономической и политической модернизации, то есть также опираться на реалии и опыт современных западных обществ. Только тогда можно, очевидно, надеяться, что ожидаемая форма национально-государственного устройства будет внутренне связанной и гармоничной.

Пока, к сожалению, происходит обратное. Три основных составляющих потока модернизации – экономический, политический и национальный – идут как бы в разные стороны, поскольку в большинстве самоопределяющихся частей Советского Союза национально-политический процесс идет по пути образования самостоятельных национальных государств с декларируемым приоритетом главной нации и заведомой конфронтацией с главными этническими меньшинствами. В конфликты, возникающие на этом пути, уже втянуты все республики Прибалтики, Закавказья, Молдова, многие автономии России; неизбежным выглядит взрыв в Средней Азии. Развитие как бы движется в сторону 1918 года; при этом ускоренно формируется новый опыт конфронтации, возрожденных территориальных претензий, национальной самодостаточности и изоляционизма.

Но политический опыт 1918 года и современных национальных конфликтов имеет мало общего с двумя другими главными выборами модернизации: в пользу современной рыночной экономики и многопартийной парламентской системы. В результате путь к объявленной цели – новому модернизированному обществу – становится заведомо несбалансированным и дисгармоничным.

Переходность нынешнего этапа как раз и заключается в том, что он должен сформировать экономическую, политическую и этническую идеологию новой, посттоталитарной национально-государственной модели и донести ее до самых широких слоев населения. Именно так происходит сейчас болезненное освоение идеи рынка как неизбежного пути модернизации массами советских граждан. К осени 1990 г. стал очевидным общественный выбор в пользу политической модернизации и отказа от монопартийной, идеологически тота-

литарной системы. Даже с самыми благими намерениями модернизацию нельзя «включить» как электрическую лампочку, пока большинство населения питается мифами о превосходстве социалистической экономики и советской политической системы.

Столь же важна происходящая на глазах переоценка прежней этнополитической мифологии советского общества. Мифы о «новой исторической общности», «союзе нерушимом республик свободных», «окончательном решении» национального вопроса в СССР, об этнических культурах, «национальных по форме и социалистических по содержанию», окончательно рухнули в течение 1990 г. в сознании миллионов людей. Им на смену должна прийти другая этничность – например, базирующаяся на более сложном и толерантном многоуровневом самосознании, более близкая по типу к современной ментальности западных индустриальных наций. Но возможен и другой путь, когда распад этнической мифологии тоталитарного общества идет под лозунгами национализма и создания независимого «малого» национального государства. Следствием этого, как мы видим, становятся идеи изоляционизма и исключительности, погруженность в прошлое, принятие национального насилия как политической реальности и другие симптомы, которые наблюдаются сейчас в разных регионах Советского Союза.

Процесс, который развивается в таком случае, может быть назван «квазимодернизацией» («псевдомодернизацией»). Внешне он как будто тоже ориентирован на создание современных экономических структур, открытость к внешним рынкам, идеологию быстрого роста. Но принципиальное отличие псевдомодернизации состоит в том, что какие-то сферы общественной жизни при этом объявляются неизменными или уникальными и потому не подлежащими изменениям. Квазимодернизация не может искренне следовать чужой модели: она расчленяет единый в целом процесс экономической, политической и этнической трансформации и вырывает из него куски, «противоречащие интересам нации». Идеологический тоталитаризм подавляет демократические преобразования; точно так же национализм блокирует переход к новой этничности или равноправное участие в общем процессе преобразований национальных меньшинств. В обоих случаях квазимодернизация формирует агрессивную, ксенофобическую систему, которая требует для себя односторонних преимуществ. Она желает получить все, не поступившись ничем.

Агрессивность и чувство исключительности – два характерных признака квазимодернизации, которые определяют сейчас этнополитическую обстановку во многих частях Советского Союза. Примечательно, что из всех союзных республик наилучшие шансы избежать перехода к квазимодернизации, по крайне мере под давлением национализма, сейчас оказались у России. Ее новые политические силы и лидеры добились популярности и парламентского большинства на основе подчеркнуто модернизационных, а не национальных программ. Они стойко отстаивают принцип будущего устройства России как многонационального федеративного государства и свою приверженность новой этничности в форме российской суперэтничности-гражданства («россияне»), то есть открытой территориальной общности. Напротив, русские национально-патриотические силы, которые призывают превратить Россию в истинно русское государство, пока нигде не могут получить массовой поддержки. И что особенно важно, России до сих пор удается избежать открытых проявлений национального насилия и агрессии, то есть не доводить политический процесс до прямой этнической конфронтации.

Нерв нынешней ситуации видится в том, что опыт модернизации должен вступить в противоречие с опытом национализма и привлекательностью идеи собственного национального государства. Если для того, чтобы обрести свободу, надо принизить национальные меньшинства (пусть даже в образе «оккупантов»), установить заведомо дискриминационные правила получения

гражданства и приобретения собственности, то невозможно сохранить главное условие истинной модернизации – состояние *гражданского мира*. В развитых странах (так называемый Первый мир) это состояние достигается более высоким уровнем терпимости и взаимными политическими компромиссами. В развивающихся странах – в Третьем мире – видимость гражданского мира чаще всего поддерживается насилием одной этнической группы над другой или другими. В социалистических странах (прежнем «Втором мире») этнополитическое равновесие было следствием общего подавления всех процессов тоталитарным государством.

В 1989 г. этот порядок рухнул в Восточной Европе. Теперь процесс выхода из «Второго мира» как этнополитической и идеологической системы охватывает одну за другой республики Советского Союза. И все они неизбежно встают перед выбором: национализм или модернизация; национализм и модернизация (то есть фактически квазимодернизация); поворот в Третий мир, собственный путь или присоединение к сообществу западных наций. Выбор этот пока не сделан и не везде даже осознан. Но уже более или менее сформулированы основные условия, которые должны определить будущее развитие разных частей Советского Союза за годы и десятилетия. И в этом можно видеть главный итог этнополитического опыта, накопленного страной в течение 1990 года.

●

Андрей БЫСТРИЦКИЙ (Москва)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СУБКУЛЬТУРА

I.

О том, что те, кто рвутся к власти, отличаются, и здорово, от всех прочих, люди догадались давно. Поэтому во многих странах к профессиональным политикам, депутатам, министрам относятся вполне определенно, считая их в лучшем случае неизбежным злом. В таких государствах нормальные люди, занятые выращиванием картофеля и производством стали, стихами, живописью и наукой, бизнесом и воспитанием детей, стремятся выбрать из тучи сомнительных личностей, именующих себя народными представителями, наименее гнусных.

Есть и еще более счастливые края – о них рассказывала Маргарет Мид, – в которых вообще не знают, что такое политика и управление другими людьми. Там приходится даже насильно выдвигать кого-то, специально обучая его приемам политической деятельности: топанью ногами, крику, ссылкам на волю народа, который почему-то поручил выражать ее данному субъекту. И все это затем, чтобы было что показать другим племенам.

Кстати, у русских романтиков – Одоевского, Бестужева-Марлинского – тоже встречаются пассажи о тщете политической деятельности, о несчастных, обреченных на эту долю.

Тем не менее племя политиков и властолюбцев плодится не по дням, а по часам. Теперь они, забывая про сон и отдых, решают наши с вами проблемы. Неясно только, решают они те проблемы, что волнуют нас, или свои? Не пытаются ли они, так сказать, ответить на те вопросы, которые никто им не задавал?..

Всеобщее увлечение политикой меня беспокоит, поскольку чем больше мы увлекаемся ею, тем меньше шансов на то, что мы все-таки что-нибудь сделаем, ибо для настоящего дела нужно спокойствие духа и сосредоточенность на

своем. Но тут, видимо, ничего не изменишь. Я смотрел по телевизору встречу забастовочных комитетов Донбасса и Кузбасса с представителем Совета Министров СССР. Впечатление – жуткое. Между собой общались земляне и марсиане – настолько несхожи были забастовщики и члены правительства. А ведь они выросли в одной стране, говорят на одном языке, имеют сходное образование (у части забастовщиков оно высшее). Дело здесь не в том, что одни – провинциалы, а другие – жители столицы. Просто, как говорят в народе, наверху выработалась особая порода – «начальников», номенклатуры, руководителей. На мой взгляд, при всех их внутренних различиях эту породу можно объединить в одну большую субкультуру, в конгломерат субкультурных общностей, разнящихся между собой только частностями.

Даже на глаз тут можно выделить несколько общностей. Это прежде всего партийно-комсомольские выдвиженцы, то есть люди, со школы, с института, с первых же лет работы на производстве перешедшие на политико-воспитательную стезю. Данная категория характеризуется невысоким уровнем образования, игнорированием реальности, склонностью к интригам.

Вторая категория включает производственников, уже в более или менее зрелом возрасте перешедших на партийную работу. Особых высот они обычно не достигают: поздно начали, – зато они, работая на постах инструкторов или секретарей райкома, способны лучше оценивать реальный ход событий, влиять на людей и т.д.

Третья категория состоит из людей дела (руководителей промышленности и науки, крупных инженеров или ученых, военачальников и т.п.), втянутых в руководство партией. Это наиболее прогрессивная часть руководящих кадров, острее прочих ощущающая реальность и идущие в ней процессы.

Понятно, что эта схема не исключает и других различий. Таких, как характер эпохи, в которую сформировался тот или иной работник, вид деятельности, где он преуспевал до перехода на партийную работу, и проч.

Но почему, на каком основании их следует считать субкультурой? Разве они не просто руководители страны? Мне кажется, что нет, ибо все они относятся к определенному социальному типу и образуют замкнутую общность, сознающую свои особенности, отличающуюся своей системой ценностей, спецификой отношений к личности, знаниям, обществу и т.д. Таким образом, к ним приложимы оба известных понимания субкультуры.

II.

В принципе черты субкультурной выделенности есть у любой группы, руководящей обществом. В этом смысле и бюрократия на Западе может быть интерпретирована как некая общность, сложенная специфическими характерами. Но там она – именно общность субкультурного характера, хотя бы уже потому, что власть бюрократии и ее возможности влиять на жизнь граждан сильно ограничены. Так что она выступает скорее как горизонтальная подструктура в ряду других подструктур, равных и разных.

Конечно, в известных границах бюрократии и на Западе доставляют гражданам хлопоты. Однако ее ограниченность и подконтрольность, наличие множества каналов влияния и обратной связи облегчают ситуацию. Сирил Паркинсон с юмором описывает систему отбора на должности, практиковавшуюся в Англии еще недавно. У испытуемого спрашивали, чей он родственник, и если ответ был удовлетворительным (то есть в числе близких соискателя оказывалось достаточное число адмиралов, лордов и герцогов), назначение совершалось. Паркинсон резонно замечает, что этот способ не так уж плох, поскольку единообразен, а процент способных людей среди выдвиженцев соответствует их общей доле в народе.

Ныне порядок, по мнению Паркинсона, вряд ли заметно изменился, ибо молодой человек незнатного происхождения, стремящийся сделать карьеру,

имеет множество возможностей выдать себя за выходца из той среды (сиречь субкультуры), к которой он никогда не принадлежал прежде. Между прочим, именно это обстоятельство в сильнейшей степени отличает сословие от субкультуры, так как первое держится на записи в метрической книге, а второе – лишь на умении вести себя.

В нашей стране дело обстоит иначе. Если бы, например, руководители отбирались исключительно по признаку кровного родства, это было бы довольно разумно, так как тут играл бы роль случай. Однако у нас руководящие кадры формируются как религиозный орден или мафия, а это значит, что к характеру и умонастроению претендента предъявляются определенные требования. (Скажем, когда недавно я обратился к некоему партийному работнику, чтобы договориться о социологическом исследовании населения в его районе, то он первым делом стал выяснять, как я отношусь к руководящей роли партии, коммунизму, Ленину и т.д. Понятно, что никакого отношения к теме договора это не имело.)

Подобный подход во многом обусловлен характером формирования власти в СССР. Исторически сложилось так, что всякая преемственность наследования власти была у нас нарушена. Если в Англии принцип формирования власти не менялся последние 350 лет, а во Франции власть на протяжении двух столетий, несмотря на многочисленные и трагические события, формируется практически одним и тем же способом, то в нашей стране принцип формирования власти кардинально изменился 70 лет назад и по сути до сих пор не ясен.

В 1917 г. полностью исчезла (а в значительной своей части была физически уничтожена) та среда, из которой вербовались эшелоны власти. На смену той категории пришли люди, чья жизнь прошла в изгнании и на каторгах, люди незнатные, часто внутренне ущербные. Варлам Шаламов в антиромане «Вишера» пишет, что эсеры являли собой цвет нации, ее лучших людей, без страха метавших бомбы и стрелявших из револьверов в невинных подданных Российской империи. При всей моей симпатии к Шаламову как писателю я не могу с ним согласиться.

Давайте просто представим себе Россию рубежа XIX–XX веков. Сколько бы раздражения ни вызывал существовавший тогда режим, он в глазах многих людей был легитимен и для 99% населения – незыблем. Демонстрации и забастовки в большинстве своем проходили под знаком частных экономических или локальных политических требований. Но вот в конце XIX в. появляются люди, которые в маленьком кружке, почти в секте, принимают решение о низвержении всего сущего. Нет смысла повторять вслед за Лесковым и Достоевским, Писемским и Мельниковым-Печерским их удивительные по точности пророчества касательно бесовщины, каковую они обнаружили в революционерах. Важно здесь то, что в этот период формируется определенная общность закрытого типа – общность людей, настолько увлеченных моноидеей переделки общества (несомненно нуждавшегося в изменениях), что ради этого они готовы были пожертвовать не только своей жизнью, но и жизнью самого общества.

Речь здесь не идет о конкретном количестве жертв, намеченных для прокладывания моста в «светлое завтра», а именно обо всем обществе, которое признавалось недостойным существования. Немудрено, что социальная опора таких взглядов (опять-таки не в смысле модельных представлений о будущем, а скорее насчет пути к достижению цели) довольно своеобразна: люмпен и маргинал, человек, вышибленный прогрессом из привычной жизни, выпавший из общины сельского типа, но не ставший горожанином и свободным работником.

Это закономерно. Легко видеть, что в одном из основных посылов большевистской революции – ограблении рабочих путем присвоения прибавочной стоимости капиталистом – скрыта известная двусмысленность. Капиталисти-

ческое присвоение не есть присвоение помещичье, феодальное, в нем есть честность и прямота: каждый продает (и покупает) свое. В России же это марксистское положение интерпретировалось в духе барщины и оброка, как будто капиталист по отношению к рабочим применял чисто крепостнические методы. Подобные случаи, несомненно, бывали, но очевидино, что не они определяли общую ситуацию. В этих условиях только субкультурная ориентация, совпадающая у революционеров и части населения, позволила направить действие по насильственному пути. И именно по той же причине буржуазно-демократическая революция февраля 1917 г. оказалась не последней, а послужила лишь прологом к подлинно карнавальному черно-передельному взрыву. В результате сформировалась совершенно особая правящая группа, аналогии которой трудно найти в истории (хотя они есть: см. «Речения Ипувера» о восстании в Древнем Египте).

III.

Политическая организация, пришедшая к власти в октябре 1917 г., с самого начала отличалась своеобразием и опиралась на соответствующий социальный характер. Его отличительные особенности: вера в наступление немедленного чудо-результата, трусость социального свойства, пристрастие к бинарным оппозициям, деление мира на «черное» и «белое», вера в мессию и второе пришествие, сакрализация власти именно в силу деклараций демократизма (мы выбираем «нашего», и он все сделает как надо, ибо мы, народ, не ошибаемся), стремление к всеобщему равенству через уравнение и отрицание значимых различий (хорошее, оно одно). Сюда же относится и ряд более мелких черт – таких, как представление о безошибочности верховной власти, ее всеведении, вера в возможность установления всеобщего и простого порядка...

Соответственно политическая организация, ориентированная на подобную типологию, не могла не обладать рядом специфических особенностей. В полном согласии с ожиданиями она с самого начала была мистификационной. Безмерная таинственность, необъяснимая ни с какой точки зрения, претензии на какое-то высшее знание, подававшееся под видом научности (хотя к нормальной науке того, да и сего времени не имевшее никакого отношения), чудаковатость и упование на «дремлющие» силы, на то, что народ может все (хорошо это отражено у Платонова, но и Ленин отличался повышенным интересом к «самородкам», приносившим проекты вечного двигателя на березовых дровах), попытка осмыслить и упорядочить всю человеческую жизнь. Конечно, многие революционеры, имевшие неплохое образование, отличались высоким интеллектом, но волна, на гребень которой они влезли, толкала их на отдачу распоряжений, касавшихся даже правил поведения супругов в постели (тут отличился и Ленин, рассуждавший о числе кроватей в семье). И при этом – невероятное количество провокаторов, предательство, сведение личных счетов, жестокость и трусость в сочетании с отчаянной храбростью, напоминавшей неумелую попытку самоубийства...

Я вовсе не стремлюсь кого-либо «критиковать», «разоблачать», я пытаюсь объяснить восприятие революционеров как субкультуры, отражавшей сложнейший процесс культурной дифференциации общества, его перехода к качественно новому состоянию. Мы все еще слишком доверяем полупатриархальным легендам из жизни революционеров, думая, что «они» противостояли, все понимали, видели на сто шагов вперед и т.д. В реальной жизни существовала каша из фанатиков и провокаторов (кстати, оба качества легко сочетаются в одном человеке, пример – Малиновский), осведомителей и теоретиков революции. Живые люди плохо квалифицируются по меткам, удобным для примитивного мышления: агент, революционер, честный муж, пролетарий, буржуй... Все перемешано.

Были, однако, в этом хаосе действительно скрепляющие обстоятельства. Сюда следует отнести в первую очередь ориентацию в мире, общий подход к событиям, восприятие человека в обществе, способ мышления. А так как стремление к насильственному свержению существующей власти, жажда крови и тотального разрушения в целом характерны для обиженных и ущемленных, плохо адаптированных в мире, то и их организация аккумулировала подобные настроения, вобрала в себя авантюристов, фанатиков, проходимцев, ненавидящих существующее с той же яростью, с какой калека подчас ненавидит здоровых, уверяя при этом, что он за силу и красоту.

Забавной иллюстрацией к сказанному можно считать попытку обращения революционеров к старообрядцам. Известная логика тут была, ибо революционеры, как и поддерживающие их массы, тоже принадлежали к тем, кто не преуспел на легитимных путях продвижения в обществе. Старообрядцев же царское правительство преследовало, их права ограничивались. Естественно, что революционное руководство расценило их как потенциальный резерв революции и сделало попытку вовлечь их в свои дела. И – просчиталось, поскольку старообрядцы, хотя и находились на периферии жизни, не были люмпенами, а напротив, были связаны с мощной традицией, которая гарантировала их от эксцессов в поведении.

Другое дело – контрабандисты, жулики, бандиты. Эти, конечно, охотно вставали под знамена революции именно в силу своей деклассированности, склонности к преодолению всяческих границ – как физических, так и морально-конституционных. Метафизика некоторых, специфически мужских видов преступности (вроде разбоя и контрабанды), сродни героике революции, только первая, что ли, еще более мужская, так как в отличие от революционной, она прямо ориентирована на личность и ее самостоятельность. Неслучайно большевики почти сразу после победы перебили анархистов, тесно связанных с уголовщиной: их интересы совпадали лишь до поры до времени.

IV.

Итак, революция привела к власти новую и крупную субкультурную общность. Но это была – по своим характеристикам – «подростковая» субкультура с присущим ей нетерпением, неуверенностью, резкостью и т.д. В.Ленин не зря написал «Детскую болезнь левизны в коммунизме». Только это была не болезнь, а период, сходный с наступлением половой зрелости и половой самоидентификации, когда каждый выбирает, какой модели поведения – мужской или женской – он будет в дальнейшем придерживаться (между прочим, среди молодых людей немало юношей, ведущих себя как девушки и, наоборот, девушек, ведущих себя как юноши, – в традициях, принятых в данной культуре).

Забавна, например, эта постоянная склонность революционеров подчеркивать свою мужественность: кожаный авиационно-автомобильный наряд, маузеры и револьверы, ремни, пулеметные ленты и проч. Во всем этом мало функциональной необходимости, зато предостаточно позы и пижонства, чисто подростковых, чему пример клепанные-переклепанные металлисты на улицах нынешних городов страны. Как и всякие подростковые субкультуры, революционеры были сильны жесткой иерархией, порядком, дисциплиной, которые странным образом сочетались с взрывными разборками, драками, третейским судом авторитетов, «паханов», вмешательством во все и отрицанием всего. Напомню, из кого формировалась правящая верхушка. Из люмпенов и маргиналов, в том числе социальных и этнических: деклассированных элементов типа списанных матросов, швейцаров, лавочников, вчерашних мигрантов из села в город, недоучившихся студентов и преступного элемента, а также из латышей, китайцев, евреев, цыган, черемисов, венгров и т.д.

Однако как самосознающая целостность правящая субкультура сложилась только к концу 20-х годов. Для этого ей пришлось многое от себя отсечь, консолидируясь вокруг определенных установок. Первыми потерпели поражение те, кто видел в революции праздник раскрепощения личности, попытку выйти к действительно свободной самоорганизации жизни. Погорели нэпманы и сторонники буржуазной демократии, революционеры-утописты (чему пример А.В.Луначарский), просто старые большевики с их идеей равенства и рациональности, затем художники и писатели, актеры, кинематографисты и все остальные.

Может, это сопоставление кому и покажется неприличным, но развитие правящей политической субкультуры модельно в точности соответствовало развитию жесткой подростково-молодежной группы. Вначале, до революции, тихие мечтатели, занимавшиеся грезами о женщинах. Затем пубертатный взрыв и групповое изнасилование, разгул, драки, жестокость. И уже только после этого в компанию приходит настоящий лидер, да и сама компания к тому готова – дело надо делать, бабки заколачивать, копить и т.д. Таким образом, если до революции мы видели домашних мечтателей и тихих хулиганов, действовавших исподтишка, то после революции совершается переход от уличной карнавально-разгульной игры к захвату дворца и водворению в нем. Тут уж не до шуток, ибо собственное положение стало казаться непрочным, а потому любое несогласие и своеволие выглядели как подрыв основ, как покушение.

И все же сложившаяся власть отвечала требованиям, предъявляемым ей. Она была всеведущей и всемогущей, священной и харизматической, понятной и таинственной одновременно. Как демиург, она вела в известном всем направлении, но путем, известным только ей. Ее вожди были такими же, что и прочие, рядовые, но наделенными особой благодатью.

Подобное отношение быстро лепило самоощущение властной группы как непогрешимой и самодостаточной, как воспринявшей не только делегированные права управляемого большинства, но и его жизненную силу и мощь. Именно потому первые властители СССР отличались потрясающей работоспособностью и энергией, собственной личной жизни у них не было, были лишь отдельные карнавальные рекреации, загулы и т.д. Их личная жизнь была личной жизнью подчиненных масс. И карали их в первую очередь за неготовность отдать высшим личную жизнь.

Личная жизнь в основном проявляется в форме сексуального поведения и распоряжения собственностью, в том числе и собственным правом общения, выбора близких. Потому очень скоро на сексуальную сферу были наложены жесткие запреты, хотя сама революция шла под лозунгами освобождения человека от ложных форм сексуального поведения, когда свободный выбор подменялся надчеловеческим правилом. Но отрицая личную жизнь, частность и приватность человека, правящая субкультура отрицала ее и у себя, как бы присваивая себе функции сублимированного поведения, при котором каждый человек, вступая в интимный контакт, представлял не только себя, но и всю группу в целом. Поэтому, если внизу господствовало жесткое и ханжеское моральное регулирование, то наверху процветало извращение, ибо нормальная сексуальная жизнь оказалась табуированной.

Отнюдь не случайно жены многих руководителей оказались за решеткой, другие же лидеры либо не знали меры в разврате, как Берия, либо вели жизнь затворников, либо занимались такими извращениями, о которых не хочется и вспоминать. В рассказе Б.Пильняка «Смертельное манит» немало примеров сексуального поведения революционеров. Все что угодно, только не человеческая, из себя исходящая любовь. В.Шаламов описывает, как красноармеец-пермяк вез его одного по этапу. На каждой остановке в деревнях красноармеец восседал как бог во главе стола, а местные старейшины приводили ему девок. Понятно, что в этом действе масса архаики и старинного

гостеприимства, но и в самой революции ее предостаточно, как и в поведении вождей и руководителей, особенно Сталина.

Может быть, это покажется странным, но правящая субкультура самоидентифицировалась не столько по мужскому, сколько по женскому варианту русской культуры. Это выглядит так, будто «женщина» пытается вести себя как «мужчина», хотя это и не женщина, а некоторое не до конца самоопределившееся существо, постоянно подтверждающее свою мужскую жестокость, но с боязнью неудачи и позора, с затаенным внутренним неверием в свои силы.

Герои повести Андрея Платонова «Котлован» так высказываются по поводу власти и государства:

«– Эх ты, эсесерша, наша мать! – кричал в радости один забвенный мужик, показывая ухватку и хлопая себя по пузу, щекам и по рту. – Охаживай, ребята, наше царство-государство: она незамужняя!

– Она девка иль вдова? – спросил по ходу танца окрестный гость.

– Девка! – объяснил двигающийся мужик. – Аль не видишь как мудрит?!

– Пусть ей помудрится! – согласился тот же пришлый гость. – Пускай посдобничает! А потом мы из нее сделаем смирную бабу: добро будет!»

На реплики гостя реагирует калека-обрубок Жачев, заступающийся за власть.

«– Не сметь думать, что попало!»

Все это очень характерно, только «смирной бабой» правящая субкультура не стала. Как все девственные перестарки она превратилась в истеричку и кликушу, бьющуюся в судорогах припадков при виде чужих целующихся детей.

V.

Потрясающий пример сложностей с самоидентификацией правящей субкультуры – памятники. Наиболее известный из них – Родина-Мать. Кто эта громадная женщина, непонятно. Она имеет все вторичные признаки женщины и меч, а у ног ее мужчины (памятник на Мамаевом кургане), будто сошедшие с греческих барельефов: битва богов-олимпийцев с титанами. Или кентавров с лапифами. Неважно – стиль один.

А памятник «Рабочий и колхозница»? Все в нем глубоко символично! Ясно, что рабочий – мужчина, а крестьянство представлено женщиной. Тут нет сомнения, кто главный, но каковы их отношения? Никакого нормального полового взаимодействия у них нет и быть не может. Стоит взглянуть на эти железные фигуры, как становится ясно, что по существу они одного пола – нечеловеческого. И вместе с тем они – живые. Объяснить это можно, только допустив, что сознание, культура, их породившая, не знала (или старательно забыла), что люди разнополые. Иначе говоря, тема стала табуированной.

Подобные коллизии сознания встречаются лишь у подростков, выросших в жесткой, морально-ригидной среде, там, где принято скрывать самые естественные вещи. Заметим, что в памятнике нет и намека на интеллигенцию, да и где бы в таком мышлении мог поместиться думающий участок? И это опять-таки характерно именно для подростков, с их импульсивностью действия и отсутствием глубинного саморазмышления. Ведь как подросток воспринимает мужчину? Собственно половое (в жестких подростковых средах) на втором месте, а на первом – бицепсы, культ, мустанг и т.д. Так и женщина у котла, в юбке и с косой. Для подростков это простительно и даже естественно. Но для взрослых политиков?

К концу 20-х – началу 30-х годов правящая субкультура вступила в пору некоторой зрелости. Пришли помпезность, роскошь, ВДНХ, фонтаны, блестящие и хромированные автомобили, приемы с ломящимися от яств столами, фаллическими бюстами Вождя и Гения всех временов и народов. В течение примерно двадцати лет (с 30-х по 50-е гг.), до тех пор, пока тридцатилетние,

пришедшие к власти, не состарились, господствовала именно эта субкультура, черпая энергию из народа и воображая себя всеобщим отцом, чуть ли не с правом первой ночи.

Однако монолитная правящая субкультура постепенно стала претерпевать трансформации, порождая из себя различных монстров, очень близких, но со своими модификациями. В 50-х гг. родилась комсомольская субкультура, родственно связанная с шестидесятничеством и социальными истериками типа целины и БАМа.

Комсомольская субкультура, пожалуй, наиболее чудовищна по своему внутреннему убожеству. Комсомольского работника видно за километр, он молниеносно угадывается по запаху. Его отличительные черты: невежество, хамство и невротическая назойливость, сочетающаяся с трогательной уверенностью, что он и в самом деле выражает интересы молодежи, располагает действительной информацией о происходящих процессах и знает, что кому и как делать. Претензия на лидерство и монопольное выражение интересов молодежи ничем не обоснованы, а презрительное и одновременно злобное третирование иных молодежных структур отвратительно. Однако именно такое поведение комсомольского работника указывает на то, что перед нами выродившаяся субкультура, впавшая в состояние гомеостаза и с ужасом думающая о том, что еще один-два порыва свежего ветра – и ее снесет. Вместе с тем комсомольская субкультура самодостаточна. Насчитывая почти сотню тысяч человек, она не нуждается в самой молодежи, она перешла на циклическую саможизнь, на стагнирование, печаль коего в том, что комсомол – паразит и сам в лице своего аппарата ничего не делает.

Партийная субкультура много шире и охватывает значительно больше людей и идейных течений. Сейчас она, правда, находится в состоянии упадка, но ее основа и сейчас достаточно широка. Всякий, кто спорит о роли партии в обществе, так или иначе воспроизводит эту субкультуру (неважно, со знаком плюс или минус), ибо споры исходят из единообразного представления об общественном устройстве, при котором зачем-то нужна партия.

И нынешние лидеры КПСС, и «господа либералы» в конечном счете принимают пирамидальное устройство общества как иерархической лестницы, верхние ступени которой слишком узки, чтобы там смогли уместиться многие. Видимо, и те, и другие не представляют себе, что общество способно функционировать без некой отчужденной от него «авангардной силы», без стабильности, ведущий признак которой – неподвижность, без подчиненной личности, без заранее сформулированной идеи блага и добра, без некой общей мóдели (неважно какой), без системы централизованного руководства и контроля. За всем этим стоит страх – боязнь, что жизнь, предоставленная сама себе, пойдет не туда, куда им хочется. Представления о власти и социальном успехе как продвижении по иерархической лестнице, об обществе как вертикальной структуре с ведущими и ведомыми совпадают и у партийного функционера, и у штатного демократа. На нынешнем этапе «либералы» в каком-то смысле нуждаются в «аппарате», как и он – в них, ибо таким образом создается поле взаимного действия, и каждый оказывается на месте. Куда страшнее – откровенное игнорирование. Тому же комсомольскому руководству опасна не внутренняя оппозиция (с ней можно договориться, поскольку она желает того же, что и руководство), а беспомощные хиппи, для которых такого рода организация попросту бессмысленна.

Ненужность убивает вернее всякой борьбы. Никакая милиция никогда не справится с преступниками, потому что от них зависит ее существование. Можно сказать, что беда Брежнева состояла в отсутствии у него противников, желавших занять его место, что-то слегка изменить. Борьба с ними придала бы смысл его деятельности.

VI.

Та политическая субкультура, что господствовала у нас в последнее время, явно сдает. У нее уже нет прежней энергии, черпаемой из масс. Потому она вынуждена производить странные движения и манипуляции, не адекватные идущим в обществе процессам.

Любой партийный и советский руководитель 20-х гг. внешне, в глазах населения, был не выразителем определенной позиции, а представителем интересов рабочих и крестьян и всего народа (за исключением тех, кого народом не считали: кулаков, нэпманов и им подобных). Это был плод немыслимого брака мухинских рабочего и крестьянки – голая, отчуждающая от личности субстанция управления и провидения будущего.

До тех пор, пока та, первичная энергия не угасла, такое положение было выгодно, придавая правящей субкультуре динамизм. Теперь, однако, все перевернулось: то, что было преимуществом, стало недостатком. Безликость, бесполость власти обернулись беспомощностью.

Заметно ослаблена и ее традиционная база – люмпены. В этой ситуации настоятельно необходима новая социальная сила, на которую можно было бы опереться. И хотя такая сила есть (и набирает мощь с каждым днем, формируя свою, самостоятельную субкультуру власти), правящие круги не в состоянии предложить ей ничего реального, поскольку ориентируются на псевдообщие интересы. Средний партийный и советский руководитель действует в вакууме, который ему нечем заполнить, так как его функциональное мышление неспособно осмыслить происходящее.

Характерный пример – Армения и Азербайджан. Блокада Армении показала, что в Азербайджане сложился новый правящий центр, обладающий почти неограниченной властью. Его мощь такова, что даже партийное руководство республики вынуждено если не исполнять его приказы, то хотя бы им не препятствовать. Эта новая власть – власть националистически настроенных буржуа из бывшей теневой экономики, цеховиков, предпринимателей, криминальных элементов. Объединившись, они сохранили в себе родовые черты своего формирования: привычку к подпольно-интриганским формам действия, к использования уголовщины, к кражам и т.д.

Условия формирования соответствующего национально-буржуазного самосознания наложили заметный отпечаток на эту новую субкультуру. В Азербайджане это игра на ущемленном национальном достоинстве, на пантюркизме, на беспрекословном подчинении младших старшим, на исламе. По сути возникает даже не одна, а несколько субкультурных общностей, делающих общее дело, но в разных формах. Уголовники, в согласии со своей преступной субкультурой, формируют банды и отряды, мобильные и хорошо вооруженные; студенты вузов – отряды скандирования, демонстраций, просто толпы; рабочие – забастовочные объединения. Естественно, у этих групп множество различий, но все они связаны с молодой буржуазией: кто-то родственным образом, кто-то работает на предприятиях, принадлежащих ей, кто-то выполняет ее приказы и совершает террористические акты по ее заданию.

В то же время поведение правящей группы говорит о полной растерянности (или о чудовищном заговоре), о неспособности, даже располагая армией и возможностью привлечь на свою сторону часть интеллигенции и рабочих, оказать сопротивление, пресечь не просто сепаратистские, но и откровенно преступные действия.

Новые основы правящих субкультур активно формируются и в самой России. Уже видны основные контуры возможной правящей группы. Речь идет не о партии, не о конкретной идеологии, а о типе людей, представляющих будущую власть. По идеологии среди них могут быть сторонники и социал-демократии, и буржуазной демократии, и социализма в разных формах. Но именно по своей субкультурной ориентации они будут близки к идеям высо-

кого статуса личности, к анклавизации и действительной децентрализации страны. От них можно ожидать умения использовать нетрадиционное знание, оперировать категориями и понятиями нового типа рациональности. Самое же главное – для них характерны раскованность и определенный цинизм, отсутствие фетишей и фрустраций в ответ на всякие словесные клише типа социализма и капитализма, партии и ЦК. В области политической деятельности их отличает понимание того, что реальная политика – это не выборы и парламенты (хотя они и необходимы), а широкая социокультурная деятельность, связанная с внедрением инноваций, образованием, переподготовкой кадров, «благотворительностью» (системой социальных действий по проектированию и формированию общества), развитием личности.

Конечно, мне могут возразить, что и нынешние «господа либералы» не столь наивны, чтобы этого не знать. Однако речь идет не об уме или знании. Как сказал Гегель, знать – не значит понимать. Понимание подразумевает знание «технологии», способность сделать это «руками». А для этого нужны опыт и контакты с людьми, нужно время, чтобы новая и правящая политическая субкультура сформировалась, чтобы люди познакомились между собой, создали институциональные формы, сорганизовались.

Рост руководителей нового типа идет сейчас в самых разных сферах: в политклубах, в социально-психологических организациях, в самодеятельных научных учреждениях, в литературных и художественных объединениях, во многом ином. Для будущей правящей субкультуры должно стать привычным действие в условиях нестабильного общества. Ясно, что уходят в прошлое времена, когда перемены были редкостью, когда то, что было хорошо вчера, оставалось таковым и завтра, когда наиболее устойчивыми оказывались не имущественные или образовательные показатели населения, а субкультурные ориентации. Теперь положение меняется. Центр не будет обладать достаточной властью, чтобы осуществлять непосредственное вмешательство на местах, основные связи в обществе станут горизонтальными и надо будет уметь действовать через них, фундаментально возрастет роль собственно духовной части производства, лишь меньшинство населения будет занято в материальном производстве, а средства массовой коммуникации будут обеспечивать огромные потоки информации и устойчивую обратную связь.

Возможно, что из существующих сегодня политических субкультур что-то и сохранится, но они приобретут качественно новую роль, заняв место в одном ряду со множеством других.

Теперь уже очевидно, что социальный характер, на основе которого сложилась правящая субкультура, оказался неадекватным развитию страны и общества. Свойственные ему тенденции перекладывать ответственность на кого-то, стоящего наверху, всеобщий страх, низкий статус личности, монологичность представлений об истине и знаниях, боязнь динамичных перемен отжили свое. На место прежней идет новая руководящая субкультура, новый социальный характер, более продуктивный и терпимый, более личностный, более открытый и смелый.

Я, конечно, не думаю, что новые политики будут идеальными людьми. Такое вряд ли возможно. Однако новые устраивают меня больше. Хотя бы просто потому, что нынешние – надоели, они бесконечно скучны и непродуктивны.

Виктория ЧАЛИКОВА (Москва)

«ГЛОКАЯ КУЗДРА», ИЛИ ЗАЧЕМ МЫ ГОВОРИМ ТАК?

«Много лет тому назад на первом курсе одного из языковедческих заведений должно было проходить первое занятие – вступительная лекция по «Введению в языкознание». Студенты, робея, расселись по местам: профессор, которого ожидали, был одним из крупнейших советских лингвистов. Что-то скажет этот человек с европейским именем? С чего начнет он свой курс?»

Профессором был Лев Владимирович Щерба, а рассказывает об этой его первой лекции в Институте истории искусств осенью 1925 г. его ученик – известный ученый и писатель Лев Успенский. Профессор вызвал к доске первого попавшегося студента и продиктовал ему следующую фразу: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка». Затем профессор разобрал вместе со студентами это предложение по грамматическим членам и частям речи (все единодушно решили, что куздра – подлежащее, будланула – сказуемое и т.д.), а также установил, что бокренок – не предмет, а живое существо, поскольку отвечает на вопрос: «кого?». После чего он без труда убедил аудиторию, что, присоединив естественные суффиксы и окончания к искусственным корням, можно получить макеты или «чучела» слов и составить из них макет, «чучело», модель фразы. «Видите, вы ее поняли, – внушал профессор ученикам. – Вы можете даже перевести ее: перевод будет примерно таков: нечто женского рода в один прием совершило что-то над каким-то существом мужского рода, а потом начало что-то такое вытворять длительное, постепенное с его «детенышем»... Значит, – продолжал профессор, – нельзя утверждать, что искусственная фраза ничего не значит. Нет, она значит и очень многое; только ее значение не такое, к которому мы привыкли».

Сегодня, через 60 лет после этой поучительной лекции, я рискну сказать, что значение этой фразы о глокой куздре как раз такое, к какому мы привыкли. Будь профессор Щерба провидцем, он на этой лекции не только уподобил бы грамматику алгебре, по законам которой формулу можно наполнять любым формально корректным значением, но и указал бы на таящуюся в такой возможности опасность подмены и извращения смысла речи. Однако свой научный долг профессор Щерба выполнил и не будучи провидцем. Он обратил внимание учеников на то, что в русском, как и во многих европейских языках, главную роль в образовании речи из слов играют не основные, а служебные части слова. «Как только вы это уловите, вы овладеете языком», – мудро сказал профессор. А в мудрости, как известно, много печали...

Сталин, не слушавший лекции профессора Щербы, уловил это, как и многое другое, цепкой своей интуицией. Его обращение на закате дней к проблемам языкознания было, конечно, теоретическим курьезом, но практически он в определенной мере, действительно, овладел языком того общества, которым решил единолично управлять. Не забудем: в определенной мере. Сделать это в полной мере значило бы превратить речь в чисто физиологическое, рефлекторное отправление, вообще не связанное с деятельностью сознания. Этот проект, очевидно, не только осуществить, но и вообразить невозможно: даже в фантастической сверхтоталитарной стране Океании, созданной воображением Джорджа Орвелла, такой бессознательной, крякающей речью – «новоязом» – владеют только специалисты...

Но вернемся к Сталину и к «этим незаметным труженикам языка – суффиксам, окончаниям, префиксам» (Л.Щерба). Сталин вообще очень любил незаметных тружеников и часто пил за их здоровье. Эта любовь распространялась и на «незаметных тружеников языка». Она была эффективна:

современники свидетельствуют о гипнозе его речей. За счет чего? Ведь русский язык не был для него родным, он до конца говорил с акцентом и хотя без явных ошибок, но со сбоями, резавшими и не очень изощренный слух («ко мне обратились несколько товарищей из молодежи»). Речь его была негромкой, и не только по тональности: «огнями-мечами», «кровямисмертями» он не бросался. Речи Николая Ивановича Бухарина, человека мягкого по натуре, значительно «кровожаднее». Темперамента, которым захватывали аудиторию Ленин и Троцкий, он тоже не обнаружил.

Он допекал врагов «мелочишкой суффиксов и флексий», но не той, изощренной, которую искал поэт, сокрушаясь о «пустующей кассе склонений». Ему хватало разменной мелочи: унижающих суффиксов, навязчивых вводных оборотов, издевательского повторения междометий. «Как известно, оппозиционеры сделали то-то и то-то», – говорил он, снимая тем самым вопрос о том, кому же это известно. Он охотно пользовался эвфемизмами, твердо помня, что формально «чучело фразы» и осмысленная фраза неразличимы. Когда он объяснял, что только глупый вредитель вредит, а умный вредитель не вредит – он хорошо работает, он бессознательно рассчитывал на безупречную грамматическую правильность этого суждения. В каком-то зловещем смысле щелкоперы, называвшие его «величайшим языковедом всех времен и народов», были правы.

Но именно пример Сталина показывает, как ничтожна самая дерзкая языковая авантюра перед стихийным языковым гением народа. Когда началась миграция советских граждан на Запад, там быстро убедились, что никаких «гомо советикусов» нет, а есть люди – мыслящие, чувствующие и при этом сильно, страстно, много (может быть, слишком) говорящие. В век сталинщины общество спасло свой сокровенный дар – речь, спасло в подполье (неизбежно окрашивая ее жаргоном...).

С лингвистической точки зрения, наступившая гласность означает, что «чучела» и «макеты» слов должны уступить место самому слову. Но глокая куздра не хочет вымирать как мамонт. «Красная книга» ее тоже не устраивает. Именно сейчас, на фоне талантливых книг и статей и не менее талантливых читательских писем, плодовитость и мощь этого животного проступили со зловещей силой. Думается, коррупция и проституция речи превосходят любую другую. Когда на экран телевизора вытаскивают продавщицу, разбавляющую сметану, или девочку, промышляющую у южной гостиницы, мне не хватает сил для благородной ярости. Видно, каждому отпущено всего по должной мере, и вся моя мера ярости ушла на другую коррупцию, на другую проституцию.

Передо мною свидетельство о смерти, выданное загсом г. Сумгаита – с номером, печатью, подписями.

«Григорян Эмма Шираковна, 58 лет, шок, кровопотеря, разрыв задней стенки влагалища с повреждением стенки прямой кишки... переломы 2, 4 ребер справа и 10 грудных позвонков». Ее била и насиловала банда мужиков, по возрасту – сыновей и внуков. То, что произошло с Эммой Григорян, большинство наших журналистов называет солидным термином «конфликт» или «событие». «Сумгаитские события, армяно-азербайджанский конфликт...»

Когда-то по степени владения письменной речью людей делили на неграмотных, малограмотных и грамотных.

Куда же отнести тех, кто называет конфликтом групповое изнасилование?

Мне пришлось выслушать и прочитать десятки свидетельств очевидцев этих и других «событий» в Армении и Азербайджане. Все они убеждены: если бы не чудовищная словесная коррупция в освещении событий, если бы не зловещий перевертыш, при котором экстремизмом называется не поднятие руки с ножом на женщин, стариков, подростков, а поднятие рук на сессии Совета или митинге, – не было бы массового возмущения.

Все эти «конфликты» и «конфронтации» вкупе с омерзительным соусом из внешне невинных глоких куздр типа «пресловутый» и «так называемый» –

виртуозные фокусники, мгновенно меняющие местами добро и зло, палача и жертву. Наверное, резко пишу, но ведь эта мука – бессилие слова осмысленного перед словесным жульничеством, – она с детства.

Помню: в третьем классе девочка нарисовала себе на ногах носки в полоску, как у богатых одноклассниц. Ее потащили к крану с ликующим жестоким кличем. Прибежала учительница, всех пристыдила, и бурное негодование уже было готово смениться столь же бурным раскаянием, как вдруг кто-то из вожаков расправы сообразил сказать: «Ах, она, бедняжечка, ах, она, несчастная, ах, подумаешь, жертва!» И проснувшийся стыд уже необратимо забит хохотом. И все аргументы, все порывы разбиваются об это всемогущее «ах!» – междометие, служебную, неполноценную часть речи, мелочь, пустяк. Ужас перед властью короткого бессмысленного слова над людьми поразил меня на всю жизнь.

Через пять лет из лагеря вернулся наш далекий родственник. Он был обвинен по делу с неудобопроизносимым названием – производным от чьей-то грузинской фамилии. Конкретная же его вина заключалась в проектировании моста, который должен был рухнуть 1 мая 1939 года. Я не раз проезжала этот знаменитый железнодорожный мост и горячо интересовалась, когда его успели перестроить. А его не перестраивали: мост с самого начала был надежным. Но седой человек, сидевший передо мной, не считал приговор несправедливым: он верил в честность своего проекта и вместе с тем за годы заключения неудобопроизносимое название «дела» стало для него реальностью. Сочетание гласных и согласных букв наполнилось смыслом, бумажная глокая куздра ожила.

У меня сохранились разрозненные студенческие заметки о том, как ловилась рыбка в мутной воде сталинского террора. Меня поразила не жестокость палачей (сказки с детства подготавливают ребенка к восприятию абсолютного злодейства), а слабость нравственного отпора общества. Что-то, кроме страха, парализовало сострадание к жертвам. Тогда еще, по газетам и журналам, я проследила, как было дискредитировано в общественном сознании само слово «жертва». До сего дня сказать о человеке: «Он считает себя жертвой», – значит высмеять его. До сего дня люди готовы отказаться от жалоб, обвинений, упреков под террором рокового вопроса: «Да ты что, себя жертвой считаешь?» С детства я привыкла к тому, что глагол «жертвовать» можно употреблять только в третьем лице – в первом лице он неприличен! И каково же было мое удивление, когда я обнаружила в письмах и записках героических декабристок: «Я принесла эту жертву», «наши жертвы». Но давайте наберемся мужества и спросим себя: есть в мире такое состояние, когда приносится жертва? А если есть, то почему человек не должен его осознавать? Миллионы обездоленных в годы репрессий жили, не смея показать, что они несчастны, жили, фальшиво, натужно улыбаясь, лишь бы не прилепилось к ним позорное слово «жертва», лишь бы их не обвинили в «спекуляции страданием». С помощью точно рассчитанного словесного хода несчастье было отменено, к страху разоблачения политического прибавился страх разоблачения бытового, житейского. А вот Надежда Яковлевна Мандельштам взбунтовалась, отказалась от «мужественного молчания» и провозгласила право на громкое и открытое страдание – «право вопить».

Не поленитесь: положите рядом страницу из трудов Департамента земледелия и страницу Отчета о сессии ВАСХНИЛ 1948 г. Может быть, формула, которую я собираюсь вывести, не покажется вам слишком резкой. В первом отчете видимо-невидимо таких слов как перегной, пар, зерно и т.д. – слов предметного значения; во втором – их не разглядишь за «вейсманизмом», «идеализмом», «морганизмом» и другими, как говорят в народе, хренизмами. Откройте также журнал «На литературном посту» (№ 21–22 за 1929 г.) и посмотрите, в чем обвиняют Андрея Платонова? В «струвистском объективизме», «хвостизме», «нигилизме как оборотной стороне гуманизма»... Ни одного слова с предметным содержанием! Когда я, после XX съезда, начала читать стенограммы процессов тридцатых годов, меня поразило, что обвинения и само-

обвинения были полны каких-то «несловарных» слов. Что за наваждение? Представим себе некий общечеловеческий словарь морали: в ядре своем он ведь должен быть общим для всех языков. Мы можем составить его по Евангелию, философскому трактату, былине. Мы увидим, что пороков человеческих не так уж много: ложь, жадность, предательство, жестокость... Стало быть, отрицательные герои, преступники должны обвиняться именно в этих пороках. Но нет, из года в год мы читали (и читаем) в газетах про «наплевизм», «хвостизм», «мягкотелость», «либеральничание», «заигрывание с...», «левизну», «правизну», «очернительство». И уже давно тревожит меня еретическая мысль: может, это глокая куздра? У каждого времени свои вожаки в этой стае. Сегодня, по-моему, их два: «взвешенно» и «однозначно». Сегодня это знамена «лингвистической революции», начатой «великим языковедом».

Эти рассуждения справедливы, однако, только при условии, что мы понимаем: язык потенциально приспособлен к такого рода революциям. Язык может быть врагом человека, потому что он абсолютно ему подвластен. Все на земле сопротивляется человеку больше или меньше: начиная от времени и пространства и кончая песчинкой и травинкой. Не сопротивляется только язык. Напрасно писатели заклинают себя и друг друга, что мол, «сам язык не позволит солгать». Все он позволит! «Язык без костей» – надо смотреть в глаза этой народной мудрости. «Язык – самостоятельная структура» – так звучит она же у лингвистов.

Да, язык – увы! увы! – без костей. Нельзя нарисовать стрелку, указывающую только налево, но так, чтобы она указывала при этом только направо. А вот сказать «право-левацкий уклон» можно. И расстреливать за это можно. Нельзя бежать одновременно вперед и назад. А вот сказать «консервативный авангардизм» или «авангардный консерватизм» можно. Потому что, повторяю, власть человека над языком абсолютна, а абсолютная власть, как известно, и развращает абсолютно.

Время от времени начинается кампания борьбы со «словами-паразитами»: со всякими «значит», «ну», «то есть». Но ведь эти слова совершенно безобидны: они только замедляют речь, яда-то в них никакого нет. А вот кочующая по нашим газетам и журналам «непростая судьба», действительно паразит, и, как тифозная вошь, высасывает эта скользкая формула кровь и слезы миллионов, выплевывает их судьбы, как жвачку. Ну, а если речь не о потопленной барже с «кулаками», а о своих родственниках, куда деваются формулы? Неужто хоть один «взвешенно мыслящий» писатель способен послать родным телеграмму: «Судьба мамы сложилась непросто. Похороны завтра». Застежкой-липучкой прилепляется к «взвешенному» слову и замечательный оборот «так называемый». Публицист взялся клеймить писателя Владимова за его поступки и при этом назвал его книгу «Верный Руслан» «так называемым романом». Что это значит? Что «Верный Руслан» – не роман, а частушка? Или критическая статья? Или вообще название улицы?

Мне могут возразить, что слово имеет не только прямое значение, что связь между предметом и знаком опосредствована, что именно на этом основан процесс образования тропов, без которых не может быть искусства. Не хочу ли я, чтобы, как в сказке Свифта, язык превратился в мешок с предметами? Я хочу только сказать, что нормальный, безопасный для жизни процесс – это выделение из речи символических значений, метафор и последующая кристаллизация их в искусстве. Тогда можно жить: есть и «магический кристалл» для познания невидимого глазом, и прозрачная вода для питья. Но можно повернуть стремнину языка вспять и двинуть метафору, гиперболу, абсурд, парадокс в политику, растворить их в словоблудии канцелярита, забить аббревиатурами и превратить кристаллы в булыжники, щепки, тину и всякую мерзость и муть. А в мутной-то воде и рыбка ловится. Была б наживка.

Роль наживки сыграли и более мелкие лингвистические ухищрения. Например, суффикс «еньк». В грамматике он считается ласкательным, а в идео-

логическом контексте вдруг зазвучал угрожающе: «Нет, мы не «добренькие». Заменяя общечеловеческие ценности классовыми, идеология не могла зайти так далеко, чтобы отменить добро. Моральные понятия шире и обобщеннее идеологических, и с этим объективным законом ничего поделать нельзя. Поэтому на добро навесили гири («абстрактное», «беззубое», «сомнительное»), а доброту подсекли суффиксом. Для любого ребенка («гениального лингвиста», по словам Чуковского) «добренький» – значит очень добрый, по-настоящему добрый. Но много ли найдется взрослых, которые рискнут сказать о себе: «Я – добренький»? Или: «Я – несчастный»? Или: «Я – принес жертву»? А набраться мужества и выговорить надо. Потому что дискредитация страданий – это легализация террора.

Душит нас и вторая форма языковой легализации насилия – бойкое внедрение тавтологий. Есть тавтологии явные: «экономика экономная», «масло масляное», – они очевидны и поэтому безопасны. Но есть тавтологии скрытые и потому страшные. Все знают: человек – духовно-телесное, то есть противоречивое существо. И тем не менее только о некоторых людях и только о некоторых обстоятельствах говорят, что они «сложны и противоречивы» (а также, разумеется, «неоднозначны»). У всех людей есть достоинства и недостатки, но говорится об этом исключительно выборочно. Наша глухота к этим тавтологиям, соединенная с каким-то безумным стремлением к «взвешенности» и «объективности», привела к тому, что, по моим наблюдениям, у рядовых пропагандистов сформировался следующий «взвешенный» подход к «феномену Сталина»:

«В Сталине было положительное и отрицательное. Отрицательное – это то, что он с 30-х годов шел по преступному пути. А положительное – это то, что он никому не давал отклоняться от этого пути – ни вправо, ни влево». И это они понесут в массы!

На диспуте о творчестве Александра Галича юная студентка глубокомысленно говорила: «Раньше нас неправильно учили, что явление – или черное, или белое. Теперь мы понимаем, что должна быть диалектика. Черного и белого вообще не бывает (!). Я думаю так: то, что Галич в годы застоя писал правду о нашей жизни, – это его заслуга. А что он предал Родину – это его вина». Кого и как он предал, девочка понятия не имела, но она уже заучила, что «краски должны мешаться». Со скоростью пандемии распространился этот новый догмат: черного и белого нет, добра и зла нет, палачей и жертв нет, героев и подлецов нет. А что есть? Есть спектр. Есть нюансы. Если бы это были не «чучела мысли», а мысли, они не могли бы принять такую форму, потому что мыслящему ясно, что модные нынче нюансы и полутона существуют только благодаря чистым краскам, что должны быть юг и север, чтобы появились юго-запад и северо-восток.

Надо сказать, что в последнее время глокая куздра очень бойко курдячит бокренка с помощью усиленного употребления безотказной частицы «не». Это тоже свойство языка: абсурд или тавтология глаже проходят в сознание под прикрытием отрицательного оборота. Сказать «я – святой человек» никто, знающий о смысле слова «святость», не решится. Но ведь сказать о человеке, что он «не святой» – точно такой же абсурд! О людях, чья жестокость и коварство выходят за пределы «исторически обусловленного», теперь принято говорить: «Они, конечно, не святые, но...» Это входит в бытовую привычку. Может быть, хоть от этой привычки нас отучит бывший африканский вождь Бокасса, показанный нам по телевизору? Ведь и этот человек, с аппетитом поедавший своих уничтоженных противников, последнее слово на суде начал с той же сакраментальной формулы: «Я, конечно, не святой...»

●

Пол МЕЙДМЕНТ (Англия)

СВЕЖИЕ ВЕТРЫ В КОНТОРЕ ГОБСЕКА

Очерки о современном банковском деле

Что такое банк? «Учреждение для хранения денежных средств, полученных непосредственно от клиентов или же от их имени. Основная обязанность – оплата векселей клиентов. Источником дохода является использование временно свободных денежных средств клиентов». Но словарное определение все менее и менее соответствует действительности, ибо за последние десять лет на банковское дело, на всю финансово-кредитную индустрию современного мира трижды обрушивался шквал перемен. Первый раз это было так называемое дерегулирование, отказ правительств (частичный или полный) от регулирования финансово-кредитных операций. Дерегулирование вывело банки из-под опеки правительств, все более и более превращая их из частно-государственных институтов в обычные коммерческие предприятия, оперирующие на свободном рынке. Не менее революционными для банков оказалось техническое переоснащение, главным образом компьютеризация и интернационализация, точнее, глобализация финансово-кредитной индустрии. Эти бурные перемены потрясли привыкшие к уютной жизни банки, выгнав их на рынок финансово-кредитных услуг, где дуют холодные ветры и где только из прибыли можно создать надежное укрытие. Чтобы выжить, банки должны теперь бороться за рынок, конкурируя не только друг с другом, но и со всевозможными и многочисленными финансово-кредитными учреждениями. Все это меняет банковское дело до неузнаваемости. В поисках новых источников дохода многие предприятия, называющие себя банками, далеко ушли от первоначальной функции приема вкладов у населения и обеспечения платежного оборота. Конкуренция внесла в банковское дело столько разнообразия, привнесла столько новых направлений в их деятельность и сделала это с такой скоростью, что впервые, наверное, со времен Шейлока необходимо остановиться и спросить себя: что же такое сегодня банк?

Вопрос этот отнюдь не праздный. Не один век банки занимали привилегированное положение как среди финансово-кредитных предприятий, так и вообще в сфере коммерции. За то, что банки выполняли двойную функцию – превращали накопления вкладчиков в инвестиции и обеспечивали финансовую базу экономического роста и благосостояния государства, – правительства ограждали их от многих отрицательных воздействий рыночной стихии. Банкам, особенно крупным коммерческим банкам, не позволяли так вот просто обанкротиться. Те же должны были за это оберегать финансово-кредитную систему той или иной страны от возможного краха. Государственное регулирование заключалось в том, что банкирам предписывали, за какие дела браться, а за какие нет и как вести дела дозволенные. За послушание не давали ходу конкурентам. Банки могли пользоваться своим привилегированным положением посредников между вкладчиками и потребителями капитала для извлечения сверхприбыли практически независимо от того, хорошо или плохо они делали свое дело. Банкротство им в принципе не грозило!

Однако безмятежные времена ушли в прошлое. При нынешней конкуренции правила, защищающие банкиров, в то же время их сковывают. Нужны новые правила. Но если множество банковских операций перестают отличаться от операций, производимых не-банками, если банки жаждут переключиться на новые сферы, в которых они могли бы получать максимальные

прибыли, и если они теперь жестоко конкурируют с другими финансово-кредитными учреждениями, то что специфического остается в их деятельности? Нужно ли теперь защищать банки от воздействия рыночных сил? От ответов на подобные вопросы зависят и система государственного регулирования, которой следует охватить финансово-кредитную систему для обеспечения ее устойчивости (прямая забота правительств), и конкретный характер деятельности банков.

Начнем с того, что в результате перемен, о которых говорилось выше, многие банки должны будут изменить как форму, так и суть своей деятельности по сравнению с тем, что было десять лет назад. Под банковским делом издавно принято подразумевать одну единственную форму предпринимательства, однако, как указывает Томас Стайнер из консультационной фирмы McKinsey, банковское дело охватывает сейчас около ста пятидесяти различных направлений предпринимательской деятельности, многие из которых вовсе не являются специфически банковскими операциями. В будущем огромную часть таких операций возьмут на себя другие финансовые учреждения и будут совершать их вместо банков или наряду с банками. С другой стороны, многое из того, чем сейчас занимаются небанковские финансово-кредитные учреждения, станет частью работы некоторых банков. В царстве финансово-кредитных услуг банки по-прежнему будут занимать господствующее положение, но потеряют значительную часть своей «исторической территории». В банковское дело придут аутсайдеры. Многим же из числа традиционных банкиров придется обосноваться в других местах. Банкирская «диаспора» существенно расширится.

Конец водоразделу

Явление, о котором пойдет речь, заметно уже и в Америке, и в Европе, и в Японии. Американские и японские коммерческие банки настойчиво, хотя и с оглядкой на правительство, внедряют ценные бумаги в свои торговые операции.

В Америке Bankers Trust, Chase Manhattan, Citicorp и J.P.Morgan смогли найти лазейку в 20-м разделе законодательства о банках, разграничивающего коммерческие и инвестиционные банковские операции, и тем самым получили право учреждать филиалы, которые гарантировали бы размещение их ценных бумаг. Эти две формы предпринимательства уже настолько переплелись друг с другом, что, как выражается Деннис Уэдерстоун, президент J.P.Morgan, «нужно разорвать ткань, чтобы разделить единый организм». Инвестиционные банки и банки ценных бумаг, со своей стороны, стали прямыми поставщиками кредитов для широкого круга финансовых и нефинансовых клиентов. Они предлагают инвестиционные товары, которые практически являются заменителями срочных вкладов, дающих большой доход. Они владеют и заправляют «небанковскими» банками, которые открывают доступ к систематическим платежам. Короче говоря, они стали выполнять традиционные услуги коммерческих банков. Хотя американским и японским инвестиционным банкам и банкам ценных бумаг запрещены торговые операции на внутреннем рынке, их филиалы преуспевают в этом за границей.

Но грани стираются не только между банками и индустрией ценных бумаг. Размываются границы и между страховыми и торговыми компаниями. В универсальной банковской системе Европы союзы между страховщиками и банкирами становятся обычным делом. По тому же пути пошла страховая компания Nippon Life (Япония), когда она приобрела в феврале прошлого года 4% капитала банка Banco Bilbao Vizcaya (Испания) за 250 миллионов долларов. У себя дома японские страховые общества уже объединяют свои финансы с банковскими, используя посредническое участие в акционерном капитале больших промышленных объединений. Американские страховщики здесь

КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ МИРА

	США		ЕВРОПА		ЯПОНИЯ	
	Чистая годовая прибыль (в млн. долл.)					
1	BankAmerica	1103,0	National Westminster Bank	1705,2	Sumitomo Bank	1580,9
2	Security Pacific	740,6	Barclays Bank	1613,1	Dai-Ichi Kangyo Bank	1506,1
3	Wells Fargo	601,1	Lloyds Bank	1116,3	Fuji Bank	1397,1
4	Citicorp	498,0	Banco Bilibao Vizcaya	786,2	Mitsubishi Bank	1313,9
5	NCNB	447,1	Midland Bank	758,7	Sanwa Bank	1226,9
6	PNC Financial	377,4	Paribas	732,5	Industrial Bank of Japan	707,3
7	Fleet/Norstar Financial	371,3	Credit Agricole	679,8	Mitsui Bank	590,0
8	Bank One	362,9	Deutsche Bank	675,6	Mitsubishi Trust	587,0
9	First Chicago	358,7	Societe Generale	590,5	Sumitomo Trust	556,7
10	SunTrust Banks	337,3	Banque Nationale de Paris	534,6	Long-Term Credit Bank of Japan	535,6
	Общие активы (в млрд. долл.)					
1	Citicorp	230,6	Credit Agricole	214,4	Dai-Ichi Kangyo Bank	389,8
2	Chase Manhattan	107,4	Banque Nationale de Paris	197,0	Sumitomo Bank	378,9
3	BankAmerica	98,8	Barclays Bank	189,4	Fuji Bank	366,8
4	J.P.Morgan	89,0	Credit Lyonnais	178,9	Mitsubishi Bank	353,9
5	Security Pacific	83,9	National Westminster Bank	178,5	Sanwa Bank	351,0
6	Chemical Banking	71,5	Deutsche Bank	170,8	Industrial Bank of Japan	259,5
7	NCNB Corporation	66,2	Group Ecureuil	150,3	Norinchukin Bank	243,8
8	Manufactures Hanover	60,5	Societe Generale	145,7	Tokai Bank	222,9
9	First Interstate Bancorp	59,1	Dresdner Bank	129,7	Mitsui Bank	207,6
10	Bankers Trust	55,7	Paribas	121,6	Bank of Tokio	199,7

отстают, хотя Prudential Insurance, владеющая третьей по величине розничной биржевой фирмой (Pru-Bache), решила ступить одной ногой в холодные воды банковского дела, приобретя маленький банк в Джорджии, а недавно и сберегательную кассу. Повсюду обычные коммерческие фирмы глубоко внедряются в сферу финансовых услуг. Розничные торговцы и промышленники владеют собственными инвестиционными банками, страховыми компаниями, сберкассами и «небанковскими» банками. Они предлагают широкий выбор кредитов, инвестиционные услуги и услуги по страхованию как компаниям, так и частным лицам.

С другой стороны, у многих европейских и японских банков давно установились управленческие и имущественные узы с промышленными компаниями, причем более тесные, чем у американских банков. В Западной Германии универсальная банковская система усиленно стимулирует банки приобретать большие доли акций собственных индустриальных клиентов. Так, Deutsche Bank владеет как минимум 25-процентной долей Daimler-Benz, огромного западногерманского производителя автомобилей. По закону американский банк имеет право только на 5-процентную долю акций нефинансового предприятия, дающую право голоса. Подобное ограничение не стало, однако, помехой для японских банков. Американский барьер может быть объяснен особенностями местной культуры – старым предубеждением общественности против сосредоточения финансовой мощи в одних руках.

Те немногие банки, которые уловили тенденции времени, пытаются сегодня обратить новые веяния в свою пользу. Все банки стремятся сократить затраты и найти новые источники дохода, в особенности за счет увеличения платы за услуги. Но завтра в выигрыше окажутся те, кто уже сейчас делает кое-что поважнее. Эти банки попеременно сосредоточивают свою деятельность на той или иной операции с целью выявления наиболее им подхо-

дящей, в которой они преуспевают или где у них появляется преимущество перед конкурентами.

Выявив свои сильные стороны, банк получает представление о том, в каком новом качестве он будет конкурентоспособным. Чем большей протекцией пользовался до сих пор банк, тем более существенными должны быть преобразования. Нередко требуется, чтобы банк без колебаний отказался от определенных направлений своей деятельности или же покинул рынки, на которых у него вместе с ликвидацией привилегированного положения исчезнут и преимущества перед конкурентами. Придется, возможно, отказаться от роли получателя вкладов и вместо этого положиться на межбанковский рынок в надежде получить там нужные фонды или даже отбросить своих старых клиентов, если обслуживание их не сулит выгод. После этого банк может направить свои ресурсы – посредством инвестиций в управление, маркетинг и технологию – на собственную «перестройку», используя при этом те формы предпринимательства, в которых он добился наибольшего успеха. Верно, что вначале банк от этого потеряет. Тем самым банк фокусирует свою деятельность только на выгодных операциях. Если бы банки были промышленными конгломератами, то процесс этот назвали бы распадом. Лишь немногим банкам удастся этого избежать.

Регулирование становится излишним

Новая жизнь рынка финансово-кредитных услуг с ее смелой конкуренцией превращает систему государственного регулирования в анахронизм. Везде эта система выглядит устаревшей и плохо оснащенной, ибо масштабы и характер финансовых услуг определяются сегодня не столько предписаниями государственной политики, сколько нуждами акционеров и клиентов. В богатых странах роль регулирования всегда варьировалась в зависимости от времени и места. Государственная политика по таким вопросам, как концентрация финансовой мощи, столкновение интересов, нечестная конкурентная борьба и защита крупных инвесторов и мелких вкладчиков, меняется вместе с модой и влечет за собой серьезные последствия. Европа давно узаконила универсальную банковскую систему. В Америке после Великого экономического кризиса 1929 года торговые банковские операции были отделены от инвестиционных. Еще более строгое ограничение банковской системы Японии восходит к концу Второй мировой войны, когда стране недоставало капиталовложений для восстановления разрушенной экономики. Подобные разграничения, как и другие вопросы регулирования, в настоящее время пересматриваются. Одна из причин этого состоит в том, что быстрые темпы перемен и появление новых финансовых услуг и новых рынков в течение последнего десятилетия изменили взгляды политиков – сторонников протекционизма. Политики стали уделять особое внимание конкурентоспособности национальных финансовых учреждений на международных рынках. Правительства могут благоприятствовать или препятствовать деятельности одной группы в пользу другой, что часто и делают, позволяя, например, промышленникам приобретать дешевые займы за счет мелких вкладчиков, устанавливая потолки процентных ставок и т.д. Но за этим всегда скрывается политическая цель. Связывать участников финансово-кредитной системы правилами и предписаниями вне их обычной деятельности благоразумно по той единственной причине, что в противном случае вся система в целом подвергается неоправданному риску. Стирание границ между различными категориями финансово-кредитных учреждений и, как следствие, углубление неравенства в конкурентной борьбе придало традиционной внутренней проблеме международный характер. Это обстоятельство, однако, ничуть не облегчает решение проблемы системного риска. И все же даже путаница, которую слияние банковских и кредитных учреждений создает для политиков, не идет ни

в какое сравнение с той неразберихой, которую внесли новшества в области номенклатуры финансовых услуг и операций.

Учет риска, связанного с процентной ставкой, валютным курсом и принятием решения о выдаче ссуды, стал дьявольски сложным делом. Сравнительно просто проследить, каким образом ссуды с колеблющимся курсом перевели риск процентной ставки с посредника на заемщика, но совсем иное дело пытаться, скажем, определить, что случилось с кредитным риском в многоступенчатых операциях, срочных сделках или в товарообменных операциях. В глубине души многих политиков, отвечающих за регулирование финансовой системы, мучает сознание того, что «идеальных заборов» не бывает и что в масштабе всей системы самые сверххитрые товары не способны уменьшить совокупный риск для финансовой системы в целом.

Очевиднее всего вопрос о перемещенном кредитном риске встает в связи с одной из наиболее быстро распространяющихся тенденций последнего десятилетия – секьюритизацией долговых обязательств предприятий и частных лиц. Секьюритизация – отвратительное словечко, под которым подразумеваются две вещи. Это, во-первых, непосредственный выпуск таких ценных бумаг, как облигации и коммерческие боны. Компании считают, что это более дешевый способ получения денег, нежели банковские ссуды. Во-вторых, это практика превращения банками и другими финансово-кредитными учреждениями обычных ссуд, предназначенных, скажем, для покупки дома или машины, в ценные бумаги, которые затем могут быть проданы инвесторам. Банки и другие финансовые учреждения занимаются этим охотно. Это увеличивает их ликвидность или же предоставляет им большую независимость от требований финансового обеспечения, которые правительства накладывают на них с целью откачки части фондов с их балансов на рынок. Правительственные финансовые учреждения обеспокоены тем, что хотя таким образом и можно реализовать фонды банков, непредвиденные кредитные и ликвидные обязательства последних могут частично сохраняться. Действительно, чтобы сделать ценные бумаги более привлекательными для инвесторов, банки все чаще предлагают разного рода гарантии и обязательства выплатить обусловленную сумму кредита по первому требованию вкладчика. Именно поэтому при определении международных коэффициентов адекватности капитала для банков, согласуемых комиссией Банка международных расчетов, взвешивается масса фондов, остающихся на балансе на случай риска и принимаются во внимание такие внебалансовые статьи, как гарантии.

Тревожит и то, что секьюритизация раздробляет кредитный процесс. Различные учреждения специально занимаются вопросами возникновения, размещения, выплаты, страхования и ликвидации долгов. В этом нет ничего дурного, но такое дробление – это еще один гвоздь, вбитый в гроб традиционной банковской системы. Правительства обеспокоены тем, что у банков, некогда отвечавших за финансирование всей финансовой системы в целом, а потому обладавших достаточным пространством для маневрирования в случае кредитного или ликвидного шока, появились новые уязвимые места.

Потрясения и амортизаторы

Так как объем финансовых операций в течение последнего десятилетия резко увеличился и крупные банки мира и фирмы по торговле ценными бумагами связаны теперь электронными системами оптовых платежей, трещины в уязвимых местах того или иного банка могут распространяться с катастрофической скоростью на всю систему. Современная ликвидная и кредитная взаимозависимость не поддается воображению. Ежедневно в одном только Нью-Йорке совершаются сделки, равные одной пятой ежегодного объема валового национального продукта Соединенных Штатов Америки. На фоне столь азартной деятельности мировая финансовая система выглядит

уязвимой. В 1980-х годах эта система переживала одну драму за другой: от долгов стран Третьего мира до смятений на фондовой бирже, выкупов сберкасс, оказавшихся на грани банкротства, и волнений вокруг покупок частных и государственных компаний с большими долгами и небольшими акционерными капиталами. Тот факт, что система выжила и понесла сравнительно небольшие потери, можно объяснить везением и правильными решениями, принятыми в момент кризисов. Министров финансов, крупных банкиров и их служащих можно простить за то, что они поверили, будто искусство преодоления кризисов приходит с опытом. На это можно только уповать, но на передышки рассчитывать нельзя. Верно, что финансовые рынки стали амортизаторами реальной экономики, но им еще предстоит выдержать экзамен на эффективность в условиях экономического спада.

Министерства финансов всех стран должны сделать все, чтобы финансовая система выдержала этот экзамен. Создать идеальный амортизатор – задача сама по себе не такая сложная. Сложно создать такой амортизатор, который работал бы не мешая всему механизму в целом. Задача банковского регулирования осложняется еще и тем, что на фоне скоротечных событий любые программы регулирования очень быстро устаревают.

Прежде чем переходить к обзору необходимых преобразований финансового механизма, остановимся подробно на процессах, происходящих в финансовой системе Соединенных Штатов. Именно там ярче всего выражен распад коммерческих банков и яснее всего видны напряжения в кредитной системе.

Кризис, вызванный конкуренцией

Прошедшее десятилетие не назовешь одним из лучших в истории коммерческих банков Америки. Не размер, а эффективность и рентабельность стали чашей Грааля. Но она для многих банков оказалась недоступной. В восьмидесятые годы доходы банковской индустрии росли очень медленно: 14,3 миллиарда долларов в 1989 г. против 13,9 млрд. в 1980. Этот показатель не успевал за ростом баланса, даже без учета инфляции. Выручка от акций – стандартный показатель рентабельности – за период с 1980 по 1988 гг. упала с 14,4% до 13,8% (последний год, за который этот показатель был подсчитан), а в 1987 г. она оказалась рекордно низкой – 2%. С другой стороны, резко увеличились потери. Исключая затраты на покрытие долгов стран Третьего мира, американские коммерческие банки списали во второй половине 1980-х гг. более 60 млрд. долларов. Сумма ошеломляющая. Она более чем в два раза превышает все непогашенные ссуды, списанные за 1950–70-е гг. – 28 млрд. долларов.

Огромный рост банковских фондов с 1950 г. не может скрыть ухудшающегося положения с безнадежными долгами. Темпы списания непогашенных ссуд за последнее десятилетие более чем утроились. В начале 1980-х гг. списанные ссуды подрезали у банков четверть процентного пункта от чистой процентной прибыли, которая тогда превышала 4%. А к концу десятилетия списание безнадежных ссуд забирало уже три четверти процентного пункта от чистой прибыли, упавшей к тому времени ниже 4%. Уровень списания долгов сейчас настолько высок, что при первом же потрясении американской экономики каждый пятый коммерческий банк этой страны окажется неплатежеспособным.

За этими общими цифрами скрывается сильное перенапряжение кредитной банковской системы, которое в свою очередь указывает на процесс изменения самого банковского дела. После разбивки на отдельные секторы для предотвращения концентрации финансовой мощи в банковской индустрии происходит сейчас процесс поляризации на сильные и слабые учреждения. Частичное ослабление регулирования со стороны правительства и технологические новшества позволяют рыночным силам утвердиться и в банковской инду-

стрии. Но это искажает механизм предохранительного регулирования кредитной системы, которой необходимо постоянно иметь достаточное количество капитала в каждом банке для погашения потерь. Хотя уровни капитала в среднем для всех банков адекватны, количество слабых финансовых учреждений с неадекватным уровнем быстро растет. Растет и число сильных учреждений. Денежные центры и межрегиональные банки наращивали свою мощь за счет мелкой сошки. На долю тридцати пяти ведущих банковских компаний приходится около половины всех фондов тринадцати тысяч американских банков. На долю супергигантов приходится и практически весь прирост дохода банковской индустрии в целом за 1980-е годы, хотя основная масса резервов на покрытие долгов стран Третьего мира была тоже сосредоточена в этой группе. Доходы крупных банков от продажи акций были почти в два раза выше, чем у мелких.

Хотя доля фондов больших банков Америки выросла незначительно (с 43% в 1980 г. до 49% в 1989 г.), размер фондов уже не является самым главным показателем могущества банка. Появилось множество других признаков, указывающих на укрепление господствующего положения больших банков. В крупных банках работает, например, половина всех банковских служащих, тогда как десять лет назад там работала только одна треть. И это в отрасли, где количество рабочих мест в целом постоянно сокращается! (Общее количество банковских служащих в США в 1986 г. составляло около 1,5 миллиона человек. Г-н Стайнер из фирмы McKinsey полагает, что к концу десятилетия их будет по крайней мере на 300 тысяч меньше.)

Размер банка не гарантирует успех

Прямым показателем концентрации в банковской индустрии и укрупнении банков является возрастающее число случаев слияния банков. В 1980-е гг. случаев слияния было в среднем в год в два раза больше, чем в 1970-е и в три раза больше, чем в 1960-е гг. Базирующаяся в Нью-Йорке FMCG Capital Strategies (консультации по финансовым услугам) полагает, что число действительно независимых банков сократилось с 13400 в середине 1960-х до 12700 к 1980 г. и что общее число банков к концу 1988 г. составило 9800. При таких темпах через 20 лет в Америке останется 200 независимых банков. Подобные категорические предсказания могут вызвать улыбку, но имеются три повода считать, что именно так и произойдет. Прежде всего это неполный отказ от государственного регулирования, особенно в отношении барьеров для межштатных банковских операций. Во-вторых, ослабленная экономика различных регионов мира приведет к краху многие слабые финансовые учреждения. Bank of New England, большой региональный банк, объявил в январе 1990 г., что ему придется списать 1,5 миллиарда долларов безнадежных ссуд, и поэтому рассчитывает, что какой-нибудь более крупный банк возьмет его под свой контроль. В-третьих, конкурентные поглощения стали достоянием и банковского дела. Впредь банкиры должны будут более умело проводить слияния, чем они это делали до сих пор. Обследование 400 крупнейших банковских слияний за 1980-е гг., проведенное FMCG, свидетельствует о том, что в четырех случаях из пяти слияние привело к частичному ущербу для приобретающей стороны.

Так или иначе, но сам по себе размер банка уже не гарантирует ему успех. Более того, как только капитал банка превысит 100 миллионов долларов, в его хозяйстве, как правило, начинаются сбои. Так что всякий банк, полагающий, будто к процветанию можно придти путем слияний, представляет свое будущее в искаженном свете. Банковское дело перестало быть чем-то вроде финансовой фабрики, занимающейся массовым производством ссуд и заинтересованной в бесперебойной работе своих поточных линий, чего бы это ей ни стоило. На банковское производство накладываются те же тре-

бования, что и на современную промышленность: большие издержки, высокая прибавочная стоимость и гибкость. Не составляют исключения и те банки, которые видят себя в качестве поставщика какого-то одного товара или услуг с низкими расходами.

Инвестиционные банки давно уже поняли это. Наиболее преуспевающие из них вовремя вспоминают об этом, когда у них появляется соблазн заключения сделки. Если коммерческие банки думают иначе, то им следует прислушаться к словам Тома Петерса, крупного специалиста в вопросах управления. Он утверждает, что готовых рецептов не существует: с внедрением информационной технологии все открывается заново. Посмотрите, как Citicorp за 15 минут оформляет заказ. У банков с худшей технологической базой рассмотрение даже обыкновенных заявок занимает несколько дней.

Крупные банки искуснее провели модернизацию, чем их меньшие собратья. Они, несмотря на снятие контроля за процентными ставками по депозитам, не только увеличили свой чистый доход путем внедрения кредитных карточек и других высокопродуктивных форм кредитования потребителей, но и значительно повысили доходы с комиссионных сборов. Эти новые источники дохода почти полностью возмещают огромный рост резервного фонда банков для безнадежных ссуд. Они также способствовали резкому росту беспроцентных расходов, особенно для инвестиций в компьютерные системы и новые предприятия, которые должны обеспечить успех банкам в 1990-х гг. Хотя темпы роста рентабельности крупных банков замедлились, их администрация вполне довольна сохранением высоких доходов с фондов и тем, что им удалось найти источники дохода, которые повысят конкурентоспособность банков после отмены государственного регулирования. Руководители мелких банков не могут сказать того же. Они теряли свое преимущество над большими банками, которым пользовались в течение последнего полстолетия, благодаря географической, товарной и процентной протекции. Но они не перестроили свои предприятия достаточно успешно, чтобы компенсировать потери.

Инвестиция или смерть!

Самая важная область, в которой более слабые финансовые учреждения продолжают отставать от своих сильных собратьев, – инвестиции в технологию и управление для создания новых услуг и товаров. Почти три четверти средств, которые расходуются на компьютеризацию, поступают от крупных банков, в то время как в 1981 г. их доля составляла лишь половину этих средств.

Банк Citicorp вложил в 1989 г. в предприятия высокой технологии более 1,5 миллиарда долларов – одну восьмую всех средств, вложенных американскими банками в развитие технологии. Теперь, чтобы выступать в «высшей лиге технологии», нужно тратить более 150 миллионов долларов в год. Семь ведущих банков с наибольшими расходами на технологию (Citicorp, Bank of America, Chase Manhatten, Chemical, Security Pacific, First Interstate и Manufacturers Hanover) вкладывают ежегодно как минимум в два раза больше. Чем шире база предпринимательства банков, способная поглотить эти огромные суммы, тем лучше для них. Это как раз пример того, как бывают ценны крупные хозяйства. Есть и другие причины, заставляющие думать, что мелким банкам, лишенным убежища, способного их приютить, в будущем придется нелегко. Дополнительные требования, на которых настаивают теперь правительства, предполагают более устойчивые балансы и более эффективное использование капитала. У предприятий, получающих комиссионные сборы, эффективность растет вместе с укрупнением. Растущая секьюритизация финансовых фондов, потребительских ссуд и ссуд на покупку дома, например, тоже больше устраивает крупные учреждения, чем мелкие. Именно они обладают достаточно крупными суммами для рынков капитала, именно они

в состоянии выделить эти средства из достаточно широкой сферы деятельности, чтобы смягчить те или иные последствия региональных экономических кризисов. Большая доступность рынка предоставляет им преимущество в том, что касается стоимости фондов, и таким образом позволяет им первым предлагать ссуды и подрывать позиции конкурентов. Для успешной конкуренции в сфере услуг главное оружие – обладание самым дешевым капиталом.

В плену истории

В течение многих лет стоимость капитала не очень волновала американских банкиров. Их субсидировали две группы вкладчиков: индивидуальные вкладчики и корпорации – потребители кредитов. Вкладчикам ничего не оставалась, как принять установленные процентные ставки. Те, кто искал деньги, также вынуждены были обращаться к банкам за ссудами. Как только государственное регулирование ослабло, положение стало меняться – клиенты принялись искать более выгодные сделки на рынках капитала. Практически гарантированная прибыль банков пошла на убыль. Ежегодные отчисления банков от установленных процентных ставок по депозитам в 1980-х гг. сократились по крайней мере вдвое по сравнению с 1979 г., когда эти отчисления составили приблизительно 30 млрд. долларов. Банкиры очень часто просто игнорировали очевидное. В 1980-е годы ослабление государственного регулирования лишило многие банки географических, товарных и рыночных привилегий, которые они самонадеянно считали неотъемлемыми, как какой-нибудь наследуемый титул. В результате эти банки оказались плохо подготовленными к обострившейся конкуренции.

В основе правовой структуры банковского дела в Америке в течение полувека лежали два документа: закон Пеппера-Макфаддена 1927 г. и Закон о банке 1933 г. (его называют обычно законом Гласса-Стигалла по имени конгрессменов, внесших его на рассмотрение). Оба закона были приняты в то время, когда банковское дело было изолировано от остального бизнеса. Теперь же, судя по тому, как рынок, и особенно высокая технология, меняют характер финансовых услуг и как финансовые органы правительства толкуют букву и дух этих законов, сами законы становятся излишними. Неизбежное изменение двух этих законов окажет воздействие не только на банковское дело в Америке, но и на два крупных рынка финансовых услуг, японский и европейский.

Закон Макфаддена был задуман как барьер для банковского дела, переходящего границы штата, как помеха на пути образования общенациональных банков. В Америке общественное предубеждение против концентрации власти, в особенности власти финансовой, пустило глубокие корни с тех пор, как президент Джексон в начале 1830-х годов распустил нарождавшийся Bank of the United States, среди совладельцев которого были иностранцы. Закон Макфаддена запрещает банкам, входившим в Федеральную резервную систему, открывать отделения за пределами своего штата, чтобы держать их на равной ноге с банками, пользовавшимися протекцией государства.

В той степени, в какой закон Макфаддена создавал разделенную банковскую индустрию, он срабатывал до тех пор, пока его в конце 1970-х гг. не свели на нет кредитные карточки, компьютерные системы и прямой маркетинг. Citicorp создал первый общенациональный банк для операций с широкой клиентурой с помощью кредитных карточек и прямых почтовых переводов. American Express добился, по сути дела, того же, даже не будучи банком США. И все-таки крупные банки США далеки от той степени концентрации, которая свойственна их собратьям в Европе и Японии, где такие ограничения, как запрет на межштатные банковские операции, были редкостью. В Западной Германии восемь ведущих банков контролируют около половины

банковских фондов. Такой же долей в Японии владеют 13 общенациональных банков, а в США – 35.

Еще сильнее бил по конкуренции закон Гласса-Стигалла. Принятый вслед за Великой депрессией 30-х гг., он должен был обуздать «чрезмерную конкуренцию». Были разделены коммерческие и инвестиционные банки, введено обязательное страхование вкладов, установлены потолки для срочных и сберегательных счетов и введен запрет на выплату процентов по бессрочным вкладам. Процентные ставки стали контролироваться по депозитам. Как и закону Макфаддена, закону Гласса-Стигалла удалось достичь своей цели – устойчивости банковской системы, когда банки не могли ни обанкротиться, ни уйти от своей традиционной деятельности. Банки зарабатывали деньги фактически независимо от того, хорошо или плохо они делали свое дело. Страхование депозитов позволило менеджерам одалживать деньги вкладчиков – риск, на который они в других условиях не пошли бы. Частным лицам и компаниям ничего не оставалось, как иметь дело с местными банками, платить положенные за ссуды проценты и получать то, что предлагалось, за депозиты.

В 1970-е гг. клиенты банков получили, наконец, ограниченную возможность действовать так, как подобает на свободном рынке. И они оживились. Банки стали терять депозиты. Компании стали увеличивать свой оборотный капитал посредством выпуска коммерческих бумаг, своего рода гарантированного овердрафта, ограничивая таким образом корпоративные ссуды банков. Система тройной процентной, товарной и географической протекции банков дала первую трещину.

Два законодательных акта начала 1980-х гг. – закон об отмене регулирования депозитных учреждений и кредитно-денежном регулировании (1980 г.) и закон Гарна-Джермейна (1982 г.) – придали правовой статус стихийно сложившемуся положению. Они имели целью завлечь назад в банковскую систему бывших клиентов, годами субсидировавших ее, но теперь толпами ее покидающих. Первый закон постепенно отменял потолок на процентные ставки по вкладам, то есть ликвидировал потолок для ростовщического процента. Второй узаконил депозитные счета денежного рынка и некоторые межштатные слияния, предвещая появление региональных банковских компаний (так или иначе, в 1991 г. будут сняты все ограничения на создание межштатных банков), и наделил сберегательные кассы правом расширять сферу предпринимательства. В результате, сберкассы стали походить на мелкие коммерческие банки, с той разницей, что для них не существует разумных ограничений, которые государственное регулирование вносило в деятельность банков.

Новая экономика

Оба новых закона оказали чрезвычайно сильное влияние на банковскую индустрию. Они трансформировали экономику коммерческого дела. Отныне банки не могли полагаться только на прибыль от чистого процентного дохода. Когда речь идет о структуре расходов, банковское дело представляет собой зеркальное отражение большинства других отраслей промышленности. Видимо, по лени и инерции банкиры довели дело до того, что расходы банка на самого себя стали составлять четыре пятых их общих расходов. (По сравнению с 20% у промышленных компаний.) Такая безответственность не имела большого значения, когда банки для покрытия всех своих расходов могли полагаться на чистый процентный доход. Этого нельзя сказать теперь, когда банкирам необходимо знать, какую прибыль дает каждое направление их деятельности. А отсюда всего один шаг до осознания необходимости отказа от тех традиционных услуг, которые по тем или иным причинам не могут стать прибыльными. Еще десять лет назад это понимали только самые дальновидные банкиры. Многие в то время считали безумием, когда Bankers Trust

и J.P.Morgan отказались от операций с широкой клиентурой, продали свои ценные манхеттенские отделения и стали оптовыми торговыми банками, потому что именно в этом почувствовали себя сильными. Теперь многие могут только позавидовать их рентабельности и устойчивости.

Многие банкиры до сих пор не осознали всей глубины изменения структуры коммерческого банковского дела. Это особенно характерно для банкиров за пределами США, где изменения характера банковского дела только начались. Если проследить, к каким последствиям привело снятие контроля за процентной ставкой по депозитам для доступа банков к дешевым фондам, легко убедиться, в частности, как отстает Япония от Америки.

Дерегулирование в Японии до сих пор было сосредоточено на устранении потолка процентной ставки по депозитам. Только теперь оно переходит на отношения между финансовыми учреждениями. Жестокая конкуренция, в тиски которой зажаты сейчас американские банкиры, вскоре охватит и Японию, и произойдет это гораздо быстрее, чем многие ожидают.

Очень многим банкирам в самых разных странах вечно кажется, что где-то существует еще одна потенциальная группа заемщиков, которую следует лишь разыскать и все будет в порядке. Такими «неохваченными» потребителями капитала им представляются то мелкие предприятия, то восточноевропейские страны, то свои собственные, отечественные менеджеры, желающие выкупить свои компании. Они наивно полагают, будто новые клиенты смогут заменить тех, кто их покинул. Все происходит так, как и в прошлом, когда они уповали на нефтяных шейхов, правительства стран Третьего мира или энергетиков из Техаса. Этот неоправданный оптимизм свойственен японцам и европейцам почти в той же мере, что и их американским коллегам. Старые привычки, сформировавшиеся в те дни, когда все сводилось только к получению новых фондов, отмирают слишком медленно. Конечно, у каких-то банков дела могут поправиться за счет притока новых заемщиков. Примером может служить банк Wells Fargo, который безжалостно сокращает расходы и сосредоточивает свою деятельность на таком кредитовании, которое, по его мнению, способствует сокращению риска для безнадежных ссуд. Этот банк доказал, что можно зарабатывать деньги на ссуживании разработчикам собственности, оперируя выкупами с использованием долгов. Но такого выгодного кредитования не хватит для всех, да и вообще оно не может лечь в основу долгосрочной стратегии роста устойчивости банка, потому что теперь его могущество не связано с механическим увеличением размера ссуд.

Нелегко будет усвоить нерадивым банкам еще один урок, преподанный авиакомпаниям, металлургическим предприятиям и другим отраслям промышленности, которые приняли качественное изменение структуры их производств за очередное циклическое. Банки должны будут в ближайшее время доказать свою компетентность в тех сферах предпринимательства, которые не являются традиционным банковским делом. В противном случае они окажутся в руках другого банка или будут ликвидированы.

Но трудности только начинаются. В течение многих лет в Америке новые банки появляются так же часто, как старые сливаются друг с другом. С середины 1980-х гг. ежегодно со сцены уходят несколько сотен банков. Эта традиция особенно ярко выражена в сфере сберегательных касс, где после 1980 г. исчезло каждое второе учреждение. Общее количество сберкасс в настоящее время едва превышает 2500, из которых сильными в финансовом отношении можно считать только половину. Но хотя теперь банки не так охотно оберегаются государством от банкротства, как в прошлом, тем не менее очень крупные банки все еще застрахованы от несостоятельности. Так что ликвидации подлежат мелкие и средние банки, названия которых забудут так же быстро, как забыли в свое время имена небольших авиакомпаний, металлургических и химических заводов.

Новые структуры

В американском банковском деле победителей от побежденных отличает то, насколько успешно они сумели перестроить структуру банковского производства. При этом следует помнить, что универсального рецепта, приемлемого для всех, не существует. Все зависит от конкретного банка и направления его деятельности. Если что-то общее и существует, то это либо господствующее положение на рынке по одному из направлений деятельности, в котором они выступают в качестве поставщика с низкими издержками, либо сильные позиции в других направлениях и новаторство в сфере услуг с высокой добавочной стоимостью. И еще: во главе преуспевающих банков, как правило, стоят менеджеры с ясным представлением о том пути, по которому следует вести дело.

В чем конкретно успех банка Bankers Trust? Этот банк отказался от операций с широкой клиентурой в пользу многообещающих торговых операций. В то же время First Wachovia, суперрегиональный банк, обслуживающий штаты Северная Каролина и Джорджия и обладающий фондами в 23 миллиарда долларов, посчитал, что именно розничные операции приведут его к процветанию. Директор банка Джон Медлин не боится остаться на участке, вышедшем, по мнению многих банкиров, из моды: «Нужно стремиться вперед, но не настолько, чтобы свалиться в пропасть». И действительно, First Wachovia не свалился в пропасть, сделав ставку на высококачественные услуги с низкими издержками. Средством достижения поставленной цели стала его программа «Личный банкир». Смысл ее – в замене безличных отношений клиента со своим отделением банка личным банковским служащим, который ведет все дела клиента. Младший из четырех разрядов служащих может обслуживать около двух тысяч рядовых клиентов, старший – горстку самых богатых или работать со счетами крупных корпораций.

Личный банкир – это уже не просто улыбающийся знакомому клиенту банковский служащий. Он обладает значительными полномочиями. Именно он одобряет получение ссуд, проверяет сроки поступления платежей, а в случае их задержки принимает соответствующие решения. Подобным образом он может открыть любой предлагаемый банком счет для своего клиента. Имя и номер телефона личного банкира обозначены на каждой ежемесячной выписке с банковского лицевого счета клиента, которая ему посылается. Когда First Wachovia проводит по почте кампанию прямого маркетинга, то рекламный проспект поступает опять же от личного банкира.

Все это, конечно, косметические перемены, но в них содержатся наметки будущей широкой программы увеличения прибылей. Для многих банков продажа постоянно растущего ассортимента услуг оказалась не столь легким делом, как это могло показаться. Личные банкиры оказались более приспособлены к этой задаче, потому что они располагают полной картиной сделок своих клиентов с банком и через его компьютерную систему получают доступ к информации, касающейся всех товаров и услуг, которые могут быть клиентам предложены. First Wachovia успешнее других превратил своих служащих и в дополнительный «фактор сбыта». Подпоркой этой системы стала увязка заработной платы личного банкира с качеством его работы и как банкира, и как продавца. Ежемесячно проверяются счета клиентов личных банкиров. При этом принимается во внимание не только количество, но и качество. Важен размер фондов и долгов, но не менее важно множество других факторов, как, например, темпы их роста, доходы и размеры неуплат. Стимулируется не только расширение бизнеса за счет новых сделок, но и обогащение его новым содержанием и поддержка на высоком уровне надежности банковских ссуд.

«Устойчивость, прибыльность и рост» – вот волшебное заклинание банка First Wachovia! Рост прибыли банка говорит о том, что его директор Джон Медлин колдовал не напрасно. Вдобавок процент непроизводительных фон-

дов от общего количества ссуд у First Wachovia значительно ниже, чем у большинства других суперрегиональных банков. И все же едва ли какой-либо другой банк последовал его примеру. Причин тому много. First Wachovia потратил добрых 15 лет, чтобы изменить работу своих отделений и интегрировать новые филиалы, образованные в результате слияний. Требуется постоянная и разносторонняя подготовка персонала для работы с компьютеризованными системами данных, что обходится дорого. И что еще дороже, приходится заказывать компьютерные программы, которые будут вводить всю информацию, касающуюся клиента, в банк данных так, чтобы ею могли пользоваться и сам клиент, и его личный банкир, и высшее руководство банка. First Wachovia начал составлять такие информационные файлы клиентов (ИФК) в 1975 г. Другие банки только сейчас последовали за ним. Увеличению прибыли, полученной банком First Wachovia от своих инвестиций, способствовало и то, что он, в отличие от многих других суперрегиональных банков, по-прежнему остается кредитором больших компаний. Удается это ему благодаря ИФК, позволяющим оказывать клиентам специально рассчитанные на их нужды услуги по контролю и регулированию денежных операций. First Wachovia использует свои банковские автоматы шире, чем его конкуренты, потому что ИФК дают частным клиентам возможность пользования пластиковыми карточками для получения доступа не только к своим счетам, но и к счетам по кредитным сальдо и по кредитным карточкам. Внедрение электронных устройств по распознаванию голоса (приобретенных у независимого поставщика) позволяет клиентам просто звонить в банк и получать подобную информацию.

Но если First Wachovia все еще сохраняет характерные черты банка, то этого никак нельзя сказать о State Srteet, который фигурирует в большинстве списков американских банков будущего. На первый взгляд, этот бостонский банк с фондами приблизительно в 7 миллиардов долларов кажется региональным банком средних размеров. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что его вряд ли можно назвать банком в привычном значении этого слова. State Street продал или закрыл 90% своих отделений. Две трети его фондов – в наличных деньгах или инвестициях. У него нет должников в странах Третьего мира, он не предоставляет ссуд для выкупов, использующих экономические рычаги (при значительных долгах, но незначительном количестве акционерного капитала), практически не дает ссуд на приобретение дома или машины. Его не интересует и ссуживание денег студентам для получения образования, хотя многим банкам студенты представляются теми клиентами, за которых нужно бороться.

Клиенты State Street – крупные инвестиционные учреждения вроде страховых компаний и пенсионных фондов. Они пользуются его услугами, чтобы следить за состоянием своих портфелей ценных бумаг и составлять сложные отчеты, которые они как институциональные инвесторы должны представлять акционерам и финансовым органам правительства. Этот банк стал компанией по обработке данных с портфелем треста и опекунского предприятия. Фактически он является компьютеризированным бухгалтером-контролером, а не банком в традиционном понимании. Подобное предприятие хорошо знакомо банкиру японского трест-банка, хотя то, как State Street применяет технологию, привело бы японский банк в ужас. State Street хранит около 10% всех ценных бумаг мира, стоимостью свыше 625 миллиардов долларов. Он занимает первое место по двум основным направлениям своей деятельности – хранению взаимных фондов (здесь ему принадлежит доля в 41%; идущий за ним Bank of New York имеет 12%) и фондов master trusts (важнейшие). В 1980-е гг. State Street увеличил свои доходы в 15 раз (за последний полный финансовый год они достигли 336,3 миллиона долларов). Это отчасти отражает бум на рынке ценных бумаг, но State Street умудряется непропорционально увеличивать свою долю от этого разбухающего пирога.

State Street не довольствуется достигнутым. Он постоянно вкладывает дополнительные средства в технические системы, чтобы сохранить господствующее положение поставщика, не обремененного высокими издержками производства. В сущности, он превратил компьютерную обработку и хранение данных в новый вид деятельности, в частности, глобальное хранение, индексированное управление банковскими фондами и опеку секьюритизированных облигаций.

State Street сделал нечто необычное для банка. Он пошел на партнерство с небанковским учреждением. Так, составлением отчетов для акционеров и предоставлением услуг клиентам State Street занимается компьютерная компания Boston Financial Data Services. Эта фирма к тому же является совладельцем самого банка State Street, одного их преуспевающих банков Америки.

Когда банкир не банкир

В той же мере, в какой банки вторгаются в сферу деятельности небанковских учреждений, последние вторгаются в сферу, которую с давних пор считали заповедной зоной банков. И это вполне логично, хотя «обратное вторжение» вызывает удивление правительств и раздражает банкиров.

Массовый отлив денежных средств вытеснил банковскую систему из значительной части ее традиционной сферы деятельности. Одна из причин – издержки. Другие финансовые учреждения часто могут сбить цены какого-нибудь банка, потому что их деятельность регулируется не так жестко, в частности, в том, что касается объема капитала, который они должны иметь в резерве. Поэтому им необходимо меньше капитала, чем банку, для осуществления одной и той же операции. Это означает, что стоимость капитала у банка выше, и если он хочет поспеть за ценами небанковских учреждений, ему нужно быть чрезвычайно эффективным на других участках (что ему редко удается).

Это главная причина, вынудившая промышленников отказываться от услуг банков и обращаться к свободному рынку капитала. В 1980-е гг. стоимость выпущенных в обращение коммерческих бумаг увеличилась в 5 раз и к концу прошлого года превысила 500 млрд. долларов, тогда как коммерческие и промышленные займы банков едва удвоились и достигли всего лишь 650 млрд. долларов. Попросту говоря, доля банков по одному из главных направлений их деятельности сократилась на одну четверть! В 1980-е гг. из-за нововведений, вызванных дерегулированием, традиционное финансовое дело изменилось до неузнаваемости, но дерегулирование дорого обошлось банкам и в других сферах предпринимательства. Merrill Lynch, фирма, занимающаяся розничными операциями с фондовыми ценностями, наподобие японской Nomura Securities, смогла найти способы для привлечения частных сбережений, которые ничем, кроме названия, не отличаются от приема вкладов. Повсюду можно встретить теперь взаимные фонды денежного рынка, предлагающие своим клиентам средства для чековых операций. Зайдите в манхеттенскую контору Fidelity Trust (подразделение взаимных фондов). Если вы и почувствуете, что вы не в отделении банка, то только потому, что обстановка здесь куда более впечатляющая и современная, к тому же в центре зала висит электронное табло, по которому можно справиться о курсе акций, ценах на товары и процентных ставках.

Изменилась и банковская система обработки платежей. Фирма Electronic Data Systems (EDS) обслуживает банковские автоматы с тех пор, как она в 1988 г. купила у M.Corp's за 281 миллион долларов право выдавать кредитные карточки и обслуживать операции, с ними связанные. Другая компания, First Data, обрабатывает четверть американского банковского кредита и чардж-карточек своей материнской компании American Express.

Но, наверное, самый разительный пример перемен демонстрирует нью-йоркская фирма Clearing House for Interbank Payments and Settlements (CHIPS)

– электронная система межбанковских клиринговых расчетов. Эта фирма занимается межбанковскими, особенно международными переводами долларовых платежей. Если, скажем, какая-нибудь японская торговая фирма покупает в Бразилии лесоматериалы по контракту, предусматривающему выплату в долларах, то CHIPS как раз является тем механизмом, посредством которого поставщик получит свои деньги. Считается, что CHIPS является собственностью банков, но сама по себе фирма – не банк. Фактически CHIPS – это система компьютерных сетей. Но осуществляет она классическую функцию банка, обеспечивая надежность платежа. Можно сказать, хотя и с оговорками, что CHIPS – это и есть банк в его чистейшем виде.

В погоне за информацией

Примерами, которые демонстрирует CHIPS и такие компании, как EDS, весь спектр перемен в банковской индустрии не исчерпывается. Большие банки, как, например, Citicorp, Chemical и Security Pacific, предоставляют своим компьютерным подразделениям все большую автономию, увеличивая расходы на их содержание и развитие. Компьютерные системы поглощают примерно две трети от 100 миллиардов долларов, которые ежегодно тратятся американскими банками на управление. Из них одну треть съедают системы получения и обработки информации. Джон Маккой, президент Bank One's, любит повторять, что банковская компания работает в трех направлениях. Это обычная банковская коммерция, слияние банков и внедрение новой технологии. Уже теперь некоторые специалисты спрашивают себя: не станут ли технологические предприятия ключевыми в финансовой индустрии будущего? Если так, то это будет иметь серьезные последствия для самоорганизации финансовых конгломератов. Впрочем, модель будущего финансового конгломерата просматривается сегодня на рынке ценных бумаг. Как выразился один бывший биржевой маклер, «фирмы по торговле ценными бумагами уже перестали быть фирмами, занимающимися куплей и продажей акций. Теперь это глобальные информационные компании, которые, случается, покупают и продают акции в незначительном количестве».

Крупнейшая в мире фирма по торговле ценными бумагами, японская Nomura, уже разделилась на два сектора. Один, Nomura Securities, специализируется на операциях с фондовыми ценностями и на инвестиционно-учредительных операциях, другой, NRI & NCC, – на обработке информации и коммуникационных систем. NRI & NCC в настоящее время ведет разработку сложнейших компьютерных программ разнообразного назначения: от тех, которые могут изменить сам характер предпринимательской деятельности с ценными бумагами, до программ для игровых компьютеров Famicon, которые могут быть использованы банковскими вкладчиками для торговли акциями непосредственно из дому. Эта компания разрабатывает программы управления компьютерными сетями, позволяющими компьютерам фирм по торговле ценными бумагами «общаться» друг с другом, со своими клиентами, с фондовыми биржами и с регуляторами. Nomura с ее довольно широким кругом банковских операций за пределами Японии считает, что она может оказаться в выгодном положении перед другими фирмами благодаря ее электронным сетям и компьютерным программам. Простое соединение доступа к банковским счетам с торговлей акциями по системе Famicon может позволить ей добиться большего успеха там, где традиционные банки потерпели неудачу, – во внедрении систем управления банковскими операциями непосредственно из дому с помощью электроники. Опыт применения фирмой Nomura новейшей информационной технологии может быть успешно использован и другими банками. Не следует забывать слова Рида из Citicorp: «Деньги – это информация в движении».

Гибкие недруги

Вне Америки банки все еще пользуются в большей или меньшей степени легальной монополией на кредитование и аналогичные банковские операции. Но положение начинает меняться. Вызов банкам бросила, в частности, ставшая теперь универсальной чардж-карточка. Японцы внесли здесь усовершенствование, введя систему предварительной оплаты чардж-карточки. С помощью таких карточек покупатель заранее оплачивает кредит. Чардж-карточки получили широкое распространение с тех пор, как NTT, гигантская компания телесвязи, выпустила в 1982 г. свою первую телефонную карточку. Сейчас такие карточки используют все – от владельцев биллиардных до крупных автобусных компаний. Благодаря важному техническому усовершенствованию – использованию микрочипа – появилась так называемая умная карточка (smart card). Умная карточка не только позволяет ее владельцу позвонить по телефону-автомату (картофону), но и дает возможность, например, переключать звонки к его домашнему телефону, на тот, где в данный момент находится владелец карточки.

Такое «колдовство» может изрядно испугать банкиров, однако в данном случае им не следует слишком беспокоиться. Иначе обстоит дело с другими, заранее оплаченными карточками, которые можно использовать для приобретения ряда товаров у различных продавцов. К разряду таких карточек относится U-Card, разрабатываемая компанией Coka Cola Japan. Наряду с использованием для покупки кока-колы из автоматов, в долгосрочные планы компании входит модификация карточки, которая позволит ее владельцу пользоваться автоматами других производителей безалкогольных напитков, а также покупать напитки в закусочных быстрого обслуживания. Одним из партнеров консорциума, разрабатывающего U-Card, является фирма Nippon Card System, представляющая собой совместное предприятие ведущих коммерческих банков. Но это случайность, ибо практически нет необходимости привлекать для этого дела банки.

Судьбу карточки могут изменить государственные финансовые службы. Должностные лица как министерства финансов, так и Банка Японии озабочены тем, что такие заранее оплаченные «умные» карточки, рассчитанные на многих продавцов, выполняют функцию денежных субинститутов, а выпускающие их компании, принимая депозиты и осуществляя клиринг платежей, подменяют собой банки. Все это, по мнению финансовых экспертов правительства, осложняет денежно-кредитную политику государства. Правительственные финансисты считают, что право выпускать заранее оплаченные карточки должно принадлежать банкам и регулироваться в соответствии с существующими законами о банковском деле. В настоящее время к заранее оплаченным карточкам относятся как к дарственным купонам, оговоренным законом еще в 1932 г., то есть задолго до появления магнитных денег. Этот закон предусматривает фондовое обеспечение купонов и ограничивает их использование рамками одной отрасли или пределами одной местности. Это правило будет, видимо, отменено, потому что область применения заранее оплаченных карточек постоянно расширяется и они становятся все «умнее».

Другая «пластиковая угроза» системе платежей тоже проходит стадию испытаний в Японии. Visa International и несколько японских компний, среди которых Toshiba, NTT, Japan Airlines (JAL), JP Tokai, одна из приватизированных железнодорожных компаний, отпочковавшихся от бывшей государственной сети Japan National Railways, и группа Hankyu, объединяющая железнодорожные компании и универсальные магазины, ведут в настоящее время совместные научные исследования и опытные разработки супер-«умных» карточек. Это карточки со встроенным чипом. Пользуются им вместе со специальным аппаратом, напоминающим телефон и оснащенный видеоэкраном. Держатель такой карточки может, сидя в своем кресле, приобретать товары

или заказать билет на самолет и тут же перевести нужные средства для оплаты своих покупок. Предшествующее поколение «умных» карточек, не успевших еще стать совсем обычными, имеет чип, благодаря которому они функционируют как 1) кредитные карточки, информация с которых может быть считана банковскими автоматами, 2) электронные удостоверения личности и 3) заранее оплаченные чардж-карточка для торговых автоматов и картофонов. В порядке эксперимента было изготовлено около 200 супер-«умных» карточек для служащих названных выше фирм и некоторых владельцев Visa-card.

Даже если новая технология окажется безотказной, по-прежнему сохранится вопрос о ее коммерческой пригодности. Изготовление первых образцов карточек обошлось в 10 тысяч йен (67 долларов), а считывающего устройства – в 300 тысяч йен. Представитель фирмы Visa Хитоши Кондо полагает, что если разработчики хотят, чтобы у супер-«умных» карточек было какое-то будущее, стоимость карточек необходимо сократить до 5 тысяч йен, а считающего устройства до 150 тысяч (приблизительно столько же стоит считывающее устройство для обыкновенной кредитной карточки).

Электронные деньги

«Сверхумные» карточки могут действовать в качестве средства сохранения стоимости. Они, в частности, способны выполнять функцию электронных денег. Представьте себе своего рода бартерную сделку с использованием новейшей технологии, по условиям которой служащие JAL и Hankyu для своих деловых поездок могли бы пользоваться услугами друг друга. Билеты можно приобретать по «сверхумным» карточкам. Компания, выпускающая карточки, могла бы затем электронным способом произвести расчет сделок. Это позволило бы обеим компаниям накопить избыток средств и использовать его против третьей компании. При обычных кредитных карточках этой третьей компанией был бы банк, но при пользовании «сверхумными» карточками необходимость в банке отпадает. Используя «сверхумные» карточки, компании могут создать закрытые сети поставщиков товаров и услуг, и если туда и войдут банки, то лишь в незначительном количестве.

Министерство финансов

Япония озабочена тем, что эмитенты карточек и другие небанковские институты вроде компаний-арендаторов, посреднических и кредитных компаний не просто создают денежные субинституты, но и конструируют систему расчетов, независимую от банковской сети. Поэтому министерство рассматривает новый закон, который позволит втянуть небанковские учреждения в сеть законов о банковском деле. Банковский комитет министерства финансов в настоящее время работает над отчетом по данному вопросу, а влиятельный Совет по реформам финансовых систем – группа советников, состоящая из ученых, промышленных экспертов и государственных служащих, – по-видимому, будет обсуждать вопрос о небанковских учреждениях к концу года. Это верный признак серьезных намерений министерства обуздать небанковские учреждения. Но и последние ведут упорную борьбу за право выпускать коммерческие бумаги, как это делают японские компании по торговле ценными бумагами и американские компании-арендаторы. Все они полны решимости добиться полной свободы. Министерство международной торговли и промышленности, контролирующее потребительский кредит и компании-арендаторы, разделяет эти настроения. Оно постоянно стремится расширить свое влияние за счет своего главного соперника – министерства финансов и, возможно, добьется успеха. ●

Окончание следует

Дэвид МАРКВЕНД (Англия)

ПАРАДОКСЫ ТЭТЧЕРИЗМА

Что такое тэтчеризм? Чтобы ответить на этот вопрос, наверное легче всего проанализировать реальную политику тех правительств, которые возглавляла Маргарет Тэтчер. Однако сколько бы мы ни пытались составить общую картину из отдельных эпизодов конкретной политики, нам это не удастся. Все дело в том, что тэтчеризм – это отнюдь не политика правительства М.Тэтчер, а политический, социальный, психологический и какой угодно еще феномен, многогранность и неоднозначность которого не поддаются простому объяснению. Любое определение здесь достаточно произвольно и всегда открыто критике.

На мой взгляд, в этом сложном явлении можно выделить четыре главных аспекта. Во-первых, тэтчеризм – это своего рода британский голлизм. Как и голлизм, тэтчеризм возник из чувства недовольства, отражавшего опыт и настроение поколения, которое стало свидетелем упадка национального величия. Более всего недовольство было связано с состоянием экономики, поскольку экономические недуги оказались наиболее очевидным фактором увядания былого национального могущества. Но недовольство не ограничивалось рамками одной лишь экономики. Политический упадок, хотя и был менее заметен, имел еще большее значение. Как и во французской Четвертой республике, именно поколение времен упадка нации должно было нести ответственность за кризис власти и ее легитимности. В Британии этот кризис был не столь серьезен, как тот, что привел к власти генерала де Голля. Тем не менее это был самый глубокий кризис, который когда-либо переживали британские правящие круги и со времен Первой мировой войны.

Так что тэтчеризм в Британии и голлизм во Франции можно рассматривать как попытку противостоять кризисным процессам, приостановить их и по возможности обратить вспять. Причем и тэтчеризм, и голлизм опирались на национальную политическую традицию, что давало им возможность рассчитывать на огромный потенциал народной поддержки. Та национальная традиция, на которую опирался де Голль – это традиция активного государства, восходящая ко временам Кольбера и пронизывающая три столетия французской истории. Наряду с тем де Голль предпринял попытку – по крайней мере, риторическую, – утвердить французское лидерство на европейском континенте в противовес «англосаксонской» гегемонии в западном мире в целом. Эта политическая традиция и основанная на ней политика соответствовали глубоко укорененным чувствам французов. Тэтчеризм тоже можно рассматривать как набор составляющих традиционного национального комплекса. Британской политической традиции присуща привязанность к ценностям экономического либерализма, минимальное вмешательство государства в жизнь граждан. В сфере внешней политики британская традиция – это прославление изоляционизма и «английского образа жизни», на практике сочетающегося с прочными связями с Соединенными Штатами и приверженностью к атлантизму.

Второй аспект феномена под названием тэтчеризм – аспект, на мой взгляд, весьма существенный – это экономический либерализм. Без сомнения, широкомасштабный переход к неолиберализму, то есть оживлению классического либерального подхода в экономической политике, обусловлен скорее необходимостью, чем свободным выбором. К примеру, в 1980–1982 гг. остановить рост курса стерлингов было невозможно: он в значительной мере был обусловлен превращением британской валюты в «нефтефунт», а став

Статья написана до отставки М.Тэтчер.

«нефтяной валютой», фунт подвергался воздействию тех факторов, которые никак не зависели от конкурентоспособности британских товаров на мировом рынке. Все здесь определялось политическими решениями и соглашениями нефтедобывающих стран. Это только один из примеров того, как любое, сравнительно небольшое, государство зависит от глобальных экономических факторов. Поэтому все британские правительства, хотя бы отчасти, вынуждены быть неолиберальными. В известном смысле они и не могут быть иными, ибо невозможно изолировать страну от последствий политических решений, принимаемых за ее пределами. Однако, тэтчеристы были либералами не только потому, что были к тому вынуждены, но и по убеждениям.

Посмотрим, какие элементы лежат в основе неолиберального подхода тэтчеристов к экономическим проблемам. Первый из них – это отказ от кейнсианского управления макроэкономическими процессами в масштабах государства. В основе этого отказа лежит убеждение, что вмешательство государства в макроэкономические процессы неизбежно усиливает инфляцию, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Кроме того, тэтчеристы придерживаются мнения, что с точки зрения долгосрочной стратегии все попытки произвольно поддерживать «высокий и устойчивый уровень занятости» (как это торжественно провозглашалось в изданной в 1944 г. Белой книге по вопросам занятости) обречены на неудачу. А если правительство все-таки возьмет курс на обеспечение занятости, то все, что бы оно ни делало, в конце концов приведет к еще большей безработице, обесцениванию денег, повышению уровня инфляции и, в конечном счете, – к общему расстройству хозяйства, всей системы экономического «обмена веществ».

Второй элемент политики неолибералов представляют собой отказ от государственного вмешательства на микроэкономическом уровне. Они отвергают всякую идею «планирования», а также понятие «трипартизм» (соглашение трех субъектов экономической политики – предпринимателей, государства и профсоюзов), – своего рода возрождение идеи корпоративного государства, имевшее место в 60-х – 70-х гг. При этом сторонники неолиберализма исходят из убеждения, что только рынок способен надлежащим образом распределять ресурсы и эффективно способствовать экономическому «обмену веществ». Они убеждены в том, что если государство будет вмешиваться в механизм рыночных сил, делая это как будто в интересах долгосрочной перспективы, то оно неизбежно совершит ошибки, и в результате экономика будет функционировать менее эффективно, чем это происходило бы без государственного вмешательства. Правительство, по их мнению, должно поддерживать проигрывающих, но оно не может помогать победителям.

Это очевидные составляющие экономического либерализма. Но существуют и другие, быть может, не столь явные, но не менее интересные, а в некотором смысле и более важные. Неолиберальный диагноз британских экономических недугов в 60-х и 70-х гг. базировался в большей степени на определенной политической теории, чем на их экономической концепции. Политическая же теория неолибералов сводилась к следующему. Сторонники планирования, основываясь на серьезных теоретических посылках, считают, что в известных случаях вмешательство государственных органов в действие рыночных механизмов необходимо и оправданно. Но на практике, однако, у государственных регулирующих органов, больше шансов совершить ошибку, чем у безличных рыночных сил. И хотя возможна ситуация, когда для исправления ошибок рынка вмешательство правительства теоретически необходимо, по причинам чисто экономического свойства ему все-таки лучше было бы не вмешиваться. Ведь правительству тоже свойственно совершать ошибки, причем эти ошибки носят гораздо более разрушительный характер. Правительство склонно к ошибкам по двум причинам, причем обе они в условиях современной массовой демократии являются неизбежными.

Во-первых, процесс выборов – конкуренцию кандидатов в ходе избирательной кампании – в современных массовых демократиях можно назвать «инфляционным» по своему внутреннему характеру. Рынок голосов не похож на все другие рынки, потому что потребитель (то есть избиратель) действует вне каких-либо «бюджетных ограничений». Потребителю, то есть избирателю, есть смысл приобретать на избирательном рынке наиболее дорогие «товары», то есть наиболее многообещающие политические программы. Для продавцов (то есть политиков) на этом рынке тоже имеет смысл продавать наиболее «дорогие продукты» (самые большие обещания), так как они знают, что их будут покупать охотнее, чем дешевые. И таким образом, процесс в целом становится инфляционным в двух отношениях: в самом прямом смысле, поскольку для того, чтобы покрыть излишние расходы (обещания, на которые вынуждены были идти кандидаты на выборах), правительство нарушает денежное обращение, увеличивает денежную массу. С другой стороны, процесс будет инфляционным и в психологическом отношении, так как обстоятельства вынуждают самих избирателей постоянно предъявлять все большие и большие требования.

Вторая причина, объясняющая органически присущую правительству склонность к ошибкам, и притом к опасным ошибкам, – это то, что в сложном административном аппарате современного государства заложено стремление к построению бюрократической империи. Разросшись, гигантские бюрократические учреждения правительственного аппарата оказывают непреодолимое давление на политиков, которым номинально, но только лишь номинально, подчиняются. Со всем этим связан и моральный довод в пользу рынка. Только в условиях конкуренции на свободном рынке, мужчины и женщины могут реализовать себя и свои стремления без постороннего вмешательства. На политическом рынке их предпочтения искажаются. На подлинном же рынке, – рынке экономическом, – они становятся самими собой, действуют сами по себе и несут ответственность за свои действия, – в общем, ведут себя таким образом, который невозможен на политическом рынке. Поэтому по моральным соображениям, также как и по чисто практическим, правительство должно предоставить рынку действовать самостоятельно, подчиняясь его правилам, а не подчиняя его своим.

Таково, по-моему, содержание основных элементов того, что можно было бы назвать неолиберальным направлением в тэтчеризме. Но наряду с этим в тэтчеризме существует еще и совершенно иное течение, не имеющее отношения к экономическому либерализму и находящееся с ним в прямом противоречии. Это течение – традиционный торизм, а также подчеркнутый патриотизм, британская гордость, утверждение необходимости возрождения и сохранения британской традиции. Стержень торизма составляют викторианские ценности и соответствующие им риторика и стиль. Главными из этих ценностей являются власть, иерархическое устройство общества, дисциплина и порядок. С позиций этих ценностей либерализм, в том числе и экономический, является разрушительным началом!

Наконец, в тэтчеризме существует и четвертая составляющая, которую трудно уловить, но очень важно понять и осмыслить. В отличие от предыдущих премьер-министров мирного времени, во всяком случае, в последние годы, стиль М.Тэтчер одновременно и популистский, и харизматический. (Здесь опять просматривается явная параллель с де Голлем.) Являясь безусловным лидером Консервативной партии и главой правительства, М.Тэтчер располагала огромной сетью институтов и инструментов власти. Но при этом – во всяком случае в значительной степени – ее власть и авторитет не зависели от тех институтов, которые она возглавляла. В тэтчеризме, как и в голлизме, лидер воплощает волю народа: он интуитивно чувствует, что от него ждут народные массы. И именно потому, что ее сердце бьется в унисон с сердцем народа, потому, что она это знает, так же как это знает народ, Тэт-

чер может обращаться непосредственно к людям, минуя предполагаемых представителей народа (включая своих собственных министров).

Отсюда возникает одна из наиболее поразительных черт тэтчеризма: способность премьер-министра действовать как бы вопреки самой себе, или точнее, против своего правительства. Скрытый в этом смысл заслуживает особого внимания. Современные правительства, кроме всего прочего, являются еще и источником фрустраций, разочарования. Ни одно правительство не выполняет всех своих обещаний и не делает всего того, что оно предполагало сделать; ни одно правительство не добивается полного успеха, и все правительства огорчают тех, кем они управляют. В свою очередь, во всякой демократической стране избиратели недовольны своим правительством, возмущаются его ошибками и неудачами, разрывом между обещаниями и реальностью. Так вот, эта необычайная боязнь избирателей быть обманутыми, их неизбежное недовольство были во время правления Тэтчер обращены главой правительства к ее же собственной пользе. Прежде всего это стало возможно благодаря курсу на экономический либерализм. Так как госпожа Тэтчер выступает за ограничение правительственного вмешательства, для нее вполне логичны ссылки на примеры ошибочной правительственной деятельности, даже если они имели место во время ее собственного пребывания на посту премьера. Но только этим дело и исчерпывается. Гораздо более важным является убеждение М.Тэтчер в том, что она, в отличие от других представителей народа, знает подлинные чаяния людей, выражает их волю. Она убеждена, что как раз благодаря этому и стоит над правительством, главой которого является.

Почему поведение М.Тэтчер кажется людям привлекательным? Оно привлекательно в двух отношениях. Тэтчеризм, как мне кажется, является в одно и то же время своеобразной компенсацией и парадоксальным продолжением культурной революции 60-х гг. и так называемого общества вседозволенности. Элемент реванша достаточно прост: «Возвращайтесь обратно, начните все сначала, отмойтесь, расчешите волосы, оденьтесь как следует, займитесь делом и прекратите стонать». Привлекательность этой стороны тэтчеризма понятна, ибо простые люди были шокированы той смесью сексуальной свободы, культурного нигилизма и незрелого марксизма, которая составляла шик шестидесятых. Но, возможно, в еще большей степени они были шокированы пораженческим конформизмом, с которым охваченные комплексом вины представители элиты приветствовали этот радикальный шик.

Элемент преемственности по отношению к культурной революции у тэтчеризма более сложен. Культурная революция 60-х делала упор на самореализацию и требовала мгновенного самовыражения и немедленного признания притязаний каждого «я». Прежде всего она ценила подлинность непосредственного опыта, абсолютную свободу выбора и все то, что предполагал тот модный солипсизм, нацеливающий каждого заниматься своим делом. В эмоциональном, и даже в интеллектуальном плане эти ценности близки ценностям рыночного либерализма, где потребитель – это король, движимый одним лишь желанием получить максимум удовольствия и свести к минимуму все заботы. Странным, даже парадоксальным образом тэтчеризм оказался способен привлечь как вчерашних «хиппи», вышедших из шестидесятых и превратившихся в сегодняшних «яппи»[1], так и защитников традиционных ценностей, которые не хотели бы упустить шанс отыграться на хиппи.

Во-вторых, привлекательность тэтчеризма лежит в сфере социальной. Тэтчеристам, как никому из консервативных политиков, удалось укротить недовольство «неотесанных», страдающих комплексом социальной и психологической неполноценности новых элит (или точнее групп, еще только собирающихся стать новыми элитами). В свое время, в 50-е гг., эту задачу в США выполнил Джо Маккарти. Как заметил однажды Джулиан Кричли, госпожа

[1] Yuppi – акроним, означающий «молодые, рвущиеся наверх специалисты-горожане». – *Ред.*

Тэтчер получила руководящий пост в своей партии на волне «крестьянского восстания». Теперь «крестьяне» у руля. Но это не рядовые крестьяне; это кулаки – в высшей степени мобильные, материально преуспевающие и отчаянно стремящиеся приобрести общественный статус, на который, как они полагают, им дает право успех. Как и аналогичные социальные группы в предшествующие исторические периоды, они обнаружили, что статус не продается, – во всяком случае, его нельзя купить за ту цену, которую в состоянии заплатить большинство из них. Прежние мандарины сохраняют свои позиции и продолжают смотреть на «нуворишей» сверху вниз; и чем больше те суетятся и толкаются, тем больше мандарины презирают их. Норман Теббит добился поста министра, но в глазах мандаринов он по-прежнему остается рядовым пилотом и парнем из лондонского предместья. Госпожа Тэтчер занимает особняк на Даунинг-стрит, 10, но Оксфорд отказывает ей в присуждении почетной ученой степени. Неудивительно, что у «крестьян» это вызывает смесь зависти и презрения. Тэтчеризм приводится в движение их завистью. Это политическая доктрина решительных, крутых новых людей, не разменивающихся на пустяки. Эти люди видят на своем пути старый, усталый, повергнутый, но сохраняющий свои привилегии истеблишмент. К их удивлению, истеблишмент не утратил какую-то сверъестественную способность заставить тех, кто хочет его сместить, чувствовать себя не слишком уютно.

Возмущение этих групп «крестьян» родственно возмущению, исходящему из глубокой провинции. Это восстание против клик, связанных со столицей и крупными городами, клик, которые в провинции рассматриваются как заправляющие всеми делами в стране, а особенно в культуре и средствах массовой информации. Чувства, владеющие провинциалами и «крестьянами», – это вода, льющаяся на мельницу тэтчеризма. Очевидная неприязнь тэтчеристов к Би-Би-Си, равно как и их явное стремление подчинить себе эту компанию, разумеется, имеют практическую подкладку. Если это учреждение можно принудить действовать в соответствии с желанием правительства, то правительству будет легче добиться своих целей. Но все же здесь речь идет не только о практической целесообразности, а о чем-то большем. Ведь на Би-Би-Си существует (или по крайней мере существовало во времена, предшествующие тем, когда Маргарет Тэтчер стала премьером) настоящее засилье мандаринов. Би-Би-Си была оплотом всех этих зазнаек, принадлежащих к привилегированному кругу выходцев с юго-востока, воспитанников Оксфорда и Кембриджа, Форин Оффиса и «Атенеума».

На этой почве возникают удивительные парадоксы, из которых и соткан тэтчеризм. Первый и самый очевидный парадокс заключается в том, что свободной экономике пришлось шагать рука об руку с сильным государством. За риторикой о том, что надо освободить людей от государственной опеки, скрывалось на деле еще более сильное, а в некоторых отношениях и еще более всепроникающее государство, чем то, которое нам было известно до сих пор. И примеров тому очень много. Закон об образовании – это самый красноречивый пример. Другой пример – это наступление, предпринятое центральным правительством против местных властей. В ходе этого наступления, по всей видимости, было разрушено так называемое двоевластие. Последние примеры – это изменения в коммунальной налоговой политике и в программах жилищного строительства.

Удивительна логика этого парадокса. В своем капитальном труде «Право, закон и свобода» Ф.А.Хайек указывает, что свободное рыночное хозяйство может процветать только в том случае, если в обществе преобладают соответствующие ему ценности. Он замечает при этом, что в обществах конца XX века эти ценности умирают. Ценности, свойственные рыночной экономике, пишет Хайек, «неизбежно усваивались всеми членами общества, состоявшего преимущественно из независимых крестьян, ремесленников и подмастерьев,

которые разделяли свои будни с хозяевами. Этический кодекс этих людей учил их ценить рассудительность, достоинство добропорядочного отца семейства и кормильца, который заботится о своей семье, о ее будущем, о своем деле, о накоплении состояния. Этот кодекс повелевал людям руководствоваться не стремлением к потреблению, а, наоборот, будучи скромными, добиваться того, чтобы окружающие считали их удачливыми... В настоящее же время постоянно увеличивающаяся часть населения западного мира воспитывается как члены огромных организаций, и поэтому правила рынка, создавшие великое общество, являются для них чем-то чуждым. Свободная рыночная экономика кажется им совершенно непонятной, у них нет опыта следования тем правилам, которым подчиняется ее механизм. Результаты функционирования рынка представляются им иррациональными и аморальными».

Ясно, что здесь имеет в виду Хайек. Рыночная система, в которой свободные люди стремятся максимально реализовать свои возможности, не будет приносить плодов обществу в целом, если в нем мало людей, которые способны следовать правилам, диктуемым рынком. Люди, живущие в обществе, которое развращено засилием крупных организаций и государственными субсидиями, не станут вдруг и по своей воле вести себя в соответствии с рыночными императивами. Они не примут новых форм поведения и в том случае, если кто-то возьмется убедить их, что это в их собственных интересах. Неолиберальный диагноз всех бед 60-х и 70-х гг. подчеркивал, что, сколь бы ни были катастрофическими результаты доминировавших в те времена форм экономического поведения, они, эти формы, казались вполне рациональными с индивидуальной точки зрения, если учесть тогдашние социальные условия. Поэтому недостаточно просто проповедовать рыночную экономику, добиваясь более разумного поведения людей. Необходимо пройти через основательные перемены в культурной сфере. В том, что говорил Хайек, заложено определенное указание на образ действий неолиберального правительства. А именно: если оно действительно хочет вернуться к рыночному хозяйству, ему придется проделать огромную работу по социальной инженерии. Работу, по крайней мере, столь же великую и глубокую, которую проделали в свое время социальные инженеры 60-х и 70-х гг.

И еще один пример. Резкое увеличение затрат на социальные нужды во всех развитых странах в 60-е гг. было вызвано – по крайней мере отчасти – протестом женщин против традиционного отношения к семье и к роли женщины в семье. Государство вынуждено было выделять дополнительные средства на оплату бытовых услуг и услуг по уходу за детьми, то есть тех услуг, которые ранее женщины выполняли в семье бесплатно. Так что призыв неолибералов возродить «викторианские ценности», вернуть женщин домой, к семейному очагу, где они занимались бы уходом за детьми и другими домашними делами – причем бесплатно, – не является лишь чисто идеологическим. Это очень важная часть экономической программы, одной из целей которой является сдерживание все возрастающих социальных затрат.

Таким образом парадоксальная комбинация сильного государства и свободной рыночной экономики является частью неолиберального мышления. И этот парадокс, разумеется, еще более усиливается «голлистским» элементом тэтчеризма. Его можно выразить так: тэтчеристы верят, что они могут, просто «взяв за шиворот» традиционные элиты и изгнав их с насиженных мест, влить свежую кровь в изношенную британскую экономику. Мартин Винер, автор нашумевшей недавно книги «Английская культура и закат предпринимательского духа», выделил один из важнейших аспектов тэтчеризма – убеждение в том, что причиной экономического упадка Британии является засилье «аристократов» из старых элит. Они, по его мнению, лишены предпринимательской жилки энергичных викторианских фабрикантов, рвавшихся вперед и сделавших Британию великой державой в XIX веке. «Предпринима-

тельская культура», как ее называл сэр Кит Джозеф, может быть воссоздана только путем сложного экспериментирования в сфере социальной инженерии, перековки сознания и изменения культурного климата.

И тут мы сталкиваемся с еще одним парадоксом, не менее важным, чем предыдущий. Этот парадокс сводится к противоречию между «голлистской» составляющей тэтчеризма, направленной на то, чтобы приостановить процесс национального упадка, и неолиберальным подходом к мировым рыночным процессам. Вполне логично, когда неолиберал выступает сторонником свободной торговли и высказывается против любых, в том числе новых форм меркантилизма. (Государство ведь не может «работать» лучше, чем рынок!) Отсюда следует, что приспособление национальной экономики к изменениям на международном рынке должно подчиняться законам рынка.

Традиционная доктрина международной торговли утверждает, что в конечном счете свободный рынок выгоден всем без исключения. Он выгоден как сильному партнеру, так и слабому, поскольку каждый получает свою долю от производства тех товаров, в изготовлении которых он наиболее преуспел. А покупать, импортировать следует те изделия, производство которых дома обходится слишком дорого. Беда этой теории в том, что она статична, в ней нет динамики. Это концепция хороша для тех, кто уже утвердился или хорошо подготовился к ведению дел на рынке. Например так, как к этому была подготовлена Британия в середине XIX в. Но эта концепция не слишком устраивает тех, кто еще только готовится выйти на рынок. Поэтому, видимо, не стала следовать этой доктрине имперская Германия XIX в.; по той же причине не воспользовалась ею Япония, являющая собой лучший пример предпринимательского государства в послевоенной истории. Для французского голлизма все это не представляет проблемы. Модель Кольбера, к которой апеллируют голлисты, предусматривает создание сильного, достаточно замкнутого государства. Но «британским голлистам» здесь есть над чем поразмыслить. Британская традиция толкает их в совершенно другую сторону. Их традиция – это традиция тех, кто может позволить себе выступать за свободную торговлю. В интересах «британских голлистов» весь мир должен был бы принять доктрину свободной торговли, стать «империей свободной торговли». Но в те времена, когда эта доктрина создавалась, Британия была мировым лидером. Теперь же, когда она лидером не является, когда она страдает от последствий продолжающегося уже целое столетие упадка, – все обстоит значительно сложней. В настоящее же время национальная традиция, к которой и апеллирует тэтчеризм, ведет отнюдь не к восстановлению былого экономического могущества Британии, а как раз наоборот – к подчинению более сильным в экономическом плане державам и транснациональным компаниям. Пока еще трудно сказать, как разрешить этот парадокс, но есть признаки того, что тэтчеризм нового образца, то есть образца середины и конца 80-х гг., в этом отношении несколько отличается от более ранней модели. При этом «новый» тэтчеризм потихоньку начинает сближаться с французским голлизмом. Другими словами, в 80-х гг. правительство Тэтчер начало осторожно, с опаской, ориентировать государство на развитие по «голлистской» или японской модели, постепенно выхолащивая неолиберальное отношение к мировому рынку.

Последний парадокс связан с духом Консервативной партии, с ее эмоциональным стержнем. Он состоит в том, что тэтчеризм одновременно является революционным и контрреволюционным; он взывает к новым надеждам и при этом возрождает старые ценности; он обещает одновременно и свободу, и порядок; он хочет выбора, разнообразия и требует дисциплины, сосредоточенности. Этот последний парадокс лучше всего сформулировал Эдмунд Берг: «Быть привязанным к своему окружению, любить тот небольшой круг, к которому мы принадлежим, – это и есть первое основание, зародыш общественных чувств». Эта мысль очень хорошо выражает одну из самых важных

составляющих британского консервативного кредо: всякое большое общество представляет собой мозаику, состоящую из сообществ, и именно в этих сообществах люди учатся гражданственности. Между гражданином и государством находится – и должна находиться – целая сеть промежуточных институтов, которые призваны защищать человека от произвола власти, подобно тому, как озонный слой атмосферы защищает Землю от космического излучения.

Кто по традиции с подозрением относился к этим промежуточным организациям, так это радикалы, левые. Но, конечно, не все радикалы. В Британии XX в., например, очень важная группа этих промежуточных организаций, а именно профсоюзы, была массовой базой Лейбористской партии. Это, однако, не смущает левых, во всяком случае доктринерствующих левых социалистов. И если не в делах, то в рассуждениях левые придерживались мнения, что промежуточные организации, если и не коррумпированы, то в любом случае склонны к коррупции. Известная книга Манкура Олсона «Взлет и падение нации» возлагает вину за экономический упадок Британии на эгоистичные и не заботящиеся о других промежуточные институты. Книга выдержана в традиции американского радикализма и близка к основной традиции радикализма британского. Но консервативная традиция Британии всегда рассматривала эти институты как питомники гражданственности и бастионы свободы, которые необходимо поддерживать и защищать, а если и вмешиваться в их дела, то только с большой осторожностью и определенным тактом. Именно поэтому Консервативная партия в Британии, в отличие от правых партий во многих других странах, так легко примирилась с укреплением позиций профсоюзов и даже частично инкорпорировала расширяющееся рабочее движение в систему политических организаций после Первой мировой войны. Более того, по крайней мере некоторые из этих промежуточных организаций неразрывно связаны с консервативной культурой, которая питала партию тори на протяжении многих десятилетий и даже веков. И все же частично из-за своего радикального популизма, а частично из-за своих патриотических, «англо-голлистских» амбиций, тэтчеризм предпринял длительный и мощный поход против целого ряда важных «прослоечных» организаций – не только против Би-Би-Си, профсоюзов и местных властей, но также и против университетов, включая старейшие университеты Оксфорда и Кембриджа, и даже, как иногда кажется, против Англиканской церкви.

Что случится с консервативной традицией, если эта атака продолжится и окажется успешной? Один высокопоставленный консерватор сказал недавно, что спор между оппонентами внутри кабинета министров закончился. Противников жесткого курса не осталось, они сдались. Все приняли имеющийся диагноз экономического положения, и все согласились с необходимостью горьких лекарств для лечения. Но, продолжал он, напряжение внутри правительства все же сохранилось. На сей раз водораздел в правительстве пролег между теми, чьим кредо является безусловный экономический либерализм, и теми, кто был готов сооружать барьеры на его пути во имя традиции, преемственности, поддержания духа нации. Кто же в конце концов победит? Ответить на этот вопрос, разумеется, нельзя, но у меня есть подозрение, что это будут традиционные старые добрые тори, а не жестокие радикальные тэтчеристы.

Фридрих ДЮРРЕНМАТТ

БЫТЬ ШВЕЙЦАРЦЕМ

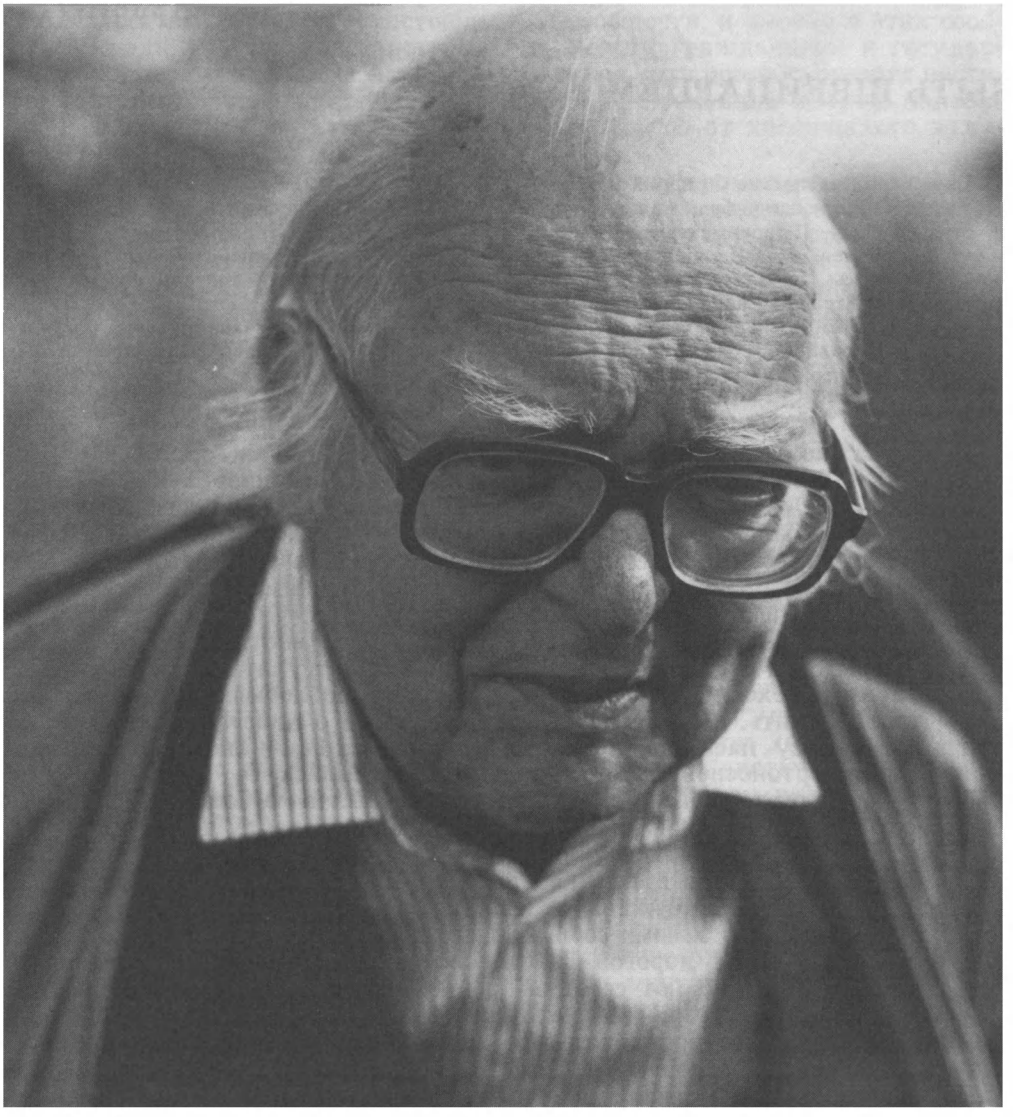
Свое семидесятилетие Фридрих Дюрренматт намеревался отметить вдали от Швейцарии, в дальней поездке – где-нибудь между Японией, Америкой и Гавайскими островами. Этот план не осуществился. Дюрренматт скончался 14 декабря минувшего года, не дожив несколько недель до юбилея. Уход Дюрренматта – болезненная потеря для европейской культуры наших дней. Его пьесы, проза и менее известная в СССР публицистика сделали его любимцем зрителей и читателей во всем мире.

Мы публикуем последнее выступление Дюрренматта – речь по случаю вручения президенту Чешской и Словацкой федеративной республики Вацлаву Гавелу швейцарской премии имени Готлиба Дутвейлера 22 ноября 1990 г. Перевод Б.Хазанова.

Многоуважаемый господин президент – дорогой Вацлав Гавел!

Некогда я принимал участие в акции протеста, организованной в Базельском городском театре в связи с вторжением войск Варшавского пакта в Чехословакию; было это в 1968 году. Свою речь я закончил такими словами: «В борьбе за справедливый мир человеческая свобода проиграла бой в Чехословакии – но не проиграла войну. Война с догматиками насилия, какую бы маску они на себя ни напялили – маску коммунизма, ультракоммунизма или даже маску демократии, – продолжается. Как надо вести эту борьбу в технически передовой стране, где нет возможности отступить в джунгли, показывает пример чехословацкого народа, который не мобилизует армию ради того, чтобы выжить, не разыгрывает героев эпоса о Нибелунгах и не прибегает к ответному насилию, но своим сопротивлением наносит насильникам удар такой смертоносной силы, какая нам и не снилась».

С тех пор прошло больше двадцати лет. Во Вьетнаме Соединенные Штаты не только проиграли войну, но и потеряли честь. Власть догматиков в Восточной Европе сломлена, ощетинившиеся друг против друга военные блоки стали ненужными, образ врага, которым они вдохновлялись, потерял смысл, и теперь уже обе сверхдержавы оказываются в возрастающей конфронтации не друг с другом, а с самими собой. Сопротивление же, избегающее насилия, нашло в Вашем лице, дорогой Гавел, своего представителя – президента Чехословакии. Вам вручают сегодня премию Готлиба Дутвейлера, человека, который у нас в Швейцарии является столь же популярной, сколь и спорной фигурой. Человек этот превратил свое крупное капиталистическое предприятие в кооператив и основал партию, принадлежащую к немногим, которые еще можно причислить к оппозиционным в нашей стране, хотя я понимаю, что надо быть осторожным с такими оценками: ведь есть же у нас, к примеру, некая авто-мото-партия, которая видит в автомобиле священный символ и считает себя поэтому тоже партией оппозиции. Вы, дорогой Гавел, получаете эту премию, как сказано в решении комитета, за то, что Ваше имя стало символом гражданского мужества, честности и терпимости к чужому мнению – этой неотчуждаемой основы свободного развития личности в демократическом государстве. Великолепная премия, истинно-швейцарская, – однако в некотором роде необратимая. Я не могу себе представить, чтобы Вы вручили какому-нибудь швейцарцу, отказавшемуся служить в армии, премию имени Вацлава Гавела за гражданскую доблесть, честность и... пардон, тут я чувствую, что споткнулся: в какой мере Вы были терпимы к режиму, против которого протестовали? Вы проявили терпимость, отказавшись выехать за границу, и предпочли отправиться в тюрьму. Этим Вы добились того, что режим рухнул, тогда как наши отказники от военной службы, гм, гм... Ви-



дите ли, мы, швейцарцы, – воинственный народ, на который вот уже двести лет никто не нападал, но мы будем защищаться, если кто-нибудь нападет, и в доказательство того, что мы-таки будем защищаться, народ сажает за решетку тех, кто готов проявить гражданское мужество и честность и заявляет, что не хочет защищаться, буде на него нападут. Правда, возможны кое-какие послабления в том случае, когда, по мнению военного трибунала, в дело замешаны религиозные убеждения; но если тут убеждения политические – вроде, например, Ваших, дорогой Гавел, тогда с отказавшимися от службы поступают по всей строгости закона, так же, как поступили с Вами в Чехословакии. Так что отказники от армии по политическим причинам – это наши швейцарские диссиденты. Они пока еще ничего не добились. Будучи швейцарцем, я не стану особенно хвастать боевыми победами; согласитесь и Вы, что войны гуситов под началом слепого вождя Жижки расшатали Евро-

пу; но еще раньше, более чем за сто лет до того, как Гус был во имя любви к Богу брошен в темницу и сожжен в Констанце, уроженец кантона Ааргау Рудольф Габсбург разбил со своими швейцарцами в бою под Дюрнкрутом 28 августа 1278 года чешского короля Оттокара II, а в 1526 г. Чехия окончательно подпала под владычество Габсбургов и почти четыреста лет оставалась вотчиной этой богатейшей швейцарской семьи, чьи поползновения вернуться из-за границы на родину мы победоносно отражали, – достаточно вспомнить сражения под Моргартеном и Земпахом. Если крах старого Клятвенного товарищества – Швейцарской конфедерации – в 1798 году привел к возникновению новой конфедерации, то благодаря Первой мировой войне возникла в 1918 г. современная Чехословакия. Оба государства – результат поражения. Мы – нашего собственного, Чехословакия – поражения Австро-Венгрии. Потом пришел Гитлер. В бернском соборе состоялось благодарственное богослужение, когда великие державы в 1938 году предали Чехословакию. Она не оказала сопротивления, сначала была оккупирована Судетская область, а затем из Чехии сделали протекторат, из Словакии – буферное государство. Встает вопрос, стала бы защищаться Швейцария, окажись она в таком положении. На вопрос этот нет ответа. Швейцария никогда не была в таком положении. Для чехов же попытка сопротивляться была бы смертельной, – вспомним хотя бы о Лидице. Чехам пришлось работать на Гитлера, а евреи были уничтожены с помощью газа.

Мы не подверглись нападению, но и мы были принуждены работать на Гитлера, и евреи, перед которыми мы закрыли нашу границу, тоже были убиты с помощью газа. После войны Чехословакия пала жертвой Сталина и выполняла волю его наследников. Вслед за ГДР и Венгрией в этой стране была пресечена попытка реформировать коммунизм, придав ему человеческий облик. Вы, Вацлав Гавел, пишете об этом в Вашем этюде «Событие и тотальность»:

«В пятидесятые годы у нас в стране существовали гигантские концентрационные лагеря, и в них сидели десятки тысяч невинных. А в это время на молодежных стройках толкались десятки тысяч энтузиастов новой веры, распевая строительные песни. Людей пытали и казнили, происходили драматические побеги через границу – и в это же время сочинялись гимны во славу великого диктатора. Президент республики подписывал смертные приговоры своим ближайшим друзьям, но этого президента, как ни странно, можно было увидеть на улице. С незапамятных времен песнь идеалистов и фанатиков, беснование политических злодеев и муки героев принадлежат к истории человечества. Пятидесятые годы были жестоким временем, но мало ли было таких времен в истории. И все-таки можно было как-то привязать их к истории, можно было сравнивать; все-таки они хоть как-то, но напоминали об истории. Не решусь утверждать, что в наше время ничего не произошло, что оно не знает событий. Основополагающий программный документ политической власти, утвержденный в Чехословакии после советского вторжения в 1968 г., назывался «Уроки кризисного развития». В этом было нечто символическое. Новая власть в самом деле кое-чему подучилась. Она сообразила, что произойдет, если хотя бы на щелочку приотворить дверь плюрализму взглядов и интересов: возникнет угроза для самой сущности этой тоталитарной власти. Усвоив этот урок, она плюнула на все, лишь бы сохранить себя. Все механизмы прямого и косвенного манипулирования живой жизнью, следуя какому-то внутреннему закону, стали вырождаться в доселе неведомые формы; ничто не должно было отныне быть предоставленным случаю. Последние девятнадцать лет в Чехословакии могут служить образцом перезрелого, позднетоталитарного режима: на смену революционной морали и революционному террору пришли тупая неподвижность, сверхбдительность и перестраховка, бюрократическая анонимность и безликий, бессодержательный стереотип, для которого единственным стимулом было

стремление стать еще абсурднее, чем он есть. Умолкли восторженные песнопения, утихли и стоны истязаемых; бесправие обзавелось шелковыми перчатками и переехало из пыточных подвалов в уставленные мягкой мебелью кабинеты бюрократов. Теперь увидеть президента республики можно разве только за пуленепробиваемыми стеклами бронированного автомобиля, в котором он проносится, сопровождаемый эскортом полиции, на аэродром, чтобы встретить дорогого гостя – полковника Каддафи. Позднетоталитарный режим опирается на столь совершенные, сложные и могучие институты манипулирования людьми, что не нуждается больше в убийцах и убийствах. И уж вовсе не нужны ему восторженные строители утопических замков, с их мечтаниями о светлом будущем, от которых только одно беспокойство. Термин «реальный социализм», который изобрела для себя эта эпоха, показывает, для кого в ней больше нет места: для мечтателей».

И когда Вы, Вацлав Гавел, ныне президент нового чехословацкого государства, рассказываете о Вашей собственной мечте, когда Вы говорите: «Может быть, меня спросят, о какой республике я мечтаю. Я вам отвечу: о республике независимой, свободной, демократической, экономически процветающей и социально справедливой, одним словом, о республике людей, республике, которая служит человеку и потому вправе надеяться, что и человек будет ей служить. О республике всесторонне образованных граждан, ибо без них не решить ни одной из наших проблем – человеческих, хозяйственных, экологических, социальных или политических», – так вот, когда Вы это говорите, многие швейцарцы воображают, что они живут в такой республике, живут во сне, который Вам снится, дорогой Вацлав Гавел. Вы драматург, и, прежде чем рухнул догматический режим, Вы представили действительность, среди которой Вы жили, в своих пьесах. Критики причисляют их к абсурдному театру. Для меня эти пьесы отнюдь не абсурдны, не бессмысленны; это трагически-гротескные пьесы, но гротеск выражает ту парадоксальную и нелепую ситуацию, которая возникает, когда идея, вроде бы и неглупая, как, например, идея коммунизма, – можно ли представить себе более справедливое общественное устройство? – претворяется в действительность. В конце концов, и христианство изначально вдохновлялось коммунистическими представлениями, а что из этого вышло? Человек все делает парадоксальным, превращает смысл в бессмыслицу, справедливость – в несправедливость, потому что человек сам являет собой парадокс, иррациональную рациональность. Вашему трагическому гротеску можно противопоставить гротескную Швейцарию – как некую тюрьму, не такую, конечно, как те, в которых побывали Вы, дорогой Гавел, но тюрьму, где нашли убежище швейцарцы. Ибо за пределами этой тюрьмы все ополчились друг на друга, и лишь в тюрьме можно чувствовать себя безопасно, в тюрьме на тебя никто не нападет; вот и швейцарцы чувствуют себя свободными, свободней всех остальных, – свободными узниками в тюрьме своего нейтралитета. Пожалуй, есть только одна трудность, а именно, доказать, что это не тюрьма, а бастион свободы, ведь для стороннего глаза тюрьма – это тюрьма, ее обитатели – узники, а кто в узах, тот не свободен. Свободными в этой тюрьме, опять-таки для внешнего наблюдателя, являются только надзиратели: будь они не свободны, они бы тоже были арестантами. Чтобы как-то выпутаться из этого противоречия, заключенные ввели всеобщую надзирательскую повинность: каждый узник, коль скоро он становится собственным надзирателем, доказывает этим свою свободу. Тем самым швейцарец обретает диалектическое преимущество: он одновременно свободный человек, узник и сторож. Эту тюрьму не нужно обносить стеной, заключенные сами себя сторожат, а так как сторожа к тому же еще и свободные люди, то они ведут выгодные дела между собой и со всем миром, да еще какие! Но так как они все же заключенные, то они не могут вступить в ООН, и заботы Европейского экономического сообщества тоже их не колышат.

Кто живет диалектически, терпит психологические невзгоды. Если тюремные сторожа – вместе с тем и узники, то у них может возникнуть подозрение, что они все-таки узники, а не сторожа, и вовсе не свободны. Поэтому тюремное начальство завело особое дело на каждого, кто, по мнению начальства, подозревает, что он не свободный человек, а узник, а так как такое мнение сложилось о многих, накопились горы дел. Причем выясняется, что эти нагромождения дел, в свою очередь, опираются на другие дела, столь же многочисленные. Но горы дел могут быть пущены в дело только, если кто-нибудь попадет в тюрьму. Никто, однако, на тюрьму никогда не нападал, и поэтому надзиратели, узнав о существовании дел, на них заведенных, внезапно поняли, что они сами сидят в тюрьме, сами – узники, то есть ощутили именно то, чего начальство не хотело допустить. Чтобы вернуть себе чувство свободы, почувствовать себя снова не арестантами, а стражниками, арестанты стали требовать от дирекции объяснений, кто завел на них дела. Но ведь это целые горы дел. И дирекция вынесла решение, что эти дела, так сказать, завелись сами. Там, где все ответственны, не ответственен никто. Горы дел порождены страхом, что тюрьма может оказаться местом, где не будешь чувствовать себя в безопасности. Страх не лишен оснований. Кто же захочет быть заключенным, если в тюрьме можно быть свободным? И вот эта тюрьма стала мировым аттракционом, стала привлекать к себе людей со всего мира, многие стараются в нее попасть и имеют право стать заключенными, если располагают нужными средствами, ведь в конце-то концов свобода есть нечто драгоценное, то есть дорогостоящее; а неимущих, которым, наверное, тоже хочется попасть в безопасное место, каковым тюрьма является для свободных заключенных, – тех просто отсылают прочь.

Словом, тюремному начальству не позавидуешь. С одной стороны, свободных заключенных слишком много, чтобы содержать тюрьму в чистоте, убирать роскошные камеры, коридоры, даже просто чистить решетки, так что приходится пускать в тюрьму посторонних, кто желает подзаработать, приходится нанимать людей для ремонта, всяких восстановительных работ, перестроек и так далее, причем те заключенные, которые, хотя они тоже зарабатывают, чувствуют себя свободными, смотрят на этих, несвободных, сверху вниз. С другой стороны, в каждой тюрьме положено кого-то сторожить, а если заключенные сторожат сами себя, то начинает распространяться подозрение, что эти стражники охраняют еще что-то или еще кого-то, кроме самих себя, и все больше укрепляется мнение, будто истинное назначение тюрьмы состоит не в том, чтобы стеречь арестантов, а в том, чтобы охранять банковскую тайну. Как бы то ни было, тюрьма процветает, причем ее гешефты настолько переплетены с гешефтами, которые ведутся за ее пределами, что задаешь себе вопрос, существует ли она в самом деле или уже превратилась в фантом. Чтобы все-таки доказать реальность этой тюрьмы, а заодно и собственную реальность, тюремное начальство выдает стражникам, которые караулят сами себя, миллиарды швейцарских франков на приобретение самоновейшего оружия, это оружие, естественно, устаревает, требуется новое, хотя вполне вероятно, что война, если она случится, будет означать гибель того, что собирались оборонять. Начальство лелеет мечту, будто стратегия Нибелунгов обеспечит безопасность в технизированном мире, где риск катастрофы непрерывно возрастает; а надо бы понять, что именно наша тюрьма – Швейцария – может позволить себе смелость уволить своих сторожей в бессрочный отпуск, полагаясь на то, что ее узники – вовсе не узники, а свободные люди, и это означало бы, что Швейцария больше не тюрьма, а часть Европы, один из ее регионов, ведь Европа, невзирая на шок, вызванный объединением Германии, хочешь не хочешь, а начинает распадаться на регионы.

Так что репутация тюрьмы изрядно пошатнулась. Тюрьма сомневается в самой себе. Дирекция старается все уладить законным образом и уверяет

всех, что никакого кризиса в тюрьме нет, заключенные свободны, если, конечно, это законопослушные заключенные, то есть послушные дирекции; сами же заключенные или многие из них, держатся другого мнения, а именно, что тюрьма переживает кризис, что заключенные не свободные люди, а заключенные; идет внутритюремная дискуссия, которая только сеет смуту, тем более что начальство собралось с помпой отпраздновать юбилей нашей тюрьмы, будто бы основанной семьсот лет назад, – хотя в те времена тюрьма вовсе не была тюрьмой, а представляла собой разбойничье гнездо. И теперь мы не знаем, что нам предстоит чествовать: тюрьму или свободу. Если тюрьму, то ведь тогда заключенные почувствуют себя заключенными, а если свободу, то тюрьма становится ненужной. Но так как у нас не хватает духу жить без тюрьмы, мы будем опять-таки праздновать нашу независимость, ибо в независимой тюрьме нашего нейтралитета все обстоит так, что снаружи не понять, узники мы или свободные люди. Войны и оккупации можно пережить и перебороть, хотя и ценой больших жертв, которых я никому не желаю, но Ваша страна, дорогой Гавел, – и не в последнюю очередь Вы сами – это доказали, тогда как мы, швейцарцы, с нашим сопротивлением, которое никогда не подвергалось испытанию, ничего такого не доказали и не доказываем. Это, знаете ли, интересное чувство – то чувство, которое владело мной, когда я набрасывал эту речь, и которое сейчас не оставляет меня. К этому чувству примешивается большая доля смущения, когда я думаю, что именно Вами, дорогой Гавел, будут козырять как доказательством того, что-де все в порядке в западном мире и нет ничего более великого, чем свобода. Слишком легко, слишком охотно утаивают то, о чем Вы пишете в Вашем эссе «Попытка жить в правде»:

«Не видно, чтобы традиционные парламентские демократии были способны предложить рецепт, как сопротивляться «самодвижению» технической цивилизации, обществу промышленного производства и потребления. Демократии сами тащутся на поводу, они сами бессильны. Вот только способ манипулирования людьми, к которому они прибегают, бесконечно тоньше и хитроумней, чем грубая хватка посттоталитарной системы. Но весь этот устойчивый комплекс заскорузлых, мировоззренчески близоруких и действующих исключительно по принципу сиюминутной целесообразности массовых партий, в которых всем заправляет профессиональный аппарат и которые освобождают гражданина от любой конкретной, личной ответственности, вся эта сеть незаметно и повсеместно осуществляющих свое влияние центров накопления капитала, этот вездесущий диктат потребления, производства, рекламы, коммерции, потребительской культуры, этот потоп информации, – все это описано и проанализировано не раз. Едва ли можно считать это достойной перспективой, едва ли человек сумеет на этом пути вновь обрести себя».

Полезно запомнить эти слова о нашей западной свободе, тем более что пришли они к нам из застенка догматического «реального социализма». Конечно, мы гордимся нашей прямой демократией, у нас есть социальное страхование в старости и при потере кормильца, мы даже сподобились, к удивлению всего мира, ввести у себя избирательное право для женщин; мы застрахованы – в приватном порядке – от смерти, от хворобы, от несчастного случая, от воров и от пожара: хорошо тому, у кого сгорит дом. Политика и у нас переместилась из идеологии в экономику, политические проблемы – не что иное, как экономические. Где государство вправе вмешаться, где нет, что следует субсидировать, что можно обложить налогом, а что нельзя, зарплата, рабочий день, словом, все на свете – решается путем переговоров. Мир грозит стать опаснее войны. Фраза жестокая, но отнюдь не циничная. Наши дороги – это поле битвы, воздушная среда открыта для ядовитых выхлопов, наши океаны стали нефтяными лужами, наши нивы отравлены пестицидами, Третий мир ограблен хуже, чем некогда Восток – крестоносца-

ми, неудивительно, что он нас теперь шантажирует. Не война, а мир – отец всех вещей, войну рождает мир. Вот проблема, которую мы должны решать: мир. Мир обладает фатальным свойством интегрировать войну. Движущей силой экономики свободного рынка является конкурентная борьба, хозяйственная война, война за рынки сбыта. Подобно Вселенной, человечество расширяется в результате взрыва, и мы не ведаем, каким станет мир, когда десять миллиардов людей будут населять Землю. Рыночная экономика функционирует под знаком свободы, но может быть, на смену ей придет плановая экономика, которая будет функционировать под знаком справедливости. Может быть, эксперимент с марксизмом был проведен слишком рано. А что может сделать отдельный человек? Что? – спрашиваете Вы, Вацлав Гавел. Индивидуум, личность – есть понятие экзистенциальное. Государство, его институты и формы экономики – общие понятия. Политика имеет дело с общим, а не с экзистенциальным, но, чтобы стать действенной, вынуждена обращаться к отдельному человеку. Человек – существо скорее иррациональное, чем рациональное, эмоции влияют на него сильнее разума. Политика пользуется этим. Только так можно объяснить победное шествие идеологий в нашем веке; апелляции к разуму бессильны, особенно если тоталитарная идеология сама маскируется под разум. Человек должен уметь отличать человечески-возможное от человечески-невозможного. Общество не может быть справедливым и свободным, оно может быть только более свободным и более социальным. То, что индивидуум вправе, и не только вправе, но и обязан делать, – этого потребовали Вы, Вацлав Гавел, Вы потребовали человеческих прав, насущного хлеба для каждого, равенства перед законом, свободы мнений, свободы собраний, гласности, отмены пыток и так далее; все это – не утопия, но нечто само собой разумеющееся, это атрибуты человека, знаки его достоинства, права, которые не насилуют личность, но позволяют ей вести совместную жизнь с другими индивидуумами, ибо права суть выражение обоюдной терпимости, правила дорожного движения, грубо говоря. Только права человека экзистенциальны, между тем как любая идеологическая революция норовит их похерить и взывает к «новому человеку». Кто только не требовал создать нового человека!

Дорогой Вацлав Гавел. Как президент государства Вы ставите перед собой те же задачи, какие стояли перед Гавелом-диссидентом. Многоуважаемый господин Президент, Вы здесь среди швейцарцев. Вас приветствовали швейцарцы, Вас принимал швейцарский Федеральный президент, в Вашу честь произнес вступительное слово старейшина Федерального совета, наконец, я, швейцарец, тоже сказал речь. В Швейцарии любят поговорить. Что за люди мы, швейцарцы? Когда судьба тебя щадит, это не позор и не слава, но это – мене-текел, надпись, которую увидел на стене Валтасар. В последней книге «Государства» Платон рассказывает, что после смерти душа каждого человека должна тянуть жребий, чтобы узнать свою будущую жизнь. «Вышло так, что душа Одиссея была последней и вышла вперед, чтобы вытащить свой жребий. Помня прежние мытарства, она утратила всякое честолюбие и долго ходила вокруг. Ей хотелось вытянуть жизнь спокойного, сторонящегося суеты человека, и она нашла-таки одного такого, который лежал никем не замеченный. И когда она открыла свой жребий, то сказала, что если бы она получила право первой тянуть жребий, она поступила бы так же». Я уверен: жребий, который вытянул Одиссей, – быть швейцарцем.

К У Н Миклош (Будапешт)

БУХАРИН ПРОТИВ ОППОЗИЦИИ

Эпизоды внутрипартийной борьбы в ВКП(б) в середине 20-х годов

Сейчас в Советском Союзе усиленными темпами создается миф о Николае Бухарине как чуть ли не о духовном предтече Горбачева и других «архитекторов перестройки». Между тем, вопреки широко распространенному мнению, именно Бухарин вместе со Сталиным был главным гонителем «ленинградской» (конец 1925 – начало 1926 г.), а затем и «объединенной» (середина 1926 – конец 1927 г.) оппозиции. На XIV съезде ВКП(б) Бухарин выступил в роли идеолога «генеральной линии» партии. Бухарин и Сталин стали прямо-таки дуумвирами большинства в руководстве ВКП(б). И дело не ограничилось теорией. Бухарин самым активным образом принял участие в «венчании на царство» в Ленинграде Сергея Кирова, а ближайшее окружение Бухарина практически взяло под контроль центральные партийные издания.

Опытный политик Лев Троцкий расписался в собственной наивности, пытаясь весной 1926 г. перетянуть Бухарина на свою сторону. Для Бухарина к тому времени давно уже не было союзника ближе, нежели Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин. Хотя Троцкий со товарищи в апреле 1926 г. пытались встать на пути у Сталина, заключив союз с возглавляемой Зиновьевым, Каменевым, Крупской и Сокольниковым объединенной оппозицией, игра была проиграна в первые же минуты: костяк партийного аппарата и карательные органы находились в руках у Сталина, идеологией же ведал почти исключительно Бухарин.

Летом, а особенно осенью 1926 г. Сталин уже почти не скрывал своего стремления установить единоличную диктатуру. Правда, со стороны казалось: Николай Бухарин и Алексей Рыков по своему влиянию все еще ненамного уступают Генеральному секретарю, тем паче, что с осени 1926 г. Бухарин возглавил Коминтерн. Однако он не стал председателем Исполнительного комитета III Интернационала, как в свое время Зиновьев. Формально Бухарин считался лишь одним из секретарей ИККИ, правда, самым влиятельным.

После очередной массированной атаки на «объединенную» оппозицию советская делегация отозвала Зиновьева и всех его сторонников из аппарата Коминтерна, а Троцкий и Каменев потеряли свои посты в Политбюро. На созванном впопыхах октябрьском пленуме Центрального Комитета огромное большинство проголосовало за эти «оргвыводы». Бухарин на этом пленуме составил заявление, обязывающее оппозиционеров беспрекословно сложить оружие, а во время дискуссии внес еще и поправку, осуждавшую оппозицию за «нарушение постановления съезда (XIV) о недопустимости всесоюзной дискуссии».

В последующие за октябрьским пленумом месяцы отношения между сторонниками «генеральной линии» и объединенной оппозиции только ухудшились. Совершенно по-разному продолжали оценивать они контакты между советскими и английскими профсоюзными лидерами. Диаметрально противоположно подходили обе фракции и к положению в Китае, причем вплоть до

Кун Миклош – профессор кафедры истории Восточной Европы Будапештского университета им. Этвеша. Автор многочисленных статей и книг, в том числе монографии о Н.Бухарине (1987). Обращаем внимание читателей, что в венгерском языке (как и в китайском, корейском, вьетнамском) фамилия предшествует имени. Поэтому правильно: Кун Миклош, Мао Цзедун и т.д.

конца 1927 г. Троцкий и Зиновьев считали, что Бухарин несет большую ответственность, чем Сталин, за тяжелое положение, в котором оказались китайские коммунисты из-за помощи, оказываемой Советским Союзом Чан Кайши.

Еще в конце весны 1926 г. либо в самом начале лета объединенная оппозиция организовала конспиративный центр, возглавляемый Троцким и Зиновьевым. Большую роль играл в нем Ивар Смилга, на квартире которого проходили заседания центра. На заседаниях иногда присутствовали и активисты из Ленинграда, Киева, Харькова, Свердловска, словом, из тех городов, в которых были организованы подобные же местные центры.

Вслед за созданием конспиративного центра противники сталинско-бухаринской линии начали следовать старой, апробированной тактике российского подполья – вести агитацию на частных квартирах.

В разных концах Москвы и Ленинграда проходили тайные собрания рабочих, работниц, студентов, собиравшихся в числе от 20 до 100 и 200 человек, для того чтобы выслушать представителей оппозиций, – вспоминал Лев Троцкий в своей книге «Моя жизнь». – В течение дня я посещал два-три, иногда четыре таких собрания. Они проходили обычно на рабочих квартирах... В общем на этих собраниях в Москве и Ленинграде перебывало до 20 000 человек. Приток возрастал... В конце концов Центральный Комитет выпустил воззвание к рабочим о необходимости разгонять собрания оппозиции силой. Это воззвание было только прикрытием для тщательно подготовленных нападений на оппозицию со стороны боевых дружин под руководством ГПУ. Сталин хотел кровавой развязки.

Стремился ли Бухарин к подобной развязке? Пожалуй, нет, учитывая его нерешительность и довольно мягкий характер. Но на практике редактируемая Бухариным «Правда», несомненно, готовила «кровавую развязку», нагнетая донельзя атмосферу и печатая перехваченные карательными органами частные письма «большевиков-ленинцев». Вся партийная пресса, особенно московская и ленинградская, которую контролировали ученики Бухарина, подстрекала направляемые Менжинским, Ягодой, Аграновым и молодым партработником Георгием Маленковым «боевые дружины» к расправе с оппозицией. А эти «дружинники» регулярно нападали на оппозиционеров в рабочих кварталах и в студенческих общежитиях.

Вот что пишет Михаил Нильский:

...Зловещую роль сыграл Маленков в ходе борьбы с троцкистско-зиновьевской оппозицией среди студенчества Москвы в 1927 году. Являясь прямым исполнителем указаний Сталина, он организовал многочисленные шайки из партийно-комсомольского хулиганья. Специально натасканные Маленковым и снабженные палками, камнями, старыми галошами, тухлыми яйцами и т.д., эти шайки, именуя себя «рабочими дружинами», срывали дискуссионные собрания, забрасывали выступавших оппозиционеров камнями, галошами и т.д., разгоняли их собрания, орудуя палками. Разнузданность этих «защитников генеральной линии партии» не имела границ. Они не постеснялись забросать камнями и в кровь разбить голову многолетнему члену ЦК и соавтору «Азбуки коммунизма» Евгению Преображенскому во время его публичного выступления.

Отчаявшись довести легальным путем свои взгляды до общественности, лидеры «объединенной оппозиции» после небольшого перерыва в первые месяцы 1927 г. особенно активно принялись за организацию нескольких небольших подпольных типографий в Москве, Ленинграде и Харькове. Молодые активисты приобрели, якобы для заводских комсомольских многотиражек, ротаторы, краску и закупили в аптеках большое количество глицерина. Дело было знакомое и казалось несложным, ведь направляющие молодежь «старики» имели опыт царского подполья. Однако агенты ОГПУ действовали гораздо оперативнее сотрудников жандармского управления.

В августе 1927 г. в газетах появилось извещение об исключении из партии Евгения Преображенского и Леонида Серебрякова, а также двух известных уральских партийных деятелей – Мрачковского и Воробьева. Средний

стаж их участия в рабочем движении превышал 20 лет. Все четверо были в свое время известными троцкистами. Примкнув к «объединенной» оппозиции, они поддержали основное обвинение Зиновьева и Каменева в адрес «генеральной линии» – отход от «ленинских традиций».

Е.Преображенский в письме XV съезду партии, озаглавленном «За что нас исключили?», изложил требования «объединенной оппозиции» и перечислил испытываемые ею репрессии:

За что мы исключены, если ставить вопрос политически и социально, – т.е. ставить его единственно правильным образом? Почему наши требования сделались «нелегальными» для существующего в партии режима?

Мы требуем увеличения ассигнований на капитальное строительство. Значит, мы исключены, как сторонники более быстрой индустриализации страны.

Мы требуем более быстрого увеличения заработной платы рабочим, улучшения охраны труда и т.д. Значит, мы исключены за борьбу за улучшение быта рабочих...

Мы требуем решительной борьбы с бюрократическими извращениями советского аппарата, против превращения бюрократов – партийных, советских и профсоюзных – в замкнутый привилегированный слой, оторванный от рабочей массы. Мы исключены, следовательно, за требование настоящей рабочей демократии...

Мы требовали, одним словом, изменения оппортунистической линии ЦК в ряде вопросов внешней и внутренней политики и по крайней мере среднего социалистического ремонта государственного и партийного аппарата от накопленных в нем бюрократических извращений, замедляющих движение вперед к коммунизму.

За это мы исключены из партии.

Осенью 1927 г. письмо Преображенского распространялось в рукописи в кругу московской университетской молодежи. В тогдашнем самиздате довольно большой популярностью пользовалась и статья В.Емельянова и Хоречко, озаглавленная «Наш ответ Слепкову». Александр Слепков был самым близким учеником Бухарина. Если Преображенский критиковал высших партийных бонз, в первую очередь Сталина и Бухарина, стоявших у кормила власти и натравливавших на оппозицию членов ЦКК и агентов ОГПУ, то Емельянов и Хоречко решили дать отпор среднему звену сторонников «генеральной линии»:

Полемика с оппозицией занимает такое огромное место в партийной жизни, что выработались даже «спецы» по «разносу» оппозиции, во главе которых стоит «бухаринская школа» в лице Марецкого, Стецкого, Слепкова и др. При появлении каждого оппозиционного документа, речи или статьи, эти «спецы» получают заказ на разнос, статья или документ дается им на «проработку» и появляется в печати (если только появляется) не иначе, как в сопровождении «противоядия», составленного кем-нибудь из этих спецов. Излюбленными приемами в этих случаях являются выдергивание мыслей автора путем злостных и недобросовестных толкований, а подчас и прямая фальсификация цитат. Что делать, ежели разнос оппозиции превратился в специальность «молодых» теоретиков «бухаринской школы», ежели они обязаны непременно опровергать все, что бы ни написала оппозиция.

Емельянов и Хоречко оказались правы в главном: партийная пресса, в которой ученики Бухарина занимали ключевые позиции, упрямо замалчивала данные об ухудшении жизненного уровня промышленных рабочих. Участники бухаринской «школы» отрицали и тот общеизвестный факт, что во второй половине 20-х годов деятельность ОГПУ в значительной степени была перенесена на фабрики и заводы. Поэтому число арестованных рабочих непомерно увеличилось.

На те же общественные катаклизмы указывают и авторы обращения от 6 сентября 1927 г. в Политбюро ЦК ВКП(б), в Президиум ЦКК и в Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала – Троцкий, Зиновьев, Н.Муралов и А.Петерсон. Лишь тяжелой атмосферой фракционной борьбы можно объяснить, почему большинство сентябрьского объединенного Пленума ЦК и ЦКК 1927 г. отмахнулось от фактов, перечисленных в письме: господство

клики на партийных собраниях, площадная брань со стороны членов ЦК (сторонников «генеральной линии»), снятие «инакомыслящих» с работы, их ссылка на периферию и высылка за границу под видом назначения на дипломатические и внешнеторговские посты. Кто бы мог подумать тогда, что это еще золотые времена. Вскоре оппозиционеров станут ссылать не в Париж, а в Сибирь, помещать в изоляторы, подвергать пыткам, арестовывать, высылать их родных и близких.

Отправив обращение к высшему советскому и международному партийным форумам (формально тогда еще считалось, что соответствующие инстанции Коминтерна стоят над Центральным Комитетом любой коммунистической партии), лидеры «объединенной» оппозиции приступили к работе над другим, более обширным фракционном документом. Это был «Проект платформы большевиков-ленинцев (оппозиции) к XV съезду ВКП(б)». Над первоначальным текстом платформы, выразительно названной «Кризис партии и пути его преодоления», трудился целый коллектив авторов. В проекте платформы подробно излагались трудности в экономике Советского Союза, подчеркивалось, что «торговый аппарат, государственный, кооперативный и частный съедает громадную долю народного дохода: больше одной десятой валовой продукции», а «ножницы сельскохозяйственных и промышленных цен еще более раздвинулись за последние полтора года».

По мнению авторов, «*группа Сталина* ведет партию вслепую». Однако основную опасность лидеры оппозиции по-прежнему видели не в появлении нового класса – партийно-государственной бюрократии, а в неправильной аграрной политике «генеральной линии». «Ссылками на ленинское маневрирование она (группа Сталина–Бухарина. – *М.К.*) прикрывает беспринципные метания из стороны в сторону, неожиданные для партии, непонятные ей, разлагающие ее. «Классическими» образцами подобных маневров Сталина–Бухарина–Рыкова... являются... внутри страны – их политика с кулаком». Правда, вслед за этими несуразными выводами прозвучала – в столь резкой форме впервые в истории внутрипартийной борьбы – истина, актуальная и в наши дни: «...У нас рабочее государство с бюрократическими извращениями. *Разбухший и привилегированный управленческий аппарат проедает очень значительную часть прибавочной стоимости*» (курсив наш. – *М.К.*).

Троцкий, Зиновьев и другие авторы-составители решили размножить проект программы типографским способом. За это взялись в начале сентября 1927 г. несколько бывших военных, лично знакомых Троцкому еще по фронтам гражданской войны: Мрачковский, Грюнштейн и Охотников. Техническую сторону дела взял на себя старый типограф Михаил Фишелев. Вот как описывал его в лагере Михаилу Нильскому оставшийся безымянным московский печатник:

> Фишелев был директором образцовой типографии в Москве, которая нелегально напечатала платформу оппозиции..., а я был наборщиком и участвовал в этой работе. Да, это была работенка..., и никакой там стахановщины и социалистических соревнований, а труд был подлинно социалистическим. День и ночь, день и ночь! Обложку дали невинную: Д.Фурманов, «Мятеж», а внутри – платформа оппозиции. Всю ночь без перекура и без отдыха. И Фишелев здесь же. «Вы бы отдохнули», – говорили ему. «Потом там, на Лубянке, отдохнем», – отвечает, улыбаясь.

Однако всех инициаторов и исполнителей акции прямо-таки обложила агентура ОГПУ. В объединенном троцкистско-зиновьевском фракционном центре с самого начала участвовал провокатор-осведомитель (а то и не один). Имя этого человека нам известно, но мы готовы обнародовать его лишь после знакомства с (недоступными пока) архивными документами.

Согласно официальному заявлению специализировавшихся к середине 20-х годов на борьбе с оппозицией соответствующих органов, «была обнаружена нелегальная типография, печатавшая запрещенные партией антипартийные документы оппозиции. ОГПУ считало своим долгом эту литературу отобрать

и... арестовать всех замешанных в этом деле беспартийных. Ввиду особого характера дела... и необходимости совершенно спешного расследования, ОГПУ вынуждено было без промедления провести обыск и у... партийных...

Ввиду того, что показания арестованных беспартийных подтвердили наличие группы, ставящей своей целью организацию... военного заговора, следствие по этому делу продолжается».

Подобного рода обвинения в адрес оппозиции уже «витали в воздухе».

...Внутрипартийная оппозиция является величайшей трагедией для нее самой, *ибо она перешла рамки не только партийной легальности, но и советской легальности,* – информировал Бухарин на собрании актива ленинградской организации ВКП(б) 26 октября 1927 г. хорошо подобранную верными «генеральной линии» местными партократами аудиторию (лидерам бывшей «ленинградской», а к тому времени уже «объединенной» оппозиции так и не удалось проникнуть на заседание). – Она поступает не только нелояльно по отношению к партии, то есть не подчиняется партийному большинству, не подчиняется решениям партийного съезда, плюет на решения Коминтерна и т.д., но она идет еще и дальше, когда берет обложку покойного пролетарского писателя Фурманова и под этой обложкой, *обманным путем,* печатает свою платформу на казенные деньги, обманывая наши хозяйственные органы. Во-первых, Фурманов не давал мандата использовать его, покойника, для оппозиционных делишек. Это просто не особенно порядочно по отношению к умершему товарищу. (Смех.) С другой стороны, разве это не есть нарушение советских законов? Это есть нарушение советских законов. А что такое советский закон? Советский закон, если у нас есть пролетарская диктатура, это есть закон пролетарской диктатуры. Что такое нарушение законов пролетарской диктатуры? Нарушение законов пролетарской диктатуры есть *ломка пролетарской диктатуры.* Одно из двух – или пусть оппозиционные товарищи выйдут и открыто скажут: мы не верим, чтобы у вас была сейчас пролетарская диктатура в стране! Тогда пусть они на нас не гневаются, если мы им скажем, что тогда гнусным лицемерием является ваше заявление о том, что вы желаете защищать такую страну от внешнего врага. Если у нас нет пролетарской диктатуры, тогда рабочему-революционеру не для чего защищать такое государство, тогда его надо свергать, пользуясь вторжением внешнего врага. Если вы говорите, что вы желаете защищать наше государство, что у нас есть пролетарская диктатура, тогда вы должны нам объяснить: каким образом человек, стоящий на точке зрения, что у нас есть пролетарская диктатура, осмеливается ломать законы пролетарской диктатуры?

Согласно документам, сохранившимся в архиве Льва Троцкого, дело оппозиционеров рассматривалось сначала Контрольной комиссией Московской партийной организации. В тот же день, 27 сентября 1927 г., поздно вечером в здании Коминтерна под председательством Николая Бухарина проходило заседание Исполнительного Комитета Коминтерна. Собравшиеся вывели из состава Исполкома III Интернационала Льва Троцкого и одного из бывших лидеров Коммунистического Интернационала молодежи югослава Войю Вуевича. Попытавшиеся открыть глаза участникам заседания на произвол, царящий в рядах ВКП(б), «изгоняемые из хлева» Троцкий и Вуевич натолкнулись на полные злобы к «уклонистам» доводы Бухарина. Примечательно, что Бухарин, руководитель Коминтерна на «бухаринском» его этапе, пользовался в своем выступлении точно теми же выражениями, которыми десять лет спустя заклеймят и его самого: «Вы это выдумали со специальной целью – вносить меньшевистскую отраву в ряды Коммунистического Интернационала», «так могут говорить только политические шулера» и т.д.

Обвинительная речь Николая Бухарина была проникнута желанием опровергнуть «домыслы» оппозиции о том, что на Старой площади, тайно от масс, принимают решения, непосредственно затрагивающие жизненные интересы трудящихся. Чувствовалось, что Бухарин крайне недоволен тем, что ораторы оппозиции обнародовали секретные сведения о возможной частичной отмене Советским правительством монополии внешней торговли.

Я утверждаю, что во всей истории нашей партии ни разу и никогда никакая группа, никакая фракция не боролась таким отравленным оружием, каким вы боретесь по этому вопросу с нашей партией и Коминтерном, – начал Бухарин «спор» со своими оппонентами. – Оппозиция отлично

знает, что это выдумано ею же от начала до конца, что она сознательно *лжет* по этому пункту. Больше того, вы по этому пункту осмеливаетесь сейчас открыто выступать в этом клеветническом духе, ваши сторонники сейчас выступают на каждом собрании в каждой ячейке по этому вопросу.

(Троцкий с места: «Мы ведь кучка интеллигентов».)

Вы понимаете «кучку» слишком простецки. Десяток-другой, даже сотню-другую интеллигентов вы наберете. Но по сравнению с миллионной партией это «кучка». Оппозиция выступает сейчас с такого рода речами перед рабочими: «вас ведь не спросили», «нужно сейчас спросить рабочую массу, сколько мы можем платить, иначе это будет распродажа Советской страны». Вы знаете отлично, что мы были бы последними предателями пролетарской диктатуры и рабочего класса, если бы мы *заранее* выносили на улицу наши намерения, открыто заявляя, *какое* количество червонцев, франков или долларов, *кому, в какой момент* и *за что* мы готовы заплатить. Вы отлично знаете, что такой способ был бы равновелик выдаче военных секретов нашему противнику. Тем не менее вы бросаете в массы этот «аргумент», потому что вы уже ничем *не гнушаетесь*; потому что вы *ни перед чем* не останавливаетесь, чтобы только навредить нашей партии в тяжелой обстановке, которую мы имеем. И после этого вы выходите здесь и с «невинным» видом «чистосердечия», «возмущения» и «негодования» против нас, с «ясным лбом» осмеливаетесь говорить о своей искренности! Нужно потерять всякие остатки пролетарской совести, чтобы выступать *с такими* обвинениями и писать *такие* платформы.

Год спустя Бухарин сам пойдет (хотя и не до конца) на разрыв отношений со Сталиным и попытается одновременно «навести мосты» со своими недавними противниками Каменевым и Зиновьевым. Но в сентябре 1927 г. ради защиты совместной со Сталиным линии Николай Бухарин готов был смешать «уклонистов» с грязью:

Для вас *нет* Коммунистического Интернационала, а есть Сталин, в лучшем случае Сталин и Бухарин, а остальные – это *наемники*, которые выполняют решения Политбюро и Оргбюро. Какое вам дело до этого? Зачем вам копаться в решениях Коминтерна? А есть такая известная французская поговорка: «Клевещи, клевещи, что-нибудь да останется». Вот это и есть знамя, с которым «честные», «лояльные», «джентльменские», «негрубые», «замечательно искренние» и т.п. оппозиционеры отправляются маршировать в поход против нас. На что все это похоже?

Но позвольте, дорогие товарищи, – не знаю уж как вас называть теперь! – если все для вас настолько негодно и жалко, если вы считаете все решения настолько несерьезными, что не хотите им подчиняться, то мы вас спрашиваем – зачем же *вы остаетесь в этом Коминтерне?* – продолжал Бухарин совсем в сталинском духе. – Я представляю себе вполне такую позицию: ВКП подменили, она стала негодной партией, в ней идет процесс термидорианского перерождения и пр., Коминтерн – это наемный сброд *при* ВКП. Во главе ВКП стоит бонапартистский диктатор Сталин. Вы ведете отчаянную борьбу и плюете на все решения и пр., потому что, по сути дела, вы находитесь *во враждебном окружении.* Но отсюда надо было делать и соответствующие выводы. Если это так, извольте применить известный, очень элементарный, с точки зрения ленинизма, политический принцип, который гласит, что в оппортунистической политической партии коммунисту быть нельзя.

Вы говорите, что мы бонапартисты.

(Троцкий: «Неверно».)

Если вы кричите, что это неверно, то тогда вы действительно жалкие комедианты, которые бросают в массы вещи, о которых потом сами говорят, что они неверны. А если это неверно, то мы вас в упор спрашиваем: скажите, пожалуйста, вы обязаны *тогда* подчиняться решениям, установленным инстанциями нашей международной организации? Что-нибудь надо же иметь за душой! Вы стоите на позиции старого дворянина, целиком стоите. Тов. Троцкий рассуждает так: моей левой ноге хочется сделать так-то, *поэтому я* подчиняюсь желаниям своей правой ноги и делаю по-своему. «Захочу – полюблю, захочу – разлюблю». Я подчиняюсь тогда, когда захочу! Так нельзя. Надо подчиняться всегда. Можно сколько угодно смеяться, но факт остается фактом: для вас резолюций Коминтерна *не существует.* Они все, по вашему мнению, «жалки», и на основе того, что они «жалки», вы им *не подчиняетесь.*

Но тут начинается новое: вся беда, что резолюции свои проводят Сталин и Бухарин, а не Троцкий и Зиновьев. Попробуйте-ка проводить *свои* резолюции! Разве эти пути были вам заказаны? Зиновьев недавно хвастался, что в Германии чуть ли не миллионы идут за ним, а *действительность?* 364 голоса против 19 000 на родине Урбанса[1]! А в СССР вы получите еще более сокрушительный отпор. Массы против вас – вот в чем дело.

[1] Гуго Урбанс – один из самых известных деятелей немецкого коммунистического движения, вождь гамбургского вооруженного восстания 1923 г., сторонник Зиновьева.

В выступлении Бухарина 27 сентября 1927 г. на президиуме Исполнительного Комитета Коминтерна, как в капле воды, отражается его эволюция – от сторонника демократической партийной дискуссии эпохи эмиграции к достаточно жесткому политику, готовому любыми средствами «заткнуть глотку» своим оппонентам. Бухарин даже принялся «стыдить» Троцкого, обвиняя его в отказе автоматически подчиниться большинству:

«На предпоследнем съезде нашей партии, когда партия приперла т. Троцкого к стенке, он заявил: «Wrong or right – my party» («Права или не права, но это – моя партия»)[1]. Партия может ошибаться, но я, как солдат, стою перед этой партией с руками по швам. Он это заявлял, но в то же время делал совсем иное. Потом были заявления 16 октября (1926 г.) и 8 августа (1927 г.), когда он уже не говорил: «Wrong or right – my party», но принужден был капитулировать. А теперь, по-видимому, он не говорит этого. Быть может, потому, что нужно вместо «моя» поставить другое местоимение. Нужно спросить Троцкого, почему он сейчас не стоит, как солдат, руки по швам перед партией, почему он сделал такой поворот?

(Троцкий: «Вы сжимаете за горло партию».)

Мы обладаем такими странными свойствами, что всю партию околпачиваем, а «страстотерпцы за идею» никак свою истину провести не могут. На этой основе и получается своеобразная троцкистская логика. Нам бросают обвинение в бонапартизме. Получается смехотворная вещь, трагическая в своей смехотворности. Между тем, партия идет за нами, Коминтерн идет за нами, миллионы идут с нами – и *это* называется «бонапартизмом»!

Настоящие партийцы и друзья партии – это те, которые выступают против всей партии, а не те, за которыми идет вся партия, те враги партии. Кучка, которая устраивает нелегальные типографии против партии, – это настоящие *идейные партийцы*, а кто с этим борется, те являются *бонапартистами*. Совершенно естественно, почему все у оппозиции так получается, почему логика становится здесь дыбом. Исходные предпосылки ее совершенно противоречивы и никуда не годятся. Мы все отлично чувствуем и отлично сознаем, что переживаем сейчас очень серьезный момент с точки зрения отношения к оппозиции во главе с т. Троцким. Троцкий от позиции: «права или неправа партия, все равно это моя партия», «я стою, как солдат, перед ее решениями и жду, борюсь за свои взгляды, и если получу большинство, то буду проводить свою позицию», – от этой позиции он теперь отошел, солидаризуясь с письмом т. Зиновьева, который говорит, что нелегальные типографии допустимы, и с Преображенским, который дошел до «наивности» и говорит нам: «Возвратите нам нашу технику».

(Троцкий: «И правильно говорит. Он двумя головами выше вас».)

Не острите. Он большого роста, я с этим согласен, а вы еще выше. Однако ваши неудачные остроты ни капельки не могут разбить мои аргументы по существу. Итак, здесь все перевернуто вверх ногами. В этом взгляде на партийную дисциплину, на Коминтерн все совершенно искажено и ничего общего ни с марксизмом, ни с ленинизмом не имеет. Вы были, есть и пребудете маленькой кучкой в рабочем движении».

Николая Бухарина настолько глубоко задела реплика Троцкого, что он снова вернулся к данному сюжету, да еще и притянул письма Зиновьева и Преображенского о налете агентов ОГПУ на «подпольные типографии». Полина Виноградская (секретарь платформы «большевиков-ленинцев») рассказывала, что ее муж, Евгений Преображенский, перестал здороваться с Бухариным после его выступления на пленуме ИККИ. Но в 1927 г. Бухарина, видимо, не очень-то интересовало мнение Троцкого либо Преображенского. Для Бухарина главным было доказать зарубежным коммунистам ничтожество русской оппозиции. Убедить собравшихся в том, что Троцкий, Зиновьев и их сторонники связались с белогвардейцами. (А сколько раз самому Бухарину впоследствие придется выслушивать подобные обвинения!)

...Вы утверждаете, что *оппозиционные товарищи* встретились с врангелевским офицером. Вы говорите, что его подсылали *оппозиционным товарищам*. Но ведь к этому бывшему врангелевскому офицеру, который действительно был агентом ГПУ, к нему обращались *беспартийные*, вы должны это знать, если читали хотя бы какие-нибудь документы. Я вам могу передать еще и то, что я знаю. За последнее время, начиная с расстрела 20, который мы произвели, после

[1] Перифраз английской пословицы: wrong or right, my country.

этих расстрелов, во время обысков, которые были в большом количестве произведены, была вскрыта масса группок, которые называли себя «истинно русскими сторонниками молодежи», «борцами за справедливость», были вскрыты всевозможные другие организации, часть которых, нося белогвардейский характер, писала, что она поддерживает оппозицию.

И снова от слов Бухарина повеяло леденящим дыханием смерти. Весь абзац прямо-таки построен на логике «большого террора».

Солидаризация враждебных нам сил с оппозицией ставит ту проблему, которая выдвигалась нами не раз, – проблему «*третьей силы*», – продожает Бухарин. – Не так давно была открыта одна крупная террористическая организация; *открывают* ряд таких организаций при помощи тех, кого вы называете «агентами ГПУ». Правильно ли пользоваться такими методами или неправильно? Я думаю, что для всякого большевика и сторонника пролетарской диктатуры этот метод нужно считать *совершенно правильным.*

Зарубежная коминтерновская аудитория не разбиралась в таких нюансах, и Бухарину удалось внушить своим слушателям, будто вождь Красной Армии времен гражданской войны Лев Троцкий и лишь недавно смещенный с поста председателя Президиума ИККИ Григорий Зиновьев связались с белогвардейскими офицерами. Исключение из состава Исполкома Коминтерна Троцкого и Вуевича было предрешено заранее. Но выступая с высокой трибуны, Бухарин сделал вид, что решать это придется присутствующим в зале членам ИККИ, а он всего лишь «заступается» перед общественностью Коммунистического Интернационала за «доброе имя» сторонников «генеральной линии». Всего несколько месяцев спустя тот же Бухарин горько раскается в том, что подобными выступлениями он облегчил Сталину путь к диктатуре.

Приближалась десятая годовщина Октябрьского переворота.

В Москве, Ленинграде, в провинции один за другим выходили различного рода юбилейные исследования и сборники. Но в этих книгах лишь изредка и походя упоминались имена Троцкого, Зиновьева, Каменева, Пятакова, Преображенского, Ивана Смирнова, Евдокимова, Залуцкого и многих других большевиков, сыгравших ключевые роли в 1917 г., а в 1927-м входивших в объединенную оппозицию.

В год десятилетия Октября экзекуции подверглись отнюдь не только события прошлого. Усилилась травля бывших кадетов, эсеров, меньшевиков, бундовцев, объявленных скрытыми либо потенциальными врагами советской власти. И, наконец, пришел черед для интенсификации борьбы с недовольными «генеральной линией» коммунистами. Единогласным постановлением Политбюро ОГПУ получило право проводить в их среде повальные обыски и заключать инакомыслящих большевиков в политизоляторы (так именовались стыдливо в середине 20-х гг. тюрьмы старого режима). Бухарину же как идеологу партии поручили разъяснять причины жестких гонений.

Как дожила оппозиция до жизни такой, что она нарушает не только устав партии, но и законы пролетарской диктатуры, т.е. ломает некоторые балки пролетарской диктатуры, так что получается щель, в которую противники наши полезут с превеликим удовольствием? – вопрошал Бухарин, выступая на собрании актива ленинградской парторганизации 26 октября 1927 года. – Это надо понять. Конечно, если оппозиция считает, что у нас нет пролетарской диктатуры, тогда разговор другой, тогда надо сказать оппозиции: уходите, образуйте вторую партию и оставьте нас в покое; будем честно драться, но не вертитесь тогда так, что ничего понять нельзя, потому что, с одной стороны, вы говорите о диктатуре пролетариата, а с другой – о «термидоре». Какой «термидор», когда диктатура пролетариата, и какая диктатура, когда термидор?.. Давайте разойдемся как честные враги. Для чего же ломать такую бешеную комедию? Когда вы нарушаете советскую легальность, вы поощряете всякую сволочь... Товарищи, прошу вас иметь в виду, что никто из нас никогда не думал обвинять оппозицию в том, что они – контрреволюционные заговорщики, – пока до этого дело не дошло. Они обвиняются с нашей стороны в том, что своей бесшабашной борьбой против партийной и советской легальности, бесшабашной

ломкой законов пролетарской диктатуры притягивают всякий сброд, окрыляют его. Этот сброд цепляется за фалды оппозиции, стремится пролезть с ними в щель и объявить себя их союзниками. В ответ на это с величайшим негодованием говорят: это не наши, мы сами готовы их расстрелять, берите их к себе, делайте, что угодно. Мы знаем, что это должно быть так: оппозиционеры будут отталкивать этот сброд, а он будет к ним опять прилипать, будет к ним идти по всяким каналам. Почему? Потому что противники нашей власти в нашей стране отлично понимают, что, ломая рамки диктатуры своей внутрипартийной борьбой, рамки, установленные партийным режимом, они открывают щель, куда идут все остальные.

Вряд ли исполнение такой роли давалось Николаю Бухарину всегда легко. Но он взялся исполнять ее, и это главное. А за месяц до выступления перед руководством Коминтерна о «происках» оппозиции, Бухарин «порадовал» Льва Троцкого еще и вестью о выселении Троцкого из кремлевской квартиры. Об этом мне рассказывал известный французский публицист Пьер Навиль.

Судя по мемуарам Натальи Седовой, именно Бухарину было поручено «обработать» общественное мнение и в связи с высылкой Троцкого из Москвы в Алма-Ату[1]. Ни Троцкий, ни его жена так никогда и не смогли это забыть Бухарину. Не могли простить Бухарину участия в гонениях на оппозицию и другие его старые знакомые по подполью и эмиграции.

Осенью 1927 г. по стране прокатилась первая значительная волна арестов среди оппозиционеров. Сначала эта мера вызвала возмущение и протесты. Вскоре аресты превратились в обычное явление. Среди первых брошенных за решетку видных деятелей партии оказались, по иронии судьбы, друзья молодости Бухарина либо политики, с которыми он ежедневно сталкивался по работе после Октябрьского переворота. Это – Александр Вронский, бывший редактор журнала «Красная новь»; экономист Евгений Преображенский; один из вождей фракции «демократических централистов» Владимир Смирнов и, наконец, бывший меньшевик-интернационалист, знакомый Бухарина по Нью-Йорку Михаил Фишелев.

Творцы новой легенды о Николае Бухарине – гуманисте и всегдашнем антиподе Сталина – не замечают этих эпизодов. В лучшем случае утверждается, что Бухарин старался закрывать глаза на происходящее. Но за этим следует объяснение: *лично он* не виновен в преступлениях режима, ведь действия карательных органов направлял исключительно Сталин. Однако сами гонимые, которых Политбюро, как правило, своим *единогласным решением* отсылало на Голгофу, придерживались иного мнения. Приведем интереснейшее свидетельство в переводе (за отсутствием оригинала) с французского. Автор этого письма Сергей Зорин в молодости вместе с Бухариным жил в эмиграции. В начале 20-х годов Зорин – правая рука Зиновьева в Петрограде, поэтому присоединение Зорина в 1925 г. к «ленинградской оппозиции» отнюдь не случайно. Когда в 1927 г. преследование объединенной оппозиции приобрело еще более ожесточенный характер, импульсивный Зорин написал открытое письмо Николаю Бухарину. Копию письма Зорин переслал во Францию в тамошний печатный орган коммунистической оппозиции (публикуется по-русски впервые):

Товарищ Бухарин!

Дело товарища Фишелева побуждает меня написать Вам эти несколько строк. Вы знаете Фишелева двенадцать лет. Я его знаю восемнадцать лет. Знаю, что на протяжении всей своей молодости он состоял в русской социал-демократической партии, в 1906 году его арестовали; что он отсидел в одиночке два года и был сослан на вечное поселение в Сибирь, откуда бежал. По приезде в Соединенные Штаты, вместе с ныне покойным товарищем Восковым, он основал газету «Новый мир». Когда Вы, товарищ Бухарин, прибыли в Нью-Йорк и присоединились к редакции «Нового мира», выпуск газеты был уже полностью освоен, и она выходила ежедневно. Вы сами знаете, как трудно наладить выпуск газеты в условиях, созданных европейским капитализмом. Вы знаете, что на первых порах небольшая группа пролетариев, издававших «Но-

[1] О ссылке Л.Б.Троцкого с последующей высылкой из СССР см. подборку документов «Изгнание из Эдема», опубликованную в нашем журнале («Страна и мир», 1984, 3). – *Ред.*

вый мир», была вынуждена тратить деньги на это из своего скудного заработка. Им приходилось самим писать все статьи и печатать их после рабочего дня, ночью, самим рассылать газету и искать подписчиков. Одним словом, Вы знаете, что в Америке мы использовали истинно русскую мускульную силу, а не механизированный труд. И Вы знаете, что Фишелев был в первых рядах тех, кто боролся за новый мир в буквальном смысле слова.

Товарищ Бухарин, кто из нас не совершал ошибок? Случалось поступать неверно и пролетарию Фишелеву. В 1917 году, вернувшись из эмиграции, он стал работать в одной из типографий Харькова, присоединился к меньшевикам-интернационалистам. Вскоре его избрали секретарем профсоюза печатников Харькова, и в этом качестве, во время немецкой оккупации, он организовал всеобщую стачку типографских рабочих. За это солдаты Петлюры арестовали его, и он был бы убит, если бы не солидарность рабочих, отказавшихся приступить к работе, пока он не будет освобожден. В 1919 году он вернулся в наши ряды. Работал секретарем профсоюза печатников Московского района, затем стал красным директором и везде трудился как истинный пролетарий, честно и беззаветно. Теперь он арестован и исключен из партии. Почему?

Товарищ Бухарин, я спрашиваю Вас, члена Политбюро, почему Вы арестовываете рабочих вроде Фишелева? Я спрашиваю Вас, редактора «Правды», почему Вы клевещете на рабочих вроде Фишелева?

Вы, Бухарин, имели неосторожность опубликовать в Вашей газете статью В.Николаева, в которой, среди прочей клеветы, Фишелеву предъявлено обвинение в том, что «в Нью-Йорке он издавал газету Троцкого «Новый мир». Но ведь Вы и я, как члены редакции «Нового мира», тоже публиковали статьи Троцкого. Почему Вы забываете об этом? Почему Вы, как главный редактор («Правды». – *М.К.*), забываете назвать себя троцкистом? Все это потому, что Вы теряете рассудок, когда речь идет о таких товарищах, как Фишелев... Фишелев лишь напечатал без изменений платформу оппозиции, платформу, верно отражающую интересы, нужды и чаяния пролетариата и крестьян-бедняков. И как раз за это он теперь томится в одной из тюрем ГПУ, в то время как его семья умирает с голоду.

Товарищ Бухарин, такое положение вещей крайне опасно для строительства социализма. И вообще, *о каком социализме может идти речь, когда сажают в тюрьмы лучших рабочих-коммунистов? Как Вы можете совмещать председательство в Коммунистическом Интернационале с ролью тюремщика лучших коммунистов?* (Курсив наш. – *М.К.*)

Знаю, что за политическими мотивами и мелочной местью кроется намерение запугать других и помешать им следовать чьему-то примеру. Это составная часть Вашей борьбы с целью защитить себя. Но Вам не удастся запугать нас. На место Фишелева встанут сотни других...

Вы пали так низко в своем политическом вырождении, что боретесь с оппозицией только средствами насилия, и это в тот момент предсъездовской политической борьбы в рядах нашей партии, когда обе стороны должны сохранять максимум достоинства и вести столь необходимую для партии дискуссию спокойно и серьезно. Вы пустили на полный ход «сухую гильотину». Изгнав из партии сотни самых преданных ей коммунистов, Вы пытаетесь теперь убить их политически. Но гильотина только лишь начинает действовать. С каждым днем вы будете вынуждены арестовывать все больше большевиков-ленинцев и гноить их в тюрьмах. Для чего? Чтобы избрать себя и Вашу группу делегатами на XV съезд и полностью отойти от ленинизма. Но может ли съезд, созванный в подобных условиях, иметь какой-либо авторитет в вопросах, вынесенных на обсуждение? И что же дальше? Вы поставили этот вопрос перед самим собой?

Помните ли Вы время, когда Вы боролись против Ленина еще до того, как весть о Кронштадте достигла Ленинграда? Мы, те, кто боролся против Вас, разрешали собирать собрания в поддержку Вас, напечатали Вашу платформу и избрали делегатов на съезд в пропорции, соответствующей важности платформ. Так поступали в ленинские времена, кода Вы и Сталин не имели ни малейшей власти. А теперь на квартиру к Фишелеву являются вооруженные люди, чтобы арестовать его. Они роются в его книгах, откладывая в сторону те из них, которые Вы и Ваши друзья написали против оппозиции. В них они ищут то, что Вы могли написать по поводу оппозиции. Наконец, они завладевают брошюрой с резолюциями XIV съезда и некоторыми письмами. Довольные, они уносят брошюру и уводят Фишелева. Они доставляют его в Центральную Контрольную Комиссию, это предтюремное чистилище. Его обыскивают в ГПУ, а в его делах и мыслях роется ЦКК.

«– От кого вы получили платформу оппозиции?»

«– Кто вам подал мысль напечатать ее?»

А Вам, товарищ Бухарин, кто подал Вам мысль делать против Ленина все то, что Фишелев делает сейчас? Или Вы считаете, что мы вышли бы из дискуссии более сильными и сплоченными, если бы применяли подобные методы? Как партия выйдет из этой битвы? Ставили ли Вы перед собой такой вопрос?

Проблемы, возникшие в условиях нынешнего кризиса партии, должны обсуждаться умно и добросовестно всеми членами партии. Только в этом случае дискуссия поможет партии и революции. Вы хотите, чтобы ответы на эти вопросы дали полицейские из ГПУ. Товарищ Агранов

делает свое дело, когда борется с антисоветскими элементами, но он не компетентен выносить решение по делу Фишелева и других оппозиционно настроенных арестованных большевиков-ленинцев. *Берегитесь, товарищ Бухарин! Вы сами часто боролись против нашей партии, и, вероятно, Вам придется вновь бороться против нее: тогда товарищи дадут вам Агранова (из ГПУ) в качестве судьи. Примеры заразительны.* (Курсив наш. – *М.К.*)

Фишелев и другие товарищи находятся в заключении. Они не имеют права получать извне ни еду, ни что-либо другое. Они полностью лишены свиданий. Их семьи голодают. Все это, очевидно, радует Вас. Вы думаете, что это уменьшит число голосов за оппозицию. Со своей стороны, как член партии и оппозиционер, заявляю Вам: либо Вы освободите заключенных товарищей, которые заодно с нами борются за ленинизм, освободите рабочих, с которыми мы голодали, с которыми мы страдали и сражались, либо я отпечатаю это письмо, используя все имеющиеся в моем распоряжении средства, и распространю его среди членов партии, после чего Вы сможете меня арестовать. Но помните, что из тюрьмы наш голос дойдет до самых глубин партии и будет слышен в самых отдаленных уголках!

На сей раз без приветствий.

Нам неизвестно, сколько подобных, волнующих душу писем получил за свою жизнь Бухарин. Безусловно, ему еще и не такое приходилось выслушивать от оппозиционеров на словах. Но, пойдя однажды на поводу у Сталина, Николай Бухарин пытался выработать своего рода условный рефлекс: отмахиваться от подобных нареканий. По-видимому, он так и не ответил Зорину публично, если не считать ответом его тогдашние многочисленные выпады против оппозиции, из которых следовал один вывод: последователи Троцкого и Зиновьева сами виноваты в своих бедах.

Со временем жизнь заставила Николая Бухарина – и это подтверждает запись его конфиденциального разговора с Каменевым летом 1928 года – убедиться хотя бы в частичной правоте полемизировавших с ним оппозиционеров. С большим опозданием заметил Бухарин, что к осени 1927 г. и над экономикой Советского Союза сгустились тучи.

Последний год нэпа кажется раем земным лишь исключительно в сравнении с последующими периодами сплошной коллективизации и форсированной индустриализации, которые привели Россию к товарному голоду. С прилавков магазинов стали исчезать самые необходимые изделия легкой промышленности. Деревенское же население, и в первую очередь зажиточное крестьянство, из-за низких закупочных цен стало придерживать излишки зерна.

Обострение социальных конфликтов среди всех без исключения слоев населения подстегнуло партийную оппозицию в ее борьбе с «генеральной линией». Незадолго до 10-й годовщины Октября Троцкий, Зиновьев и Каменев решили обратиться непосредственно к рабочим Москвы и Ленинграда. По вечерам рисовали транспаранты и плакаты с лозунгами: «Выполним завещание Ленина», «Против оппортунизма, против раскола – за единство ленинской партии». Однако тщательно готовилось к неожиданным выступлениям оппозиции и тогдашнее сталинско-бухаринское руководство ВКП(б). За неделю-полторы до ноябрьских праздников «антиоппозиционная кампания» в «Правде» и других газетах достигла апогея. В районных комитетах партии и в отделениях милиции проводились инструктажи «активистов», «рабочих дружинников», среди которых подвизалось немало люмпенов и уголовных элементов – любителей потасовок. Шестого ноября 1927 г., по словам современников, обстановка в обеих столицах накалилась до предела.

О событиях 7 ноября 1927 г. долгое время запрещалось писать правду. Выступление многих тысяч оппозиционеров, в основном рабочих, под красными знаменами против режима партократии советские историки пытались представить «контрреволюционной демонстрацией» ничтожной кучки людей, не верящих в возможность строительства социализма в Советском Союзе. Тон задал Сталин в своей статье «Докатились»: «7 ноября 1927 года открытое

выступление троцкистов на улице было тем переломным моментом, когда троцкистская организация показала, *что она порывает не только с партийностью, но и с советским режимом».*

Легенда о «враждебных действиях» во время юбилейной демонстрации живет и по сей день. В октябре 1987 г. мне удалось в «Комсомольской правде» коротко коснуться хулиганского поведения вооруженных бутылками, водопроводными трубами и дубинками «дружинников», избивавших (под прикрытием милиции и агентов ОГПУ в штатском) во время демонстрации 7 ноября 1927 г. рабочих и студентов. После этого в адрес газеты посыпались полные недоумения письма. Могло ли такое быть? Ведь во главе партии стояли тогда и Бухарин, и Рыков, и Томский, а не только Сталин и Молотов. Авторы некоторых писем и вовсе возмущались и негодовали: «До какой низости смог дойти маразматик Кун, утверждая: «Уже в 1927 году шайки хулиганов (это рабочие-коммунисты?) по приказу сверху (ЦК партии?) избивали оппозиционеров». Мерзко и гадко! До чего же может дойти комсомольская газета, выгораживая всякого рода антисоветскую дрянь!»

Что же произошло на самом деле 7 ноября 1927 г.? В Москве на Мавзолей Ленина в 10 часов утра поднялись руководители страны. Среди них кинокамеры запечатлели и Николая Бухарина. Во время демонстрации он стоял в привычной черной куртке в некотором отдалении от другого «дуумвира» – Иосифа Сталина. Перед войсками на донском иноходце прогарцевал «первый красный офицер» Клим Ворошилов. После военного парада к Мавзолею по Красной площади порайонно потянулись колонны демонстрантов. В это же время совсем недалеко от Кремля началась и контрманифестация, организованная оппозицией. Мне довелось беседовать с несколькими организаторами этой демонстрации (из них в живых остался лишь Иван Врачев).

В массе чувствовалось недомогание, – вспоминает Лев Троцкий. – Она участвовала в демонстрации в состоянии глубокой тревоги. Над огромной растерянной и обеспокоенной массой возвышались две активные группы: оппозиция и аппарат. В качестве добровольцев по борьбе с «троцкистами» поднимались на помощь аппарату заведомо нереволюционные, отчасти прямо фашистские элементы московской улицы. Милицейский, под видом предупреждения, открыто стрелял по моему автомобилю. Кто-то водил его рукою. Пьяный чиновник пожарной охраны вскочил с площадными ругательствами на подножку моего автомобиля и разбил стекло. Кто умеет глядеть, для того на улицах Москвы 7 ноября 1927 года разыгралась репетиция термидора.

Подобная же альтернативная демонстрация прошла в Ленинграде. Конные милиционеры крупами лошадей сталкивали старых питерских рабочих в Лебяжью канавку, а на Марсовом поле притаившиеся в воротах хулиганы забрасывали демонстрантов камнями. На все это дал добро Сергей Киров.

Уже вечером 7 ноября Бухарин и другие члены Политбюро получили письмо Николая Муралова, Ивара Смилги и Льва Каменева с подробным описанием рукоприкладства, инспирированного властями.

Вскоре стали известны и другие детали столкновений в Москве и Ленинграде. Девятого ноября в приемную ЦК поступило гневное письмо Льва Троцкого:

Налет был организован на балкон гостиницы «Париж». На этом балконе помещались тт. Смилга, Преображенский, Грюнштейн, Альский и др. Налетчики, после бомбардировки балкона картофелем, льдинами и пр., ворвались в комнату, путем побоев и толчков вытеснили названных товарищей с балкона и затем подвергли их задержанию, т.е. фактически арестовали в одной из комнат гостиницы «Париж» на несколько часов. Ряд оппозиционеров был избит. Тов. Троцкая была сбита с ног. Побои сопровождались тем более гнусными ругательствами, что среди налетчиков были пьяные.

В унисон со словами Троцкого звучит заявление рабочего Александра Николаева, члена партии с 1913 года, посланное под расписку всем «вождям партии». В письме говорится о самоуправстве секретаря Бауманского райкома

Цихона. Тот ворвался в квартиру Николаева, на балконе которой был вывешен лозунг «Выполним завещание Ленина», и стал кричать: «Молчи, сволочь, ты не делал революцию!»

Примечательно, что в день десятилетия Октябрьского переворота в пылу «борьбы» с инакомыслящими в партии на улицах Москвы все чаще раздавался громкий лозунг «Бей жидов, оппозиционеров!» или просто «Бей жидов!».

Судя по статье Ивара Смилги (которая так и не увидела свое время света, но сохранилась в архиве Троцкого), действиями против оппозиционеров руководили начальник политического отдела Московского военного округа Булин, секретарь Московского городского комитета партии Мороз, секретарь Краснопресненского райкома Мартемьян Рютин, председатель тамошнего райсовета Минайчев и заведующий приемной Калинина Виктор Вознесенский. Примечательно, что всех их, направлявших мордобой, кроме Булина, всего лишь через год-полтора объявят «правыми» и снимут с высоких постов.

...Первыми ворвались в подъезд 27 Дома Советов Рютин, Вознесенский и Минайчев. Вознесенский, крича, что он «за крестьян» и что он «сын крестьянина», требовал от милиционеров и швейцара подъезда пропуска толпы для расправы с оппозиционерами, – пишет непосредственно вслед за событиями Ивар Смилга. – Стоявшие тут же жильцы дома настаивали на недопущении толпы в дом, опасаясь разгрома дома и расправы. В это время Рютин, сносившийся с кем-то из подъезда по телефону, подозвал к телефону милиционера и сообщил стоявшим в подъезде, что он получил разрешение пропустить в дом двадцать человек из толпы. Жильцы дома стали протестовать и требовать от милиции, чтобы она воспрепятствовала этому. Но возвратившийся от телефона помощник начальника милиции сообщил, что он ничего поделать не может, т.к. получил приказание не препятствовать ни той, ни другой стороне. Тогда Вознесенский выхватил у швейцара ключ от входной двери, отпер дверь подъезда, в которую ворвалась толпа в несколько десятков человек во главе с Фрадкиным, Булиным и др. В ворвавшейся в дом толпе были пьяные.

Ворвавшиеся набросились на стоявших в комнате у балкона товарищей Грюнштейна (член партии с 1904 г. и бывший каторжанин), Енукидзе[1], Карпели и др. и стали их избивать. Булин, схватив стул, разбил стекла в двери балкона, и ворвавшиеся стали вытаскивать с балкона через разбитые двери находившихся там товарищей – членов ЦК ВКП(б) Смилгу, Преображенского и др. и избивать их. Булин с группой военных набросились на начдива тов. Мальцева, находившегося также на балконе, повалили его на стол и стали избивать. Такому же избиению подверглись члены партии Альский, Гинзбург, Мдивани, Малюта, Юшкин и др.

Во время этого избиения присутствовал секретарь МКК Мороз и член бюро МК Цифринович. На обращение к ним с требованием прекратить избиение и установить фамилии избивающих секретарь МГК Мороз кричал: «Молчите, а то хуже будет!» А член бюро МК Цифринович ответил: «Так вам и надо!» Присутствовавший при избиении помощник начальника отделения милиции тов. Волков заявил: «Хотя я и беспартийный, но не видел такого безобразия, чтобы попустительствовали хулиганам в избиении и запрещали милиции вмешиваться».

Вернемся к началу демонстрации 7 ноября 1927 г. Где-то наверху, над толпой «витали» Сталин, Бухарин и другие хозяева страны. Под ними с транспарантами проходили колонны празднично одетых людей. На улицах же Москвы в это время заранее проинструктированные группы «активистов» избивали старых большевиков из стана оппозиции и вообще попавших под руку прохожих.

За шесть-восемь лет до юбилейного мордобоя те же самые – избитые в 1927 г. – большевики поступали достаточно жестоко со своими бывшими товарищами по подполью – меньшевиками и эсерами. А о постыдном разгоне Учредительного собрания, который был инспирирован Лениным и Троцким, о расстреле демонстрантов, в большинстве своем рабочих, вышедших на улицы Петрограда в знак протеста, и говорить не приходится. Разве это не была прелюдия к событиям 7 ноября 1927 г.?

Вряд ли задумывались об этом авторы письма в Политбюро Муралов, Каменев и Смилга:

---

[1] Известный сторонник Троцкого, племянник секретаря ЦИК Авеля Енукидзе.

Мы пишем вам об этом в немногих строках, находясь в разгромленной квартире члена ЦК тов. Смилги. Мы ставим своей задачей немедленно закрепить ответственность за происшедшее каждого из вас в отдельности, как и Политбюро и Президиума ЦКК вместе. Каждый московский партиец знает, что фашистские группы получили инструкции от секретарей райкомов и что центром всей этой омерзительной кампании является секретариат ЦК ВКП(б), пользующийся Президиумом ЦКК как послушным и на все готовым орудием. Всякому ясно, а вам яснее, чем кому бы то ни было, что не будь прямых приказов сверху, все происшедшее не имело бы места. Дело идет о судьбе партии, о судьбе революции, о судьбе рабочего государства. Судить будет партия. Судить будет рабочий класс. Мы не сомневаемся в приговоре.

Пророчество это не сбылось. В 30-е годы вместо мифического *суда революции* перманентно заседало послушное Сталину судилище. На нем приговорили к смерти одного за другим бывших участников демонстрации 1927 г., а затем и почти всех, кто натравлял толпы люмпенов на оппозиционеров. В глазах Отца Народов ни тем, ни другим доверять уже было нельзя.

На письмо же от 7 ноября 1927 г. прямого ответа со стороны Политбюро так и не последовало. Но косвенный ответ вскоре был дан партийным руководством на XV съезде ВКП(б), состоявшемся в Москве 2–12 декабря 1927 г. На этом съезде всех известных лидеров «объединенной» оппозиции исключили из партии. А в составлении этого «ответа» приняли участие опять-таки все до одного будущие лидеры «правых» уклонистов, и среди них не в последнюю очередь Николай Бухарин.●

АРХИВ

ПРЕДСМЕРТНЫЕ ПИСЬМА БУХАРИНА

21 августа 1936 г. прокурор СССР Андрей Вышинский заявил прессе: «...Мною вчера сделано распоряжение о начале расследования заявлений в отношении Томского, Рыкова, Бухарина, Угланова, Радека, Пятакова, и в зависимости от результатов этого расследования будет прокуратурой дан законный ход этому делу».

С этого дня Бухарин превратился в подследственного.

С августа 1936 г. Бухарин почти полгода оставался на свободе, но его положение напоминало жизнь человека за решеткой. Только этим можно объяснить тон его тогдашних писем, из которых самое, пожалуй, характерное отослано Ворошилову 1 ноября 1936 г.: «Я хочу правды: она на моей стороне. Я много в свое время грешил перед партией и много за это и в связи с этим страдал. Но еще и еще раз заявляю, что с великим внутренним убеждением я защищал все последние годы политику партии и руководство Кобы, хотя и не занимался подхалимством... Что расстреляли собак [Зиновьева, Каменева и т.д. – *М.К.*], страшно рад. Троцкий процессом убит политически, и это скоро станет совершенно ясным. Если к моменту войны буду жив – буду проситься на драку (не красное словцо), и ты тогда мне окажи последнюю услугу и устрой в армии хотя рядовым (даже если каменевская отравленная пуля поразит меня)».

Каждая строчка этого письма свидетельствует о тяжелейшем состоянии, в котором оказался Бухарин. Правда, Бухарин порой находил силы отстаивать свою невиновность. Так случилось и на пленуме ЦК 4–7 декабря 1936 г.

Попытался Бухарин повлиять и на партийное руководство и, объявив голодовку, продолжал рассылать письма своим бывшим друзьям по партийному Олимпу, но никто не вступился, не отозвался. Во время февральско-мартовского пленума 1937 г. (в перерыве его кандидаты в члены ЦК Бухарин и Рыков были арестованы). Николай Бухарин публично отверг если не все, то многие наветы: «Я не знал ни о троцкистско-зиновьевском блоке, ни о параллельном центре, ни об установках на террор, ни об установках на вредительство..., а тем более, что мог быть причастным как-нибудь к этому делу. Я протестую против этого самым решительным образом. Тут, может быть, миллионы, разносторонних показаний, и все-таки я не могу этого признать. Этого не было».

В тюремной камере Николай Бухарин сопротивлялся до июня 1937 г., надеясь, что он сможет опровергнуть обвинения на очных ставках. Но когда очные ставки начались одна за другой, Бухарина сломали. История политических процессов конца 30-х годов показывает, что за самым редким исключением такой конец был лишь делом времени. Во время следствия на стол перед Бухариным положили огромное досье, ежедневно зачитывали ему записи наружного наблюдения и доносы профессиональных провокаторов, в том числе бывшего его ученика Валентина Астрова, завербованного ОГПУ еще в конце 20-х годов.

Не исключено, что к Бухарину были применены и физические пытки. Следователь Лев Шейнин угрожал Бухарину всяческими карами, которыми подвергнут членов его семьи в случае «упрямства». Под видом товарища по камере к Бухарину подсадили заместителя начальника управления НКВД по Саратовской области, обязанного запоминать каждое его слово. Всего же Бухариным «занимались» денно и нощно 12–14 следователей, постоянно меняясь, угрожая, льстя. От депрессии Бухарина лечили возбуждающими препаратами. Иногда он впадал в эйфорию, писал многословные письма Сталину, мечтал о научной работе по выходе из тюрьмы. В координировании «подготовки» Николая Бухарина к процессу принимали участие Ежов, Вышинский и Ворошилов (со стороны Политбюро). Все свои планы (и даже детали обращения с Бухариным) они согласовывали со Сталиным.

Тем не менее Бухарина сломали к началу мартовского, 1938 года, процесса в гораздо меньшей степени, нежели это хотелось бы следствию. Правда, у Бухарина не хватило сил отказаться на суде от своих показаний. Но все же он, признавая «в общем и целом» свои тяжкие «контрреволюционные» преступления, не сознался на суде ни в конкретных актах вредительства и терроризма, ни в планах убийства Ленина, ни в связях с резидентами иностранных разведок, ни в подготовке убийства Горького, Менжинского и Куйбышева. А в заключительном слове Бухарина прослеживается даже целая концепция – разговор с потомством о невиновности в тягчайших конкретных преступлениях перед обществом, а следовательно, и в неправомерности смертного приговора.

Однако в камере смертников 13 марта 1938 г. у Николая Бухарина не осталось уже воли вымучить из себя ничего большего, нежели покаянные слова. Два его последних письма сохранились в специальном фонде Центрального Государственного Архива Октябрьской Революции, среди просьб о помиловании других подсудимых. Письма Бухарина (особенно первое) выделяются среди них искренней верой в возможность сохранить жизнь. В них сквозит растерянность: мне обещали помилование, но обманули. Не исключено, что второе письмо – это ответ на устное (предварительное) сообщение о невозможности кассации приговора.

Прошения Бухарина о помиловании написаны на листке бумаги карандашом. Первое письмо с двух сторон, второе – лишь на одной. Видимо, позже к оригиналам писем приложили их машинописные копии, заверенные помощником начальника первого отделения Секретариата НКВД СССР, старшим лейтенантом госбезопасности Кудрявцевым.

Приговор над Николаем Бухариным был приведен в исполнение поздним вечером 13 марта 1938 г. Место захоронения неизвестно и по сей день.

В Президиум Верховного Совета СССР от приговоренного к расстрелу Н.Бухарина

Прошение

Прошу Президиум Верховного Совета СССР о помиловании. Я считаю приговор суда возмездием за совершенные мною тягчайшие преступления против социалистической родины, ее народа, партии, правительства. У меня в душе нет ни единого слова протеста. За мои преступления меня и нужно было бы расстрелять 10 раз. Пролетарский суд вынес решение, которое я заслужил своей преступной деятельностью, и я готов [видимо, от волнения пропущено слово «нести». – М.К.] заслуженную мною кару и умереть, окруженный справедливым негодованием, ненавистью и презрением великого героического народа СССР, которому я так подло изменил.

Если я позволяю себе обратиться к высшему правительственному органу нашей страны, перед которой я стою на коленях, то только потому, что я считаю, что в случае помилования могу оказаться полезным стране: я не говорю – и не смею говорить, что я смогу искупить свою вину, преступления совершенные мною настолько чудовищны, настолько велики, что я не смогу искупить этой вины, что бы я ни сделал в остаток моей жизни.

Но я заверяю Президиум Верховного Совета, что более чем годичное пребывание мое в тюрьмах заставило меня столько передумать и столько пересмотреть, что от моего преступного

прошлого, к которому я сам отношусь с негодованием и презрением, в моей голове сейчас не осталось ничего. Не из страха перед заслуженной мной карой, но не из страха перед смертью, на пороге которой я и стою, как перед справедливым возмездием, прошу я президиум Верховного Совета милости и пощады. Я внутренне разоружился и перевооружился на новый социалистический лад. Я передумал все вопросы, начиная со своих теоретических ошибок, которые лежали лично для меня в основе сперва уклонов, а потом все более и более страшных преступлений. Шаг за шагом я пересматривал свою прошлую жизнь. Прежний Бухарин уже умер, он не существует на земле. Если бы мне была дарована физическая жизнь, то она пошла бы на пользу социалистической родине, в каких бы условиях мне не приходилось работать: в одиночной камере тюрьмы, в концентрационном лагере, на Северном полюсе, в Колыме, где угодно, в любой обстановке и при любых условиях. У меня сохранились знания и способности, вся головная машина, деятельность которой была реально направлена в преступную сторону.

Теперь эта машина заведена на новый лад. Я хочу работать в самых различных областях и в различной обстановке. В тюрьме я написал ряд работ, свидетельствующих о моем полном перевооружении. Но я могу работать и не только в чисто научной сфере. Поэтому я осмеливаюсь взывать к вам, как высшему органу правительства, о пощаде, мотивируя своей работоспособностью и апеллируя к революционной целесообразности. Если бы я уже был неработоспособен, это ходатайство не имело бы место и я ждал бы только скорейшего приведения смертного приговора в исполнение, ибо тогда мне нечем было [бы] мотивировать свое ходатайство. Разоружившийся, но бесполезный и неспособный к работе враг, я был бы годен только на то, чтобы смерть моя послужила уроком для других.

Но именно потому, что я работоспособен, и позволяю себе обратиться к правительству с ходатайством о милосердии и пощаде. Могучая страна наша, могучая партия и правительство произвели генеральную чистку. Контрреволюция раздавлена и обезврежена. Героическим маршем выступает отечество социализма на арену величайшей во всемирной истории победоносной борьбы. Внутри страны на основе сталинской конституции развивается широкая социалистическая демократия. Великая творческая и плодоносная жизнь цветет. Дайте мне возможность хоть за тюремной решеткой принять посильное участие в этой жизни! Дайте мне – прошу и умоляю вас – вложить хоть частичку в эту жизнь. Дайте возможность росту новому, второму Бухарину, пусть будет он хоть Петровым – этот новый человек будет полной противоположностью уже умершему. Он уже родился – дайте ему возможность хоть какойнибудь работы. Об этом я прошу президиум Верховного Совета. Старое во мне умерло навсегда и бесповоротно. Я рад, что власть пролетариата разгромила все то преступное, что видело во мне своего лидера и лидером чего я в действительности был. Я твердо уверен: пройдут годы, будут перейдены великие исторические рубежи под предводительством Сталина, и вы не будете сетовать на акт милосердия и пощады, о котором я Вас прошу: я постараюсь всеми своими силами доказать Вам, что этот жест пролетарского великодушия был оправдан.

Николай Бухарин

Москва 13. III. – 38 г.
Внутренняя тюрьма НКВД

В Президиум Верховного Совета СССР
от приговоренного к расстрелу
Н.И.Бухарина

Прошение

Прошу Президиум Верховного Совета о помиловании. Я глубоко виновен перед социалистической родиной и преступления мои безмерны. Я сознаю всю их глубину и весь их позор. Если я позволю себе просить о помиловании высший орган правительства Союза ССР, то только потому, что хорошо знаю, что свои знания и способности могу применить на пользу СССР. Годичное пребывание в тюрьме послужило для меня в этом отношении такой школой, что я имею право сказать Президиуму о моей полной переориентации. Я стою на коленях перед родиной, партией, народом и его правительством и прошу президиум о помиловании.

13 марта 1938 г.
Москва

Николай Бухарин

Юрий АЙХЕНВАЛЬД (Москва)

РАССЕКРЕЧЕННЫЕ ПИСЬМА

Многие события, происшедшие на другом, эмигрантском берегу российской культуры, становятся известными с большим историческим опозданием: «здесь» их еще не знают, «там» – уже забывают. Сейчас, благодаря тому что многое «тамошнее» рассекречено «здесь», – в частности, рассекречены (не знаю только, все ли) материалы Русского Пражского архива, – забытое стало возвращаться из архивной исторической памяти в активную.

Русский заграничный исторический архив в Праге, основанный нашими эмигрантами, сразу же после Второй мировой войны был из Праги вывезен, – и тут же, можно сказать, «с колес» засекречен в ЦГАОРе (Центральном Государственном Архиве Октябрьской Революции). В этой цитадели искусственной исторической амнезии Пражский архив пролежал с середины 60-х годов, когда материалы, касающиеся деятелей культуры, были переданы в Центральный Государственный Архив Литературы и Искусства (ЦГАЛИ). Там эти фонды разобрали, чтобы львиную их долю тут же засекретить. После этого исследователи, имевшие право доступа к государственным тайнам (впрочем, требовалась не самая высокая категория секретности), были допущены к архивным материалам во всем их объеме, а исследователи, не осененные этой благодатью, имели возможность знакомиться лишь с общедоступными текстами. При этом они – в их числе был и я – даже не знали, что именно от них «секретят»: рядом с номерами секретных единиц хранения шли не названия этих единиц, а пустые белые строчки. Подобно арестантам в каторжных сталинских лагерях, секретные единицы хранения имели только номера.

После рассекречивания Пражского архива со дна нашей искусственно прокопанной Леты всплыло много интересного.

Мне давно хотелось познакомиться с засекреченной половиной фонда моего деда Юлия Айхенвальда, литературного критика и публициста, высланного большевиками из Советской России в 1922 г. и работавшего до самой своей смерти в берлинской газете «Руль». Ее редактором был Иосиф Гессен, прежде, до Октября Семнадцатого, редактировавший петербургскую газету «Речь», в которой Юлий Айхенвальд был постоянным сотрудником.

В рассекреченной половине фонда под арестантским номером «166» оказалось письмо Владислава Ходасевича Юлию Айхенвальду от 28 октября 1926 г. В несекретной папке за номером «165» хранились два письма Ходасевича Айхенвальду, одно от 31 июля 1926 г., второе от 22 марта 1928 г. Письмо от 29 октября занимало промежуточное положение между этими письмами, но из переписки было вынуто, обособлено и заключено в «секретку».

За что же такая участь постигла это письмо критика поэту?

Засекреченное и до сих пор нигде не публиковавшееся письмо, которое в этом очерке я привожу целиком, поначалу посвящено отзыву Юлия Айхенвальда о стихотворении Ходасевича «Джон Боттом». Речь в этом стихотворении идет о портном Джоне Боттоме, ставшем солдатом во время Первой мировой войны. Я приведу отрывки из стихотворения:

10

Сражался храбрый Джон, как все,
Как долг и честь велят,
А в ночь на третье февраля
Попал в него снаряд.

11

Осколок грудь ему пробил,
Он умер в ту же ночь,
И руку правую его
Снесло снарядом прочь.
. . . . . .

13

И руку мертвую нашли
Оттуда за версту
И положили на груди...
Одна беда – не ту.

14

Рука-то плотничья была,
В мозолях. Бедный Джон!
В такой руке держать иглу
Никак не смог бы он.
. . . . . .

20

Два года плакала вдова:
«О Джон, мой милый Джон!
Мне и могилы не найти,
Где прах твой погребен!»

Но сама история позаботилась о вдове: именно Джон Боттом, с чужой, правда, рукой оказался тем Неизвестным солдатом, торжественный памятник которому шли открывать и «маршалы блестящею толпой»,

И сам король за гробом шел,
И плакал весь народ.
И подивился Джон с небес
На весь такой почет.
. . . . . .
Одно печалило его,
Одна беда – рука!

Да и бедную Мэри, солдатскую вдову, горевавшую, что даже могилы Джона она никогда не найдет, Памятник Неизвестному солдату не утешил:

30

Ее соседи в Лондон шлют,
В аббатство, где один
Лежит безвестный, общий всем
Отец, и муж, и сын.

31

Но плачет Мэри: «Не хочу!
Я Джону лишь верна!
К чему мне общий и ничей?
Я Джонова жена!»

Джон в раю просил апостола Петра позволить ему явиться жене, – хотя бы призраком, чтобы шепнуть:

35

– Что это я, что это я,
Не кто-нибудь, а Джон
Под безымянною плитой
В аббатстве погребен.

36

Что это я, что это я
Лежу в гробу глухом –
Со мной постылая рука,
Земля во рту моем...

Но апостол Петр не дал Джону Боттому сообщить жене о себе, и дух Неизвестного солдата «так и остался омрачен» в «селенье света».

26 июля 1926 г. Юлий Айхенвальд написал в «Руле» об этом стихотворении:

...Это в стиле английской баллады выдержанное стихотворение с наивными интонациями, в своем складе и музыке напоминающее слепого музыканта Ивана Козлова... Если быть придирчивым, то можно выразить сомнение, действительно ли, как рассказывает баллада, германцы, заняв английский окоп, «Джона утром унесли и положили в гроб»: едва ли так, в гробах, хоронили убитых солдат. Но не надо быть придирчивым, а надо отдаться непосредственному очарованию этих замечательных стихов о «неизвестном солдате», на самом деле составленном из двух солдат, об этом Кто-Нибудь, об этом общем и ничьем Анониме, который, однако, имел когда-то на земле свое имя, свою жену, «Джонову жену», и свою собственную руку, теперь замененную рукой посторонней. Т а к о г о упрека войне, как в этой художественной, полной мысли и чувства балладе, до сих пор еще не было сделано никем.

Но мировая война не вняла этому упреку и пришла во второй раз.

Сейчас, когда на просторах Восточной Европы и Сибири загораются тысячи негасимых поминальных огней над братскими могилами анонимов, погубленных то ли Сталиным, то ли Гитлером, бессмыслица и масштабы человеческих распрей парализуют восприимчивость, пережигают нервы, превращают человека в соляной столб, не потому, что он оборачивается на нестерпимое, а потому, что от нестерпимого отвернуться некуда. Стихотворение Ходасевича – и о наших катастрофах, хотя говорится в нем только об одном человеке. Стихотворение это исполнено глубокой серьезности, но поэт показал в нем и то, как иронизирует судьба...

Применительно ко Второй мировой войне та же тема анонима и подмены возникает в песне А.Галича о могиле Неизвестного солдата. Но там не одна рука подменена: сам Неизвестный солдат в этой песне – блатарь, казненный своими. Подменена сама смерть. Подмена стала тотальной.

В рассекреченном письме от 28 октября 1926 года Ходасевич писал своему критику:

14, rue Lombardie, Paris (12e)

Дорогой Юлий Исаевич, простите меня, что на Ваше письмо, такое дружеское, отвечаю не тотчас. Кроме того, большое спасибо за присланную статью. Промедление мое объясняется тем, что я сперва хворал, потом изо всех сил писал, потом писал и хворал одновременно (уехав из Парижа); потом вернулся, но ждал, чтобы в «Посл[едних] Нов[остях]» дали мне экз[емпляр] той статьи, которую прилагаю. В ней есть несколько добрых слов о Вас. Они были бы и еще теплее, если бы не страх (признаю, малодушный), что меня обвинят в заискивании перед критикой. «Дело в том, что эта статья должна войти в мою книгу «Некрополь», которая, по-видимому, выйдет нынешней зимой».

В то время Ходасевич сотрудничал в парижской газете «Последние Новости», редактировавшейся Милюковым; «Некрополь» же вышел отдельной книгой двенадцать лет спустя.

Дальше в своем письме Ходасевич отвечал уже не на цитировавшуюся статью Ю.Айхенвальда, а на его письмо; черновика этого письма в архиве Айхенвальда нет, как нет и экземпляра «Последних новостей», упомянутого Ходасевичем. В рассекреченном письме поэт писал критику:

Если хотите, вернемся к «Боттому». Вы великодушно оставляете мне лазейку, говоря, что «фактические неточности ничему не мешают и только делают стих менее привязанным к реальности». К несчастью, я не вправе воспользоваться Вашей аргументацией. Правда, я не гнался нарочно за «внешней реальностью», но не прибегал к неточностям сознательно (подчеркнуто здесь и далее Ходасевичем. – Ю.А.). Следовательно, буду оправдываться (и каяться) по-другому.

1) Немцы чаще хоронили без гробов, но хоронили и в гробах. Следовательно, тут неточностей у меня нет.

2) Маршалы в 22-й строке – союзные, то есть и французские, и английские. Признаться, не думал, есть ли у англичан маршалы. Но заметьте, что Китченер был фельдмаршал. Так что тут, в худшем случае, полунеточность, вполне допустимая.

3) Я очень помнил об английском добровольчестве. Но если вчитаетесь, то увидите, что мой Боттом погиб в ночь на 3 февраля 1917 г., ибо его жена уже два года плакала до Версальского мира (точнее 1 г. 9 месяцев). Он мобилизован в конце 1916, в начале 1917 г., когда уже посылали не только добровольцев. О 1914 г. я сказал как о начале катастрофы, и тут моя вина непростительная: сказал я темно, неотчетливо; «пришел тогда черед», – выходит, будто в 1914 г. Эту неуклюжесть надо исправить, это мой несомненный грех, мало простительный, ибо я не сумел выразить собственную мысль. Это похуже фактических ошибок.

Признав наличие смыслового изъяна, поэт впоследствии так и не исправил этой своей «неуклюжести». Его легко понять: исправлять стих, отлившийся, застывший в строку, так же трудно, как переделывать застывшую металлическую отливку. Если внешней, «холодной», так сказать, обработки недостаточно, – а именно так, видимо, и было в данном случае, – то нужно все «переплавить», заново пережить в себе. Технологии такой «переплавки» – увы! – не существует; в результате Ходасевичу-поэту так и не удалось точно «выразить собственную мысль», хотя Ходасевич-критик настаивал на этом.

Впрочем, Бог с ним, с Боттомом, – писал дальше Владислав Ходасевич Айхенвальду. – Я ушел из «Дней», которые требовали от меня систематических перепечаток из советской литературы. Это превращалось в пропаганду, на которую я пойти не мог, – вернулся в «Последние новости». Что еще вам рассказать о себе? Ничего занимательного нет. Вы, вероятно, не разделяете моего «бурного» негодования на «Версты» – в «Совр[еменных] Зап[исках]» (Я сужу по Вашей статье о «Верстах» в «Руле»). Но мне, к сожалению, известна мерзкая подоплека всего этого предприятия – да и многого другого, что предпринимается большевиками с целью разложения эмиграции.

«Дни» – это газета социалистов-революционеров, «Версты» – сборник, ориентированный на то, чтобы, печатая эмигрантов, в то же время знакомить читателей с произведениями советской литературы.

Теперь ясно, что причиной засекречивания этого письма был явный антибольшевизм Ходасевича; антибольшевизм этот надлежало по возможности скрыть, поскольку такая позиция известного в Советской России поэта в глазах его почитателей могла скомпрометировать уже и самый коммунистический идеал. Кроме того, Ходасевич берег эмиграцию как явление духовное. А это было не так просто. Ведь культурный смысл эмиграции состоял отнюдь не в ее идеологической цельности. Как и сейчас, культурный смысл эмиграции был в ее поисках и спорах, удивляющих иногда жителей России, поскольку им кажется, что в свободном мире русские должны уметь договориться между собой по принципиальным политическим вопросам. Но именно потому, что мир – свободный, споры становятся откровеннее и разногласия глубже. Со временем споры умолкают – тексты остаются.

Нынешняя русская эмиграция создает тексты с большим опережением сравнительно с тем, что дозволяется теперь в СССР. «Гласность» – суррогат демократии. Своим разномыслием эмиграция опасна для властей. Поэтому и

в периоды заигрывания с эмиграцией, и в периоды проклятий в ее адрес советские идеологи старались показать ее духовную неполноценность, а коли такой неполноценности реально нет, – создать ее, используя для этого эмигрантское демократическое разномыслие. В 20-е годы усилия духовно разрушить, большевизировать эмиграцию предпринимались и через Максима Горького. Об этом Ходасевич тоже писал Айхенвальду, и это было еще одной причиной засекречивания письма:

За три года жизни с Горьким узнал я столько и такого, что хватило бы на троих. Тут и причина моего разъезда с Горьким (при неомраченных личных чаепитийных отношениях), и того, что уже больше года мы даже не переписываемся. Он недоволен мной, я – тем, что, признаюсь, за три года не добился от него того, что почитал своей «миссией». Я все надеялся прочно поссорить его с Москвой. Это было бы полезно в глазах иностранцев. Иногда казалось, что вот-вот – и готово. Но в последнюю минуту он всегда шел на попятный. После моего отъезда он покатился тотчас по наклонной плоскости и докатился до знаменитого письма о Дзержинском. Природа взяла свое, а я был наивен, каюсь.

Вы пишете, что иногда Вас тянет на берега Сены. Вот было бы хорошо, если бы выбрались к нам в гости. Подумайте-ка об этом.

Нина Николаевна, разумеется, очень помнит Вас, но не очень уверена, что Вы ее помните. Она очень благодарна за память и шлет привет. Вчера вышел первый № их маленького журнала «Новый дом», который она Вам посылает на суд.

Будьте здоровы. Крепко жму Вашу руку.

Сердечно Ваш Владислав Ходасевич.
28 окт. 26.

К журналу «Новый дом» Юлий Айхенвальд отнесся благожелательно. Нина Николаевна Берберова поблагодарила его в письме от 26 ноября 1926 г. и за это, «и в особенности за чрезвычайно лестные слова» о ней.

Лаконичный отзыв о Горьком в этом письме резче того, что писал Владислав Ходасевич в обоих своих очерках о «буревестнике революции», опубликованных теперь в СССР. Ни в одном из этих очерков Ходасевич не говорил, что, живя у Горького, он сознательно преследовал цель «прочно поссорить Горького с Москвой», что это было не попутной его задачей, а именно «миссией». Дальнейшее развитие событий показало, что в письме к Юлию Айхенвальду Ходасевич отнюдь не преувеличивал своей неприязни к Максиму Горькому. В следующем, 1927 г., Ходасевич отказался участвовать в литературном сборнике, где предполагалась публикация горьковской прозы. Это обстоятельство несомненно ухудшило отношения Горького и Ходасевича.

Вот что писал об этом Юлию Айхенвальду Иван Бунин в письме, тоже рассекреченном только летом 1989 г. и у нас до сих пор не публиковавшемся. Привожу письмо целиком.

23-VII-1927

Дорогой Юлий Исаевич! Нью-Йоркский комитет помощи писателям, как Вам уже известно, разумеется, затеял сборник для усиления своих средств. В числе сотрудников – Горький.

Позвольте осведомить Вас, что мы, парижане, ни в коем случае рядом с Горьким не пойдем – и так и написали Оберучеву (Алданов, я, Гиппиус, Зайцев, Куприн, Ладыженский, Шмелев, Сургучев, Ходасевич).

Пользуюсь случаем сказать Вам, что искренно люблю и почитаю Вас.

Ваш Ив.Бунин.

На обороте этого письма Юлий Айхенвальд набросал черновик письма Константину Михайловичу Оберучеву, опальному полковнику при царском режиме (он участвовал в революционной деятельности), генералу при Керенском, эмигранту после Октября. Оберучев возглавлял в Нью-Йорке комитет помощи нуждающимся русским литераторам и «затеял» этот сборник. Набросок письма Юлия Айхенвальда Оберучеву написан неразборчиво, изобилует сокращениями. Привожу строки, которые мне удалось расшифровать:

Многоуважаемый К.М. Меня из Парижа уведомили о том, что Алданов, Бунин, Гиппиус, Зайцев, Куприн, Ладыженский, Шмелев, Сургучев, Ходасевич не находят возможным участвовать в задуманном Вами сборнике рядом с Горьким... Но, как Вы уже знаете, от участия в сборнике я не отказываюсь в виду его благородных побуждений и в виду того, что помощью фонда пользовался и я сам...

Сборник этот, кажется, не состоялся. Но вот пример благородного разномыслия: Горького как писателя Юлий Айхенвальд терпеть не мог, с Буниным, Ходасевичем, как и с Борисом Зайцевым, у Айхенвальда были хорошие отношения. Все вместе эти писатели были непримиримыми противниками большевизма, – и тем не менее Юлий Айхенвальд поставил благотворительную цель, помощь бедствующим русским писателям, выше политических соображений, независимо от того, как могли оценить этот поступок его парижские друзья и единомышленники.

●

Александра ИСТОГИНА (Москва)

«О ПРОШЛОМ – И НЕПРЕХОДЯЩЕМ»

В 1967 году я впервые прочла Цветаеву и, как многие, была ошеломлена. Потом я узнала, что жива ее дочь Ариадна Сергеевна Эфрон, а однажды мне попался на глаза адрес, по которому просили присылать материалы, имеющие отношение к Марине Ивановне. Послать мне было нечего, но захотелось написать Марининой дочери, которую я вообразила немолодой одинокой женщиной, трудно живущей, всеми покинутой, забытой.

Я рассказала о себе, о сложностях своей жизни, в то время отягченной еще и конфликтом с родителями. Говорила, конечно, о восхищении поэзией Цветаевой. Мне казалось, что ей, дочери, радостно будет узнать о нашей, читательской, любви к Цветаевой и это знание согреет, как говорится, ее старость и утешит в печалях и огорчениях.

В первой половине января 1970 г. получила я письмо, написанное крупным, прямым, твердым, очень своеобразным почерком. Так началось наше заочное знакомство, заочным и оставшееся. У меня почти нет, что называется, материала для воспоминаний, но я хочу посильно участвовать в создании памяти о человеке, который сам безмерно много сделал для сбережения прошлого, который самозабвенно жил для тех, кто погиб, умер, пропал без вести, – с тем, чтобы *их* жизнь, *их* труд не забылся и не сгинул.

У меня есть немного писем Ариадны Сергеевны, и я решаюсь цитировать их почти полностью, с краткими лишь скрепами объяснений, – пусть звучит живой голос, живая интонация самой Ариадны Сергеевны, это, мне кажется, драгоценнее общих рассуждений.

В том первом письме она писала:

У Вашей болезни есть великое, хоть и печальное преимущество – она дала Вам возможность внутреннего роста и духовного развития, отметя от Вас многие и многие «суеты сует», дешевые соблазны и горькие расплаты, сосредоточила Ваши силы на основном, сняв с Вас ответственность за второстепенности. А они, эти самые второстепенности, весьма прожорливы и способны дотла уничтожать человеческие способности и возможности. Так что продолжайте делать из своего недуга (болезни) – союзника и концентрируйте всю себя на *главном*[1]. Оно, несомненно, у Вас есть.

Александра Истогина родилась и долго жила в с. Ястребовка Курской обл. Инвалид с детства, она лишена возможности двигаться (не зная этого, нельзя понять, о какой «болезни» идет речь в статье). Окончила заочно МГУ, печаталась в местной курской печати, а в последнее время – и в центральной. В 1987 г. издательство «Современник» выпустило ее книгу «Свет слова» (сборник статей о Е.Боратынском, А.Твардовском, Н.Рубцове и других поэтах).

[1] Здесь и далее подчеркнуто А.С.Эфрон.

Это ободрение было весьма кстати, но в том письме была мысль еще более драгоценная.

Что до взаимопонимания «отцов и детей», – писала она, – то оно не Вашим поколением изобретено, и не моим, а идет издревле, древняя как мир эта вещь! Тем не менее, именно в силу особости Вашего положения, у Вас есть возможность *лучше* и *добрее* понимать Ваших близких, чем это могут они, люди, сформировавшиеся в иных условиях. Жизнь ведь *ковала* их, а не лепила. Вас она лепит.

Эти слова произвели на меня глубокое впечатление, что очень помогло в примирении с родителями; стремление быть терпимее, снисходительнее, добрее вполне себя оправдало.

Но был в этом письме и третий пласт:

Я очень рада за Вас, что Вы любите Цветаеву, но, по правде сказать, каждый раз недоумеваю, почему люди, любящие ее творчество, любовь свою переносят и на меня, и вообще на родственников. Если любишь Маяковского, обязательно ли любить его сестру? Восхитившись Ахматовой – обращаться к ее сыну, внукам? и т.д. Зачем людям эта *вторичность*? Непонятно.

Любовь свою (ну, скажем, к творчеству Цветаевой), если она, любовь, – настоящая, надо, кажется, вкладывать не в переписку с родственниками, а в дело, в свое дело, в дело своей жизни, с цветаевской же настойчивостью, с ее же целеустремленностью, мужеством... Вот тогда-то будет прок от «чувства любви к...».

Пусть *Вас* это не обидит, это просто мысли вслух.

Меня это не обидело, наоборот. Я рада была, что нашла в дочери Марины Ивановны поистине цветаевский характер – строгий, взыскательный, самоотверженно-сосредоточенный. Никакой расслабленности либо сентиментальности. И эта крепость характера многих, вероятно, смущала: Ариадна Сергеевна казалась неприступной, недоступной. На самом деле она была человек сердечный, но – деятельный, жалевший время и силы на пустые отношения. Вспоминаю, как тепло отнеслась Ариадна Сергеевна к моему больному, тоже недвижимому приятелю Сергею Семизарову (они познакомились без моего посредничества). В праздники она посылала к нему своих добровольных помощниц – со сладостями и книгами. Она подарила ему вожделенные два тома «Консуэло» Жорж Занд – с надписью: «Мама моя любила эту книгу».

Я не докучала Ариадне Сергеевне, но все-таки изредка писала ей, а Ариадна Сергеевна неизменно поздравляла меня с Новым годом. В открытке от 24 декабря 1972 года я вдруг прочла: «Давно нет от Вас вестей – напишите словечко...». И далее:

В 1972 г. маме исполнилось (бы) 80 лет, но «в верхах» было решено юбилей этот не отмечать, по-видимому, он не «состыковывался» с 50–летием (отъезда М.Цветаевой из Советской России. – *Ред.*), а м[ожет] б[ыть] и еще какие-то причины, недоступные элементарному нашему разуму. С трудом было опубликовано *одно* стихотворение в ленинградском «Дне поэзии» и несколько переводов Пушкина на французском языке в нашем журнале «Oeuvres et opinions» № 9, 1972. В мартовском № журнала «Звезда» (1973) м[ожет] б[ыть] выйдет кусочек моих воспоминаний с отрывками из детских записных книжек. Но это только «может быть»; ничто не прочно под луной!

Воспоминания эти вышли, и Ариадна Сергеевна сразу прислала мне журнал с дарственной надписью: «О прошлом – и непреходящем!». Письмо и подарок меня очень растрогали. Воспоминания я тут же проглотила. На мой взгляд, они резко выделяются среди мемуарной литературы своим лаконизмом и взвешенностью каждого слова, каждого суждения. Вместе с тем в них немало тонкого, подспудного юмора, вообще очень свойственного Ариадне Сергеевне, но не вдруг замечаемого. Это по-особому оживляет и согревает строгий, выверенный текст. Глубина же характеристики Марины Цветаевой – человека и поэта – уникальна. Достаточно вспомнить два слова: «космическая камерность»...

Приведу теперь почти полностью февральское письмо Ариадны Сергеевны, которое обращено не к прошлому, а к современности.

Милая Саша, рада была Вашему письму – и всегда рада им; но не всегда, увы, способна ответить; теперь меня – т.е. времени моего, жизни моей! – недостает на письма; к старости человек замедляется, а обязанности его, как правило, увеличиваются, тем более когда их не только не на кого переложить, но окружающие, окружающее, норовит подсыпать тебе и подсудобить собственные свои обязанности и задачи. Единственный, впрочем сомнительный, плюс – это то, что за чужими, нарастающими болезнями и нуждами решительно забываешь о своих, не менее нарастающих. Что поделаешь! Действительно – кабы юность знала, как бы старость могла!

Вы молодец, что побывали в Москве, несмотря на все сопряженные с этим трудности и на лютую жару минувшего лета! (...) Еще совсем немного времени, и от Москвы вообще *ничего* не останется. Вместо волшебнейшего, живописнейшего, уникальнейшего города на моих глазах вырос бездушный, казарменный аноним, оглупляющий и унифицирующий его обитателей. Убеждена в том, что *стандарт* городского жилища и городского пейзажа способствует и стандартизации так называемого «духовного мира» его обитателей. Что, вероятно, и требуется. В таком городе можно заниматься точными науками – поточными науками, и – работать «в сфере самообслуживания». Но писать стихи? картины? музыку? Жить, творить, любить – безвозмездно, бескорыстно?

Жаль, что я не знала о предполагавшейся Вашей поездке – хотя встретиться мы вряд ли смогли бы, так как я с весны до поздней осени в Тарусе и оттуда теперь не выбираюсь – не ходят мои ноженьки или почти! – но я рассказала бы Вам, что на Ваганьковском, вблизи самой церкви, похоронены мамины близкие – и ее родители, и деды, и брат. Правда, в семейную ограду, где ревностно охранялось и оплачивалось одно «свободное» место – тайком, за взятку, перехоронили с задворков того же кладбища некоего вполне современного татарского «поэта», к тому же, при жизни, стукача: и никакие силы – вплоть до Моссовета – не могут его «выхоронить» оттуда (не из Моссовета, а из могилы!) и выдворить на прежнее место. Великая символика в этом – если вспомнить мамину Елабугу и то, татарское, кладбище! Да и вообще...

К тому же в самом центре, в двух шагах от просп[екта] Калинина с его небоскребами Вы смогли бы увидеть чудом (пока!) уцелевший домик на улице Писемского (бывш. Борисоглебский переулок) – где жила мама вплоть до отъезда в 1922 году.

Всего, всего Вам самого доброго, сил и внутренней устремленности, света внутри себя и вокруг – и да сбудется Ваш (трудный) диплом. Пишите мне, если и когда захочется! Ваша *А.Э.*

Летом 1973 г. я снова приехала в Москву, мы побывали на Ваганькове, долго искали цветаевские могилы, почти отчаялись, но вдруг в конце узкой тропинки увидели среди деревьев глыбу черного мрамора, – это оказался памятник тому самому «татарскому поэту», памятник, нависший над чужими могилами...

Невысокие старые надгробья с крестами, старые надписи, новые слова о том, что могила И.В.Цветаева «охраняется государством», но впечатление неухоженности отрицало эту охрану...

Я написала Ариадне Сергеевне в Тарусу, она откликнулась быстро и большим письмом:

Милая Саша, если Бог даст благополучно эвакуироваться из нынешних тарусских грязей, и если это произойдет тогда, когда Вы еще будете в Москве, позвоню вам и узнаю «с живого голоса» о Ваших делах, о которых Вы, почему-то, ничего не пишете. (...)

Судя по названию улицы[1], на которой Вы приземлились, она принадлежит к городку художников, которым то ли в 20-е, то ли в 30-е годы было дано право застроить данный участок домиками с мастерскими. Там, на ул. Сурикова, жила мамина, еще с коктебельских лет, приятельница Надежда Крандиевская, скульптор, и ее сын, тоже скульптор, Андрей Файдыш; обоих уже нет в живых, но в доме (№ 29) обитает «молодая поросль», дочери Андрея, тоже художницы, и их мужья, кажется, тоже прикосновенные к искусству.

Что до Ваганьковских могил, то за ними, по сути дела, некому (из родных) присматривать: А[настасия] И[вановна] стара, Е[вгении] Мих[айловне], вдове Андрея Цв[етаева], тоже уже 78 лет (все годы именно она присматривала за «цветаевским участком»), меня – ноги не носят и недостает меня и на четверть того, что делать нужно, хочется и требуется. Внукам (А[наста-

[1] Улица Венецианова на Соколе.

сии] И[вановны] и Андрея) до всего этого и дела нет. Единственное, что теперь делается, – вносится плата за уход, уборку, каковая плата, по-видимому, расходуется на нужды живых, не имеющие ничего общего с соблюдением благообразия могил. Хорошо, что у деда есть музей, у Марины – книги, есть и будет чем помянуть их. Русские люди вообще не любят своих кладбищ, они везде и всюду в ужасающем состоянии, как и надлежит у Иванов, родства не помнящих. Это тебе не Прибалтика – и вообще не Европа; это тебе – Россия, – храни ее Господь, ибо сама себя она хранить не умеет.

Моя приятельница только что вернулась из туристической поездки по Соловкам и Карелии; бывалый человек и, так сказать, пожилой – всего навидалась за свои 70 лет, но и то удивляется краткости человеческой памяти: никто из гидов не был в состоянии рассказать о соловецком прошлом – не то что не хотели, или – не велено, просто – не знали, почти совсем ничего ни о монахах, ни о заключенных, ни о рукописях, ни об иконах, ни о скитах, ни... ни... ни... Сам «архитектурный ансамбль», несмотря на циклопическую кладку, в самом печальном и аварийном состоянии. Копошатся там студенческие реставрационные (на общественных началах) отряды, но реставрация в основном косметическая, а не по существу.

Когда Ариадна Сергеевна вернулась из Тарусы, мы говорили с ней по телефону несколько раз. Голос ее незабываем: удивительно молодой, мелодичный, с мелодичной же маленькой хрипотцой и легким покашливанием – очевидно, из-за курения. Интонация текучая, но твердая. Можно было уловить некоторую затрудненность дыхания: у Ариадны Сергеевны ведь было больное сердце, а лечила она его лишь чаем из корня валерианы, который весело рекомендовала от всех недугов, в том числе от плохого настроения. Вообще к здоровью своему Ариадна Сергеевна относилась, я бы сказала, отчужденно, почти не обращаясь к врачам...

Говорили мы обычно недолго, но энергично, даже весело. Иногда Ариадна Сергеевна что-нибудь вспоминала, например, как они шли с Мариной на последнюю разрешенную советскими властями заутреню в Успенском соборе Кремля. Было это, кажется, в 1919 г. Помню ее отзыв о храме Христа Спасителя: что сам по себе собор не был особенно интересен, но прекрасно организовал пространство. Говорила она лаконично и небанально, остро, но без оригинальничанья. Например, мой способ изучения английского языка с помощью чтения параллельных текстов назвала «античным», то есть древним, устарелым, архаичным. Но вместе с тем в слове «античный» в данном контексте есть и особый аромат, и особая ирония... Вообще речь ее была прекрасна, непроизвольно художественна, выразительна. Жаль, что я не записывала никогда и ничего, а память сохранила лишь общее впечатление.

Той осенью мы однажды были у ее дома на «Аэропорте», но не решились подняться на 7-й, кажется, этаж. Может быть, напрасно. Правда, один из моих друзей ездил к ней, возил баночку ястребовского меда, который она взяла запросто, не чинясь.

По возвращении домой, в ноябре 1973 г., я получила от Ариадны Сергеевны открытку, – она вообще любила писать на двойных, простых открытках:

Как Вам доехалось, Сашенька, как приехалось, как живется, и – вживаетесь ли? А то может, вернее, приходится иногда жить не вживаясь. (...) Если время у Вас совпадает с желанием – напишите словечко. Как движется диплом? Помогла ли Вам Москва, или – только растравила?

Мало о Вас знаю, и узнала мало, и то, что узнала – как-то *мимо* Вас, м[ожет] б[ыть] потому, что человеку необходимо говорить о себе, вернее, о судьбе. Обнимаю Вас. *А.Э.*

На мое письмо (с фотокарточкой) Ариадна Сергеевна вновь ответила быстро:

С наступающим Новым годом, милая Саша, – сил, здоровья и радостей побольше Вам в нем! Спасибо за письмо и за фотографию, на которой Вы выглядите весьма дерзкой юной особой, вроде Маленькой разбойницы из «Снежной королевы», это про вас милый человек Маршак написал, что, мол, не подходите близко, я тигренок, а не киска! Да, удивительно, поразительно и возмутительно не по адресу навалилась на Вас эта болезнь; навалилась, но не подмяла. Кто связал вам «пончик», который вам так к лицу? Неужели сами? Рукодельничать

– не в Вашем характере, кажется мне; зато в моем, сколько шерсти нанизала я на спицы на своем веку! Только вот в нынешнем году отвалилась от этого занятия; даже на него недостает сил. Впрочем – а вдруг они, силы, вернутся хоть в десятую долю былого? Хорошо было бы. Очень уж укатали Сивку крутые горки – теперь и по ровному месту «не тяну» – а как жаль!

Посылаю Вам, как видите, свою «неподвижную личность» («пусть на память тебе остается неподвижная личность моя!») – она, личность, моложе меня нынешней на пять лет. Тогда я еще везла и тянула. Недавно *мне* повезло – попала на выставку сокровищ Тутанхамона в «дедушкином» музее (не по родству с дедом, а просто высокопоставленный муж одной приятельницы раздобыл билеты) – ажиотаж вокруг выставки великий, но... больше половины посетителей на ней не задерживаются, т.к. ... *понимать* надо и еще что-то сверх и помимо золота, представленного там в неимоверном количестве. Очень *трогательно* все увиденное; именно трогательно – своей неимпозантностью, несмотря на золото! – своей близостью, несмотря на разделяющие нас от тех тысячелетия, близостью и повторяемостью человеческих судеб, юностей, ритуалов, законов и неизбежностей. Все экспонаты в такой удивительной сохранности, что нет ни на одном из них налета музейности, почтенной древности, праха веков; дальная и чужедальная жизнь предстает во всей своей нетленности...

В этом повествовании – лишнее подтверждение глубокой отзывчивости этой бесслезной души, увидевшей в выставке сокровищ прежде всего «очень *трогательное*». Достаточно вспомнить нежный профиль юного фараона и представить всю скорбь его погребения, чтобы благодарно согласиться с Ариадной Сергеевной.

Весной 1974 г., вновь приехав в Москву, я говорила с Ариадной Сергеевной по телефону перед ее отъездом в Тарусу. Осенью она снова собралась туда на неделю-другую, но кошка, прожившая у нее лет 15, собралась умирать, и Ариадна Сергеевна осталась в Москве. По телефону она сказала мне о предполагавшемся двухтомнике, а то и трехтомнике Цветаевой, для которого все готово. Вероятно, речь шла об издании, вышедшем в 1980 г.

К Новому 1974 году пришла от Ариадны Сергеевны традиционная двойная открытка.

Только что получила Ваше письмецо, рада, что у вас прелестная племянница и настоящая зима. (...)

Спасибо за милые стихи; они мне показались несколько по *поверхности* и осени, и сердца; в них (стихах) есть «настроение», а чувство осталось под спудом.

Сделав несколько конкретных замечаний, Ариадна Сергеевна заключила, что в любом случае «хорошо, что они (стихи) пишутся. Дай Бог!». И далее:

Насчет «Звезды» ничего не знаю; в начале года должны приехать согласовывать со мной купюры, на которые я вполне способна не согласиться. Тогда придется забирать рукопись обратно.

Последняя открытка от Ариадны Сергеевны датирована 18 февраля 1975 г.:

Милая Сашенька, на днях Вы рождаетесь, а пока открытка дойдет, то, верно, уж и родитесь, и настанет тот самый единственный в мире – для мамы – день, когда ее совсем маленькая девочка взглянула совсем новенькими глазами на эту, сверх-удивительную, жизнь.

Поздравляю Вас – и маму – и всех Ваших близких – с этим событием и желаю всего самого доброго и радостного.

Что у Вас слышно, что у Вас видно? У нас только в феврале проснулась зима, от которой мы все успели отвыкнуть за долгие месяцы сырой темноты – как в Лондоне и Париже, но без Лондона и Парижа, и мы радуемся снегу и свету и облагороженному ими воздуху. Мороз достигает –20°, и – девичьи лица ярче роз! Сама-то я редко выхожу, не потому, что не хочется, а потому, что неможется; но и то слава Богу, что только неможется! Работаю по 8–10 ч. над материнским архивом, сдаю его по частям в ЦГАЛИ. Надо возможно больше успеть... пока жива. Потом поздно будет! Ну, еще раз и много раз всего Вам доброго и хорошего! *А.Э.*

Это поздравление было совершенно неожиданным и бесконечно меня тронуло и обрадовало. Я знаю, что Ариадна Сергеевна очень много работает, разбирая «Маринины дебри», как она говорила. Помогала ей молодая сотрудница ЦГАЛИ, о которой Ариадна Сергеевна отзывалась одобрительно, особенно отмечая, что у нее ничего «к рукам не прилипает», то есть архив не расползается, хотя бы и изустно. Ариадна Сергеевна очень этого не хотела, опасаясь, очевидно, искаженных и искалеченных публикаций.

В мае 1975 г., приехав в Москву, я позвонила Ариадне Сергеевне и была поражена безмерной усталостью ее голоса. Говорили мы недолго. Вскоре она уехала в Тарусу. В июле удалось купить № 6 «Звезды» с воспоминаниями. Хотелось написать ей, но сразу не собралась, а потом было поздно.

Седьмого августа я ехала из Москвы домой. Я помнила, что это – день смерти Блока... Яркая рябина вдоль железной дороги напомнила мне и о Марине, и, естественно, об Ариадне Сергеевне. Пришли на память цветаевские строки 1918 года:

– Сивилла! – Зачем моему
Ребенку – такая судьбина?
Ведь русская доля – ему...
И век ей: Россия, рябина...

Вечером 8 августа мне позвонили из Москвы и сообщили о смерти Ариадны Сергеевны. Было непоправимо тяжело, сиротливо, горько. Месяца через два написались стихи памяти Ариадны Сергеевны. Вот они:

Ваш голос не услышу никогда.
Ваш голос не забуду никогда.
В нем звон ручья
И холодок ручья...
Устали руки и застыли руки,
Не выдавшие сокровенной муки,
Видавшие заботу и беду.
И лоб недвижен, и недвижны веки,
Опавшие сегодня и навеки...
Зачем цветы ненужные кладу?
Круг завершен, и вспыхнула звезда,
И прошлое померкло без следа...
Но все слова постылы и мертвы
И мир мертвее, потому что Вы
Ушли в глухую землю навсегда.

Однажды Ариадна Сергеевна, продолжая мысль о том, что каждый человек, тем более – поэт проходит свой, особый круг судьбы, сказала: «Судьба Марины прекрасна: она лежит в родной земле». Прекрасна и судьба самой Ариадны Сергеевны – человека высокой, сильной и верной души, глубокого ума и непреклонного духа.

Гасан ГУСЕЙНОВ (Москва)

ОПЫТ УТРАТЫ

1.

Утрата чувства реальности – одна из самых обидных, даже для того, кто сохранил чувство юмора и может бормотать себе что-то под нос в утешение, когда все вокруг только и говорят тебе: «Да ты рехнулся, бедняга! Ты совсем потерял чувство реальности!»

О да, жизнь без этого чувства опасна, а понимание действительности – до чрезвычайности болезненно.

Когда все стало не так, как было прежде, как было еще вчера, тогда любая попытка разобраться в происходящем заставляет тебя, расписавшегося в потере чувства реальности, начинать от печки, отыскивать прочную опору в доступном тебе прошлом и оттуда шаг за шагом выбираться в это непонятное «здесь и теперь». Чем круче перемены, тем дальше в историю засасывает твои бедные мозги. Чем меньше ты сам знаешь и помнишь, тем сильней тебе хочется укрыться в толпе подобных тебе, жадно ловящих чей-то спокойный голос: «Я знаю, где собака зарыта».

Безотчетная уверенность в том, что спокойный прав, обманывает тебя, и ты вместе со всеми идешь смотреть собаку.

2.

В нашем случае действие происходит в Нью-Йорке – самом еврейском городе мира, где у моей матери и, стало быть, у меня, обнаружились дальние родственники: не столь дальние, чтобы они приходились родственниками всем остальным имеющимся на сегодняшний день в мире евреям, но и не столь близкие, сколь те старшие члены нашей семьи, кого уничтожили гитлеровцы пятьдесят лет назад на Украине.

Уже третьему поколению американских родственников – по 30–40 лет от роду. В отличие от некоторых других евреев, работающих в области индпошива, стрижки и бритья, наши родственники процветают в не менее обширной сфере юриспруденции и бизнеса; утром они в конторе, днем в галерее, вечером в Карнеги-холле, а в субботу – в синагоге.

Мой чтущий иудеев отец-мусульманин составил советскую половину генеалогического древа семьи за нынешнее столетие и конец прошлого. Общая дата смерти у большинства «наших» – 1941 – ввергла американцев в нечто вроде минуты молчания. Надо же, подумалось мне, никогда не предполагал, что потомок глупых евреев может так поразить потомков умных евреев. Они смотрели удивленно – так, будто то, что они читали в своих университетах и школах, о чем им говорили в синагогах и что показывали по телевизору, – это одно, а четвертушка бумаги с мелко переписанными именами – совсем, совсем другое. И я, похожий больше на араба, чем на еврея, – это и не я вовсе, а чуть ли не из ямы спасенный одессит, назло смерти успевший догрести до парохода.

Эту минуту бессмысленно продолжать словами, и я говорю о ней не для того, чтобы кого-нибудь растрогать. Наоборот. Смысл рассказа в том, что даже самая развитая цивилизация не наделяет опытом: книжное, назубок выученное и уже привычное растворяется под каплей чернил на бумажке из настоящего мира.

Завсегдатаи лучших нью-йоркских музеев и читатели книг, рекомендуемых «New York Review of Books», эти дети еврейского золотого века, глядели на меня как на хасидского цадика, который вот-вот скажет им что-то особенно важное, но поскольку сам я в мосторговском пиджаке чехословацкого

производства чувствовал себя скорее хасидским Хлестаковым, ничего особенного не могло ни произойти, ни быть услышано.

Нам предстояло разойтись и думать порознь о нашей родовой дендрологии.

3.

В огромной стране, откуда я приехал и где меня, думал я, ждет моя любимая вавилонская Москва, тут и там голосят теперь об этом самом золотом веке, о возрождении народов и стран, о том, как сладко взять, наконец, и сбросить вавилонское иго. Каждому есть что вспомнить, и у каждого есть свой золотой век. Возродить желательно, конечно, именно его.

Там, где золотой век одних не совпадает с золотым веком других, спор решается в духе века железного. Переменчивость Фортуны, равно как обилие в патриотических войсках многих тысяч профессиональных бездельников, обещает продолжительный и все более взаимоистребительный разбор. Тогда-то все и узнают, где собака зарыта.

Тем временем все более очевидно, что у одного из народов славного моего Вавилона не только никогда не было золотого века, но он здесь как бы и не предусматривался вовсе, совпадая в благодарной памяти каждого последующего поколения соседей со Страшным судом. Очевидно, что судьба у этого народа в Вавилоне одна – собирать вещи и уносить ноги.

Но если очевидно, то – для кого?

Для того, кто сохранил не только чувство принадлежности к этому народу, но и чувство реальности. А я ведь не шутил, когда сказал, что совершенно его потерял. Рассудком я и сам схватываю смысл того, что написал: в драке потерявших разум племен нет места тому, кто хочет как раз остатки разума сохранить. Однако же не все ведь его потеряли?

Ну да хоть бы и все.

4.

Вместо понимания жизнь подсовывает твоему худосочному книжному разуму новый чужой драгоценный опыт. Дурацкая шарманка, и два, и двадцать два раза прокручивающая одну и ту же тоску сквозь свои свистящие, но неутомимые легкие, ведет нас в Германию.

Сначала – для порядка – в славный ганзейский Любек, где сохранилась одна из пяти по случайности не разрушенных гитлеровцами синагог, в которой навстречу вам выйдет старый кантор, дабы рассказать, что из 698 любекских евреев в живых осталось двое, а после войны приехало еще человек десять, так что ребе сюда больше не приезжает, и суббота проходит едва ли не как попало. Есть только надежда, что из тех сотен тысяч, которые покидают Россию, тысяч несколько, может быть, переберется к нам сюда.

Ваш еврейский опыт в Германии очень обогащается, когда вы узнаете, что в другом, менее известном, городке открылся л а г е р ь беженцев, в благоустроенных б а р а к а х которого и живут первые сотни еврейских семей, переехавшие из разных городов России этим летом.

Слов, конечно, пугаться не надо: лагерь – это поселок городского типа, а в бараках – квартиры улучшенной планировки. Не боялись здесь евреи, возможно, и тогда, когда в одном из городов близ французской границы какими-то молодчиками было осквернено чудом уцелевшее крошечное еврейское кладбище. Тысячи немцев со всей округи встали тогда в проливной дождь под транспарантом с одной-единственной фразой: «Германия не должна повториться!».

Философ Райнер Мартен, мятежный ученик Хайдеггера, не прощавший учителю подыгрывания нацистам, высказался без лишнего пафоса: «Она и не повторится: потому что мы все выйдем на улицы, и больше они не пройдут». У студентов и читателей Райнера Мартена нет оснований не верить его сло-

вам и чувствам. И хасидский Хлестаков из вавилонской Московии раз и навсегда ему поверил.

Тем более, что он слышал и другие речи немцев.

Франц-Армин Морат, промышленник и меценат, основатель галереи современного искусства и института искусствознания во Фрайбурге: «Им нет прощения за истребление людей, но нет им прощения и за то, что они оставили Германию без евреев, из-за них наши дети и дети наших детей так и не поймут, что их страна вовсе не всегда была такой постной и пресной, как теперь... Правда... (он помолчал) не была и такой безопасной...»

5.

Мне, не замечающему ни постного, ни пресного, кажется понятным: о да, она была для них опасной.

Так ты, потерявший чувство реальности, понимаешь ли это слово – опасность?!

Здесь, в Германии, каждый камень напоминает: достаточно нескольких месяцев, даже недель, для превращения здоровых цивилизованных людей в людоедов. Пусть даже их будет меньшинство, оно успеет обглодать твои косточки прежде, чем проснутся гуманисты, философы и полицейские.

Нигде они еще ни разу не подоспели, чтобы спасти старика, ребенка, женщину, поэта, всем надоевшую вонючую корчмарку Двойру и безобразного пархатого ростовщика Ицика.

Они не смогли спасти даже никогда не ощущавшего себя евреем православного священника, рожденного еврейской матерью, за что и убитого. Лучшее и самое благородное, на что они способны, – это минута бессильного молчания в парламенте. Здесь нет больше ни Короленко, ни Льва Толстого.

Хочешь не хочешь, а подобрались к твоей утрате – к чувству реальности. Оно вернется к тебе в том и только в том случае, если ты забудешь, – нет, даже не так, – если просто перестанешь принимать всерьез Короленко и Льва Толстого. Последний, помнится, в 1891 г. стоял там, где кончается Тверская улица – настоящая, а не теперешняя, бывшая Горького, и, снявши шапку, провожал евреев, в очередной раз депортируемых за черту оседлости, но, как говорил один из вывозимых, – «вовнутрь».

Это было, и этого нет, и оно стало такой же книжной премудростью, как Екклесиаст или книга Иова. Не станешь же ты, коль не дурак, принимать их всерьез? Тем более, что стародавние иудейские права на книгу весьма сомнительны, а вам, распинателям веры, царя и отечества, давно пора уносить ноги с христианнейшего нашего разбора.

6.

Итак, снова, как в золотом Нью-Йорке, книжному, несуществующему, нежизненному предложено подвинуться перед реальностью? Придуманному и прошедшему – спасовать перед настоящим и наступающим?

Хватить кривляться, скажут тебе, жертвоприношение твоего поколения – на благо грядущих – уже началось, и это делает бессмысленным весь приобретенный тобою книжный опыт. Ты зачитался. Духовной реальностью возрождаемой России обещает быть не всечеловеческий Владимир Соловьев, но паноптикум новых ряженых, сфотографированных на фоне подлинных зданий с декоративными именами.

Подлинный мир Якиманки или Покровского собора оседлан теми, кто умеет скрыть лицо и тело, но – не строй мыслей: «1 октября в Москве под председательством... состоялось заседание... Заслушав доклад митрополита... в ходе которой обсуждались пути решения спорных вопросов... выразили надежду... Были рассмотрены некоторые другие вопросы внутренней и внешней деятельности Русской Православной Церкви, по которым приняты соот-

ветствующие постановления» (Московский Церковный Вестник, № 22/40/, октябрь 1990). Узнаете наш славный большевистский намаз?

Но с другого боку тебе предлагается глядеть, как ополоумевшую толпу оседлывают бывшие законопослушные прокуроры – плоть от плоти разлагающейся преступной системы, тебе предлагается иметь дело с этой духовной реальностью и считаться с нею. Этих-то рож тебе и предложено бояться.

Не знаю, есть ли в книжной памяти России что-то похожее на нынешнюю хамскую профанацию христианства силами воинствующих безбожников. Фантасмагорическая реальность, данная ныне верующим в телевизионных и партийно-правительственных ощущениях, триумфально овладевает желанным речевым аппаратом: «Святейший Синод освободил архимандрита имярек от обязанностей настоятеля храма Воскресения Христова в Рабате (Марокко) в связи с истечением срока зарубежной командировки» (там же).

Да, видно, здесь старая система укоренилась как нельзя лучше, новые племенные вожди уже обрили своих новобранцев и подступили к твоему духовному подполью. Это новый, веселый народ, но он тебя не защитит: под соборностью он понимает духовную первомайскую демонстрацию, а под духовностью – чтоб просторно и без посторонних.

7.

Когда тебя, инвалида застоя, палкой погонят (простите, простимулируют на выход) из этого твоего приютного подполья, где Россия, не жалея последних сил для окормления твоей алчной многородной натуры, хранила тебя от чувства реальности – в пропахших мышами и плесенью залах Исторички, или в сквозящем из всех щелей, что не спасало от духоты, кинозале «Иллюзиона», или в твоей квартире, чей коммунальный коридор украшала телефонная будка, а двумя этажами ниже размещалась очередная нелепая советская контора, именуемая по случайности талмудическим именем Цнотхим, – когда в связи с истечением срока существования режима тебе предложат считать твое личное прошлое якобы и не бывшим, ибо интеллигенция как русско-еврейское подполье будет окончательно разоблачена рожами, тогда уже не поторгуешься. Поэтому спеши объясниться и, если сопротивляться рожам, то можешь ли ты ответить: зачем?

Какие ценности способно сохранить худосочное племя, которое и общностью-то было лишь под давлением режима?

Ты должен ответить на этот вопрос вполне серьезно. Как бы ни было тебе смешно выполнять предписания людоедов и самоопределяться в соответствии с... ладно, скажем в утешение – левантийской формой твоего носа, а не с русским содержанием твоих мыслей и чувств, этот способ самоопределения личности становится сегодня главным на одной шестой части земной суши. Однако тебя должны сейчас волновать не глобальные последствия деградации больших масс людей, но твоя частная позиция – во всей ее нежизненности.

В прежние времена она срабатывала: вся ваша братия без больших потерь приспособилась к режиму. Плита его стала от времени пористой и большинство из вас как-то угнездилось в теплых порах, в нишах. Вы стали таскать туда книжки, бутылочку в кармане, философствовать под селедочку, бумагу понемногу марать, детишек нарожали, и их стали учить книжки читать, и вот уж они бумагу помарывают. И вот, страшно, по обыкновению, далекие от народа, сосредоточились на двух главнейших вещах, соответствующих этому образу жизни, – на безответственном стремлении к многознанию (да-да, правильно, которое уму не научает) и к абсолютному наслаждению маленькими радостями бытия.

Этот мир безостановочного общения, или, как вы бы сами сказали в 70–80-е гг., смеясь, континуум итеративнейшей коммуникации, был гипостазирован и обоготворен. Каждый и каждая подпевали Окуджаве про муравья, который «создал себе богиню».

Брезгливый ужас, испытываемый вами перед убогой социальностью, был едва ли не сильнее страха неосторожным шевелением попасть под плиту. Поэтому социальная полезность вашей индивидуальной умственной работы состояла лишь в том, что обеспечивала вас официальной лицензией внесоциальности и антиобщественности. В итоге вы сплавились в тонкую, но тягучую прослойку, которая, когда разламываешь весь этот пирог на куски, неприятно пристает к пальцам.

Да-да, тот надмирный гигант, что ломает сейчас самую большую на глобусе страну, безуспешно соскребывает и соскабливает эту пленку с пальцев. И этим хочет научить тебя чувству реальности, чувству большого куска.

Опять пришла пора перевоплотиться народному телу, реализовать социальное. Тут-то как раз бы извлечь ваше полезное знание. И некоторые сунулись было с ним в советчики, но еврейская ваша прослоечка гугнит, что, мол, много всякого было в российской социальности, – была там семь столетий назад новгородская республика, а семь десятилетий назад – религиозно-философское общество имени Владимира Соловьева. Но в истории, мол, засчитываются, увы, лишь удавшиеся попытки. Они в России пока что мало утешительны. Большие планы, дивные грезы, а государственно-общественная жизнь все гадость какая-то. То шпицрутены, то гулаг, то вот этот свежий первомай с хоругвями в проходе из ГУМа в мавзолей. Хоть вой. Но, говорите вы, понимаем и мычим – не воем. Мы кое-что узнали, знаем и наслаждаемся жизнью. Нам грустно и нездорово, память болит, но мы счастливы бесконечной близостью к другим, таким, как и мы, свободно избранным нами, в свою очередь избранными ими.

И вот этого твоего понимания, этого глумления никогда не простит тебе Большой. Он, впрочем, и сам умеет глумиться в ответ. И он прогоняет тебя туда. На Запад, где другой Большой. Хорошо одетый, разнообразный, трезвый, сытый и добрый.

8.

Наш человек, он, когда попадает туда, сразу немного остывает. Уезжал – был восьмидесяти градусов, а прибыл на место, пообвыкся – стал двадцати. Вписываясь в нормальную социальную жизнь, остываешь, потому что, оказывается, социальная норма меньше всего есть предмет знания или понимания частного лица. Частное лицо живет, чтобы жить. Те немногочисленные скандалисты, эксцентрики и сексуальные меньшинства, что претендуют на независимое мнение, суждение или знание (в любой его форме), становятся социально значимыми лишь в товарном виде и безостаточно растворяются в народном теле. В противном случае такая претензия на свободу есть просто реализация священного права на частную жизнь и, таким образом, никакой прослойки, никакого социального континуума создать не может.

Обслуживая в мире социальной нормы свою атавистическую жизненную философию, философию, немыслимую без чайника на плите и Витьки, который обещал зайти, но, как обычно, никак не идет, а ты подожди уходить, пока он не пришел, – этот вот ленинградский или томский, московский или полтавский «ты» и греешь воздух, оставляя себе 20 градусов под кожей.

Ты понимаешь, что являешься лишь недоразумением природы, дикобразом, грезящим, что он – фламинго.

Таков функциональный еврей, которого история России подшила под одну обложку с евреем органическим. Для выживания на Западе надобно оставить только органическое еврейство, а функциональное – отправить в печь.

9.

Это и есть обретение чувства реальности, или потеря чувствительности к невыносимой пошлости «организации эмиграционного потока», сработанной

шустриками с понятной и здравой целью обеспечить себе хлебное место в Палестине. Чтобы не быть съеденным в качестве гражданина мира, надо быстренько нарисовать на лице местечковое выражение, выучить азбуку, посидеть с недельку на кошерном – и в мгновение ока, как привидение, исчезать туда, в белое и голубое, желтое и зеленое, в пески, к арабам.

В конце XIX и начале XX в. евреев в России гноили и гнали по органической линии – как жидов, в середине XX в. – по функциональной, как космополитов и масонов; стало быть, в конце славного столетия положено восстать на них как на жидо-масонов. Так что пошлый ответ органического еврейства на эту диалектическую триаду есть лишь отражение пошлости века, бездарности основных участников исторического процесса.

Что мы имеем здесь дело с тою же профанацией еврейской культурной традиции, какую испытывает русское христианство, очевидно. Простые люди, вовлеченные в поток, пока что и не виноваты в злоупотреблениях племенных вождей. Люди жаждут надежного органического статуса, ибо кто же не хочет распрямиться, кто не хочет полета души, кто не... Да, впрочем, уже началась пошлятина.

Но она обеспечивает той простой, немудрящей жизненной прочностью, из которой десятилетия и столетия назад евреи строили мосты – из Палестины, из Испании, из России, из Польши. Там, где случилась ошибка, она произошла от многознания, от культурных излишеств, от слишком глубокой ассимиляции, безостаточной, как казалось, растворенности в немецкой культуре.

Учитывая высокую стоимость этой ошибки, я, как говорится, готов взять свои слова обратно. Еврею опасно забывать, что он еврей. Все равно, конечно, обязательно напомнят. Но могут в очень неожиданной форме.

Однако ирония функционального еврейства или жизненной философии русской интеллигенции с ее, как выражается один презирающий малых сих герой гулага, мелкими «правдежками», состоит в том, что, и живя историей, живя голосами и судьбами многих поколений, это еврейство отрицает самое идею извлечения полезного исторического опыта.

Память очень хорошая и полезная вещь, но многознание никогда не приводит к пониманию, и, строя свое поведение на исторических выкладках, ты можешь стать жертвой еще горшей ошибки, чем та, что была совершена немецким еврейством в 30-х гг. нынешнего столетия. Например, тем, кто с топорами и лопатами тщится откопать из трясины времени золотой век, предстоит еще натыкаться на черепа самих немцев, простреленные черепа главных специалистов по истории.

Нелепый комплекс овцы, взращиваемый в советских евреях их собственными вождями, но главным образом одичавшими соседями – христианами и мусульманами, а в основном-то – безбожными пролетариями-всех-стран-соединяйтесь, – этот комплекс подвержен неведомым мутациям под жарким солнцем Палестины.

Я говорю «неведомым», ибо страшусь последствий истерики. Истеричный отказ Маркса от еврейства – это всего лишь эпизод из жизни одного немецкого еврея, но как дорого именно он обошелся другим, вскочившим на подножку самого передового паровоза. А истерическое припадание к незнакомым еврейским родникам – дело новое, в истории, так сказать, не опробованное, и хочется верить, получится что-то хорошее. Как же не верить?

10.

Вот, например, в Америке, там все евреи гордятся собою дважды – как евреи и как американцы. И я говорю это без всякой иронии, а вполне серьезно и с чувством настоящей зависти и грусти.

А вот, например, в Москве я знаю одного парня, поймавшего себя однажды на том, что стал антисемитом, и пожелавшего разобраться в природе этого

своего греха. Обнаружилась довольно трагикомическая вещь: этот студент возненавидел евреев за то, что сам он – не еврей, а простой русский парень во всех доступных памяти коленах. Сокурсница-еврейка сначала стремительно вернула ему чувство собственного достойнства, а потом сообщила, что, поскольку он вскорости станет о т ц о м е в р е я, то должен пройти хоть какую-то начальную еврейскую подготовку. – Есть, – говорит, – тут один хасидский Хлестаков, московский цадик. Ты сходи. (То, что молодая семья, с многочисленными как еврейскими, так и русскими родственниками, собиралась эмигрировать, это, думаю, объяснять не надо.)

Загвоздка вышла с мнимым цадиком.

Неосторожно играя словами, легкомысленно полагая, что это для него слова имеют неустранимый смысл, а юноша – артист и хочет подразнить супругу, наш Хлестаков изобразил большую думу на челе и – точно на скверном уроке актерского мастерства – воспроизвел беседу рабби Менделя, любимого ученика рабби Бунима, со своей общиной.

«Чего, в конце концов, я требую от вас? Всего трех вещей: не выглядывать тайком из себя; не заглядывать тайком в других и не делать себя своей целью». Иначе говоря, не завидуй другим, а храни и освящай свою душу в ее неповторимости и на ее собственном месте в жизни; уважай тайну в душе ближнего твоего и не влезай в нее с бесстыдным любопытством, дабы извлечь из этого какую-то пользу для себя; и, наконец, в своем отношении к миру остерегайся, как бы не превратить себя в самоцель: ты все равно не принадлежишь себе, так не разыгрывай мнимого хозяина.

Вот, надеялся мнимый цадик, ты разложишь перед ним жемчужины из хасидской хрестоматии Мартина Бубера, он уйдет с ними по Собиновскому переулку, и они благополучно растают, как льдинки, не успеет он спуститься в метро на Арбатской площади.

Но не тут-то было. Наслушавшись в пересказе «Хасидских преданий», он попросил «хоть что-то по-русски» и получил довольно слепую машинописную копию «Пути человека» (как впоследствии выяснилось, в пер. В.Дашевского и Н.Файнгольда). И вот он стал читать последнюю, шестую главу.

11.

«Здесь, где ты стоишь».

«Когда молодые люди впервые приходили к рабби Буниму, он обычно рассказывал им историю, происшедшую с рабби Ициком, сыном рабби Йекеля из Кракова.

После многих лет тяжелой нищеты, ни разу не поколебавшей его веры в Бога, рабби Ицик увидел однажды во сне: некто приказывает ему отправиться за сокровищем в Прагу и отыскать его под мостом, ведущим к царскому дворцу. Когда сон повторился трижды, рабби Ицик собрался в путь и отправился в Прагу. Но мост день и ночь охраняла стража, и поэтому копать он не решался... Наконец, начальник стражи спросил, не ищет ли он чего-нибудь. Рабби Ицик рассказал ему о сне, который привел его сюда из далекой страны. Начальник стражи рассмеялся: «И в угоду сновидению ты, бедняга, истоптал башмаки, добираясь сюда! Ну, а если бы я верил снам, мне пришлось бы отправиться в Краков, потому что во сне я получил указание пойти туда и копать под печкой в комнате еврея Ицика, сына Йекеля! Легко вообразить, как бы я один за другим обходил бы дома, в которых половину евреев зовут Ицик, а другую половину – Йекель!». И он снова рассмеялся. Рабби Ицик поклонился, вернулся домой, откопал из-под печки сокровище и построил молитвенный дом, который называют «Синагога ребе Ицика, сына ребе Йекеля».

«Примите эту историю близко к сердцу, – добавлял обычно рабби Буним, – и сделайте своим достоянием то, что в ней содержится: существует нечто,

что вы не сможете найти нигде на свете, даже у цадика, и тем не менее есть место, где оно может быть найдено».

Эту очень старую историю мы встречаем у разных народов, но хасидизм облекает ее в совершенно новую форму. Действие не просто формально перенесено в еврейскую атмосферу. Решающее изменение состоит в том, что история эта стала как бы прозрачной. К ней не прилагается мораль, но рассказавший ее мудрец открыл, наконец, ее подлинный смысл и сделал его ясным.

Есть нечто, что можно отыскать только в одном месте. Это – великое сокровище, которое можно назвать реализацией существования. И обрести это сокровище можно в одном-единственном месте – там, где ты стоишь.

Большинство из нас лишь в редкие моменты ясно осознают тот факт, что они так и не изведали реализации существования, что живя, они не участвуют в истинном, реализованном существовании, что их жизнь словно проходит мимо истинного существования. Но мы постоянно испытываем ощущение неполноты и то, чего нам недостает, пытаемся найти где-то в ином месте. Где угодно, на другом конце света или своего сознания, только не там, где мы находимся, не там, куда помещены, – а сокровище скрывается именно и только здесь. Окружение, которое я воспринимаю как естественное; ситуация, которая дана мне как судьба, то, что происходит со мной изо дня в день, то, что взывает ко мне изо дня в день, – во всем этом скрыта моя насущная задача и та реализация существования, которая открыта для меня одного...

12.

Итак, неожиданно для своего невольного учителя, студент мой принял подсунутую ему книжку всерьез, он принял все содержащиеся в ней слова – попробуйте теперь понять меня буквально – за чистую монету. Очень скоро перестало иметь значение как то, что он стал отцом еврея, так и то, что перестал быть мужем еврейки, покинувшей перестроечный содом.

Совершив все положенные обряды, студент, к тому времени давно отчисленный, превратился в форменного, прямо-таки гоголевского жида. Мы столкнулись у Никитских ворот и поговорили. Я надолго уезжал из Москвы, и жгучий, безутешный стыд безбожника мешал мне прямо посмотреть ему в глаза.

«Да вы об этом и не думайте, – сказал он мне. – Просто хасидская мудрость, она – как вода в колодце, потому что построена на нарушении запретов уму. Стало быть, слова и вот эти истории, – хотите, назовите их притчами, – они к вам все время поступают, – вы уж не сердитесь за такие водопроводные слова. Ну, словом, все время здесь, и не дают чувству реальности завладеть вами. Благодаря этому вы и перестаете принадлежать себе».

Поистине, это не человек мучительно подбирает слова, а слова легко выбирают себе человека.

«Об одном учителе Талмуда говорили, что пути небесные сияют для него, как улицы его родного города». Это ли не мечта философа-космополита, так верно схваченная Бубером? Но вот он продолжает:

«Хасидизм переворачивает это положение: лучше, если улицы родного города сияют для человека, как пути небесные. Ибо мы должны стремиться к тому, чтобы именно здесь, где мы сами стоим, воссияла скрытая божественная жизнь». А это уже о нем, об отце еврея.

13.

Пошлая сочиненность, характеризующая эту историю, объясняется только тем, что она взята из самой жизни. А во всем, что здесь у нас происходит, пошлость просто неизбежна. Можно сказать, что это единственный след реальности, который особенно бьет в глаза и в нос шибает тем, кто как раз утратил чувство ее.

Вот он и сформулирован, этот выбор для вас, великовозрастные дети книжного знания, для вас, библиотечная плесень, зажмурившаяся на огонь. Простота этого выбора оскорбительна: ты должен выбрать хозяина.

Да-да, вся твоя свобода, пришествия коей так неприлично хотелось, свелась к этому выбору хозяина. Кто им станет: чужая ново-российская реальность, чувство которой сведет тебя с нею в деятельный союз под вечную угрозу кровавого разрыва, или твой собственный опыт, твоя старорусская жизнь, включая опыт бесполезного знания, жизнь давно и недавно умерших, бесконечные разговоры, еще резонирующие в невидимой паутине твоих нервов?

Этот выбор – утолить чувство реальности или – жить.

Когда Содом и Гоморра, или, если угодно, Атлантида, когда Цивилизация Россия уходила под историческую воду и в эмпирический огонь Первой мировой войны и двух революций, нельзя было и помыслить, что за водолазы будут через три поколения нырять за монетами, за обгоревшей мебелью и остановившимися каминными часами. Сиди, книжный червяк, и никшни, когда новый Маугли в смазных сапогах, денщик, нацепивший офицерский кортик на дворницкий фартук, сдувая махру с новорощенных усиков, похабно шепчет: «Отечество!» Он – реальность, и с ним, грядущим победителем, ты будешь иметь столь же мало общего, сколь с его революцьонными предками. Однако коварство предложенного тебе выбора – в неизбежности утраты: тебе предложено сдать ему в фартук твое прошлое, твой абсурд, твою болезнь – в обмен на билет в безличную всемирную историю, под небо, названное уже в этом столетии «книгохранилищем пустот». Бывший книжный червь свободен в этом небе – как бабочка.

Зачитавшийся Бубера и пропустивший момент обретения чувства реальности, возможно, и будет раздавлен между страницами книги, но зато – какой драгоценной книги.

«Если бы мы обрели власть над всеми частями света, она не дала бы нам той полноты существования, какую дает незаметное, преданное служение окружающей нас жизни. Если бы мы познали тайну высших миров, это не привело бы нас к тому подлинному включению в истинное существование, какого можно достигнуть, выполняя со святым умыслом свои повседневные обязанности. Наше сокровище зарыто под очагом нашего собственного дома.

Баал-Шем учит, что встречи, которые происходят в нашей жизни с любым предметом или существом, полны сокровенной значимости. Люди, с которыми мы живем и видимся, животные, которые встречают нас, виляя хвостом, или помогают нам в сельских работах, земля, которую мы возделываем, материал, которому придаем форму, орудие, которым пользуемся, – во всем этом содержится таинственная духовная субстанция, и от нас зависит, сможет ли она обрести свою чистую форму, стать совершенной. Если мы пренебрегаем этой духовной субстанцией, встретившейся нам на пути, если мы заботимся только о сиюминутных целях и не вступаем в реальное взаимоотношение с существами и вещами, в жизни которых мы должны участвовать, как и они – в нашей, то мы сами будем отчуждены от истинного, реализованного существования.

Душа, обладающая самой высокой культурой, остается по существу бесплодной и опустошенной, если ее не омывают изо дня в день воды жизни, струящиеся из этих малых встреч, которым мы отдали должное; самая грозная сила является по сути бессилием, если душа не верна тайному завету поддерживать эти контакты – смиренные и благотворные – с чужим ей и все же близким бытием» (Мартин Бубер, 1950).

14.

. . . . . .

Москва-Гейдельберг, май-октябрь 1990

Сергей ЛЁЗОВ (Москва)

ХРИСТИАНСКОЕ В ХРИСТИАНСТВЕ

1.

Быть может, самое мучительное интеллектуальное состояние, испытываемое человеком, – это сомнение в надежности и достоверности своего смыслового мира. *Инстинкт смысла*, как показывает современная психология, иногда определяет наше поведение в еще большей степени, чем инстинкт самосохранения или элементарные побудительные мотивы, проанализированные классическим фрейдизмом. Современному человеку свойственно искать гарантии принимаемого им смысла, он ищет доказательства «правильности» разделяемой им картины мира. Однако Новое время принципиально утвердило *невозможность* единой картины мира [1].

Пожалуй, это верно в самом общем смысле, когда под картиной мира определенной эпохи понимаются лишь наиболее фундаментальные постулаты, значимые для всех людей, которым случилось жить в эту эпоху. К их числу относится, например, античное представление о мире как о конечном и «обозримом» или новоевропейское представление о бесконечности мира. Ведь разбив прежнюю, единую и потому обязательную для всех картину мира, Новое время не уничтожило ее. Стало возможным и действительно возникло такое явление, как «картины мира меньшинства». Следовательно, *картина* мира постепенно стала приобретать черты миро-*воззрения*.

Как должно вести себя христианство в этой ситуации неустранимого мировоззренческого плюрализма? Ведь христианский универсализм исторически был связан с притязанием христианства на выражение *всей полноты* истины, то есть со стремлением ограничить истинность других мировоззренческих систем, в пределе – вытеснить их и заменить собой.

Отечественному читателю известен оптимистический взгляд на эту проблему, выраженный Владимиром Соловьевым: «Критическое движение последних веков ведет к обнаружению и торжеству истинного христианства – живого, общественного и универсального, не отрицающего, а перерождающего человеческую и природную жизнь» [2].

Но Соловьев имел в виду некое будущее осуществление христианства как учения, которое «заключает в себе *полную истину*» [3]. Истина христианства осуществится до конца в результате последовательного преодоления «средневекового миросозерцания», представляющего собой «исторический компромисс между христианством и язычеством», который «ошибочно принимается за само христианство как его противниками, так и защитниками» [4]. *Историку* же христианской мысли Нового времени хорошо известно, что как раз «критическое движение последних веков» вызвало кризис христианства, сделало его обороняющейся стороной, постоянно сдающей свои позиции.

Попробуем поглядеть на интеллектуальную историю Нового времени (в интересующем нас аспекте) как бы со стороны. Что мы увидим? Во-первых, мы найдем уже едва ли кем оспариваемое общее место, согласно которому основные ценности западной культуры сформированы христианством. Во-вторых, голос самого христианства внутри этой культуры приобрел специфически апологетический оттенок. Получается так, что христианство заняло почетное место в музее европейской цивилизации.

Слово «апологетика» я употребляю в самом широком смысле: это стремление «сделать понятным» некоторое предзаданное доктринальное содержание, то есть заново истолковать его, приспособив к изменившейся историко-культурной ситуации. «Заново истолковать» отличается от «заново понять». И в этом различии суть инте-

Введение к монографии под тем же названием, подготовленной автором к печати.

ресующей меня проблематики: новое понимание предполагает «мужественную решимость поставить под вопрос истинность принятых предпосылок» (Хайдеггер), оно ведет к переосмыслению и новым смысловым определениям.

И тут возникает вопрос о возможности неапологетического христианства. В одном из новозаветных посланий мы читаем: «[Будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ...» (1 Петр. 3:15).

Словом «ответ» здесь переводится греческое ἀπολογία, что значит в частности «(судебная) защита, оправдание», а словом «отчет» – греческое λόγος, которое тут можно понять как «осмысленная, разумная аргументация». В терминах этого текста мою постановку вопроса можно переформулировать следующим образом: искомая *апология* должна быть именно ответом, а не апологетикой. Но реально *оправдание* присутствует едва ли не во всех попытках христиан показать миру смысл нашей *надежды* и ее возможное значение для современного мира.

Определяя сквозную тему моей работы как «христианское в христианстве», я хочу отделить христианскую апологетику и анализ культуры «с христианской точки зрения» от попыток заново определить смысловой центр христианства («заново понять»). Разумеется, такие попытки тоже обусловлены своим культурно-историческим контекстом. Следовательно, этот контекст должен учитываться в предлагаемом исследовании.

2.

Такая постановка вопроса предопределяет обращение прежде всего к западной, преимущественно протестантской, мысли. Ведь рефлексия по поводу оснований собственной веры тематизирована именно в протестантской традиции.

Очевидно также, что выбор материала подразумевает некоторое отношение к нашей традиции, к традиции православной Церкви и русской религиозной философии. Я исхожу из предпосылки, согласно которой наша «родная» христианская мысль в принципе не может ответить на вопросы, прямо-таки навязанные нам самой жизнью. Вероятно, это объясняется тем, что в России христианская мысль пошла по путям, где вообще нельзя найти ответы на эти вопросы. Мы уже не способны дать отчет о нашей надежде.

К истории «мысли» (тем более – чужой) часто обращаются именно тогда, когда почему-либо невозможно говорить о самом главном прямо, от первого лица. У меня действительно нет такой возможности. У меня нет языка, готового и общепонятого, который позволил бы прямо говорить «о том, что захватывает меня безусловно» (П.Тиллих), – о вере. Но у меня есть определенное предпонимание относительно того, что здесь в конечном счете важно, а что – нет.

Так, я полагаю, что сейчас – быть может, больше, чем когда-либо, – для нас (в пределе, для христианской Церкви в России) необходимо не христианское осмысление ситуации (политики, культуры и пр.), а новое осмысление *христианского*, с необходимостью исходящее из нашего исторического опыта и определенного отношения к нему.

Попробую пояснить сказанное на одном примере, который лишь на первый взгляд может показаться произвольным. Рассматривая возможное отношение христиан к геноциду европейского еврейства (к «Освенциму», как его стали называть на Западе), немецкий лютеранский теолог Фридрих-Вильгельм Марквардт писал в 1979 г.: «Сегодня Освенцим надвигается на нас..., как суд над самим христианством... Должна измениться не только наша жизнь, но и сама наша вера. Результатом осмысления Освенцима должны стать не только этические, но также и вероучительные последствия. Освенцим зовет нас к тому, чтобы сегодня мы услышали Слово Божие совсем не так, как мы его слышали до Освенцима, совсем не так, как нам его передали наши теологические учителя и проповедники старших поколений. Это покаяние-обращение *затрагивает сущность христианства, как мы понимали ее до сих пор*» [5].

Конечно, здесь налицо круговая аргументация: мое отношение к историческому опыту и нашему сегодняшнему положению сформировано ценностями, значимость

которых постулируется. Они становятся у меня отправным пунктом анализа, не подвергаясь предварительной критической проверке.

По всем этим причинам я лишь пытаюсь проследить некоторые пути христианской мысли, лежащие за горизонтом центральной русской традиции. Конечно, у меня нет презумпции «не-ценности» всего, что содержится в русской религиозной мысли. Нет у меня и притязаний на христианское осмысление чужой богословской культуры. На единственно важный для меня критерий указывает само название темы: «Христианское в христианстве». С этой точки зрения можно рассматривать русских и западных писателей в одном ряду. Западный материал выбран лишь потому, что там эта тема продумывалась с методологической четкостью и последовательностью. Ведь замечание В.В.Зеньковского о том, что в русской философии «есть некоторые... особенности, которые... отодвигают теорию познания на второстепенное место» [6], еще более справедливо для христианского богословия на русской почве.

Проследив некоторые направления западной мысли, мы сможем найти себе спутников и в родной традиции. Но я предполагаю, что то важное, что обнаружится для нашей темы в творчестве Л.Толстого, Ф.Достоевского, В.Соловьева, Н.Бердяева или (если обратиться к академическому богословию) М.М.Тареева, по-настоящему проясняется лишь с точки зрения, которая сама лежит за горизонтом их мысли.

Так, критика индивидуалистической жажды личного спасения у Соловьева, его размышления о том, что из христианства нельзя исключить социальное измерение, – все это было систематически продумано и доведено до необходимых выводов (которые Соловьев, быть может, не принял бы) именно в протестантской традиции: «асоциальное» учение Лютера о двух царствах критиковалось изнутри протестантизма.

Говоря в «Самопознании» о своем понимании смыслового центра христианства, Бердяев замечает: «Преодоление «просвещения» должно означать не совершенное его отрицание, не возврат к состоянию «до-просвещения», а достижение состояния высшего, чем «просвещение», в которое войдут его положительные завоевания. Я имею в виду прежде всего «просвещение» в более глубоком, кантовском смысле совершеннолетия и свободной самодеятельности разума» [7].

Бердяев имеет в виду кантово понятие Просвещения как «выход человечества из состояния *несовершеннолетия*, в котором оно само повинно». Интересно, что именно из этого определения Просвещения исходил Дитрих Бонхёффер при разработке ключевой для теологии второй половины нашего века идеи о «мире, ставшем совершеннолетним», – идеи, которая обосновывает у него программу «нерелигиозного истолкования библейских понятий». То, что такая идея оказалась в центре теологического мышления, как раз и свидетельствует о попытке серьезно осмыслить сегодняшний кризис христианства.

Естественно, для нас будут важны опыты нетрадиционных христологий: ведь «христианское в христианстве» – это прежде всего попытки по-новому осмыслить христологическую проблематику. И здесь одним из наших спутников в русской традиции будет Достоевский с его «Легендой о Великом инквизиторе». Ее интерпретировали крупнейшие творцы русской религиозной философии нашего века, в частности Розанов, Мережковский, Шестов и Бердяев. Инквизитору обычно доставалось больше внимания, чем его молчащему оппоненту. Но если рассмотреть «Легенду» в рамках нашей темы, то смысловые акценты переместятся, и лейтмотивом «Легенды» станет вопрос, четырежды заданный Великим Инквизитором:

«Зачем же ты пришел нам мешать?»

Внутри русской традиции эти слова воспринимаются как характеристика Инквизитора, едва ли не избыточная. Но *за горизонтом* этой традиции, в другой системе координат, они могут быть поняты совсем иначе: «Тот, кто пришел нам мешать» – глубокое определение миссии Иисуса, своего рода христологический титул, рядом с титулами «Сын Божий», «Христос», «Сын человеческий». И местоимение «нам» теперь уже соотносится не с единомышленниками Инквизитора, не с «ними», а именно с нами... «Легенда» повторяет евангельский сюжет: «Сожгу тебя за то, что пришел нам мешать», – говорит Инквизитор.

В перспективе европейской традиции «Легенда» оказывается рядом с христологией молодого Альберта Швейцера, автора «Истории исследования жизни Иисуса», закончившего свою книгу такими словами:

«Мы не находим обозначений, которые выразили бы Его сущность для нас... Неизвестный и безымянный, приходит Он к нам, – как некогда на берегу моря Галилейского. Он подошел к людям, которые не знали, кто Он. Он говорит те же слова: «Иди за Мной!» – и ставит нас перед задачами, которые Он должен решить в наше время. Повелевает Он. И тем, кто повинуется Ему, мудрым и немудрым, Он откроет себя в покое, действии, борьбе и страдании, которые им суждено пережить вместе с Ним. И они узнают – как невыразимую тайну, – кто Он» [8].

Говоря о том, что замысел книги не подразумевает притязаний на *христианское* (то есть в некотором смысле «правильное») осмысление чужой культурной традиции, я имею в виду одну специфическую черту русской интеллектуальной культуры, о которой здесь стоит упомянуть.

В 1917 году Е.Н.Трубецкой издал книгу «Метафизические предположения познания. Опыт преодоления Канта и кантиантства». При чтении этого исследования я задумался: почему в русской философской литературе нет работы под названием «Опыт понимания Канта» (соответственно Фихте, Гегеля, Шеллинга)? И действительно, от П.Я.Чаадаева до В.Ф.Эрна мы видим именно попытки *преодолеть* Канта. Я думаю, что такой подход к делу возник не случайно и указывает на некоторую существенную особенность нашей культуры. Здесь не место обсуждать эту тему [9]. Замечу лишь, что *понимание* и *преодоление* – разные виды интеллектуальной деятельности, для которых нужны разные мыслительные навыки.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Писателем, глубже и пронзительнее всех выразившего ностальгию по «Старому времени», я считаю М.Хайдеггера. Среди пяти конститутивных черт Нового времени он называет «обезбожение»: «Это выражение не означает простого изгнания богов, грубого атеизма. Обезбожение – двойной процесс, когда, с одной стороны, картина мира расхристианизируется... а с другой – христианские церкви осовременниваются, перетолковывая свое христианство в мировоззрение (христианское мировоззрение). Обезбоженность есть состояние нерешенности относительно Бога и богов». (М.Хайдеггер. Время картины мира. Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. с. 93.)
2. В.Соловьев. Сочинения в двух томах. Т. 2, с. 357. М. 1989.
3. В.Соловьев. Ibid., с. 351. (Выделено Соловьевым.)
4. В.Соловьев. Ibid., с. 356.
5. Marquardt F.-W. Christsein nach Auschwitz. 1979. S. 87. (Выделено мною. – *С.Л.*)
6. Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1. М., 1956, с. 12.
7. Н. Бердяев. Собрание сочинений. Т. 1. Самопознание (опыт философской автобиографии). Париж, 1989, с. 210.
8. Schweitzer A. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. München, 1956, S. 630.
9. О восприятии Канта на русской почве см. эссе А.В.Ахутина «София и черт (Кант перед лицом русской религиозной метафизики)». Вопросы философии, 1990, 1, 51–69.

Марк ХАРИТОНОВ (Москва)

ОБ ИСКУССТВЕ КАК СПОСОБЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Так я решил в свое время озаглавить вольные литературные заметки разных лет, объединенные только темой, содержание которой в свою очередь выявляется лишь из совокупности разнородных фрагментов.

Впрочем, возможно, правильнее говорить о способе бытия, существования, облагороженного мыслью, воображением, культурой?

В иных случаях точнее говорить также не об искусстве, а о игре, о культуре, о творчестве (которое может быть и научным, и религиозным, и жизненным).

Но условен в конце концов всякий термин, его конкретное содержание раскрывается опять же в контексте.

Многие свои мысли я успел со временем раздать своим героям и теперь позволю себе их заимствовать или, если угодно, вернуть, – сохранив художественно-необязательный, подчас двусмысленный способ высказывания, который сродни многозначности.

Об искусстве как способе существования

«Была такая фантастическая идея: если записать все ощущения и переживания человеческой жизни, все электрические импульсы, которые поступают ежесекундно в течение многих лет от нервных окончаний глаз, ушей, кожи, языка и носа, от внутренних органов, от каждой клеточки нашего тела, – так вот, если бы записать все эти без исключения токи, колебания или что-то там еще на особую пленку, а потом подключить эту пленку к другому человеку или даже просто к воспроизводящему устройству, то этот человек или устройство, не нуждаясь в собственных органах чувств и ни в малейшем движении, не нуждаясь в собственной жизни, переживет в полном объеме чужую жизнь со всеми ее красками, запахами, событиями, чувствами, с любовью и несчастьями; закрытые глаза, соответствующие клеточки живого или электронного мозга будут воспроизводить увиденные кем-то лица, дома, деревья; закрытые уши – слышать слова и музыку; в мозгу будут шевелиться переданные, вживленные пленкой чужие мысли... Так вот, если б чье-то сознание воспроизвело мир образов и чувств, записанных от меня в часы, когда я пишу, – оно пережило бы жизнь яркую, красочную и глубокую, с замиранием сердца и, так сказать, скрежетом зубовным, и кто-то подумал бы (если б он сохранил при этом способность оценивать со стороны): да, жил человек...»

Так размышлял герой моих «Записок скучного человека» (1969 г.), предвосхищая мои позднейшие раздумья о искусстве как форме и способе существования.

Речь идет отнюдь не только о творцах; к этой проблематике причастен каждый из нас – ибо кто не склонялся хотя бы над страницами книги?

Красивая девушка в метро уставилась на тонкие пластинки белого вещества, испещренные черными значками. Она не видит, не слышит ничего вокруг – какие картины и голоса переливаются сейчас с этих листов в ее существо через зрачки глаз, прикрытых длинными ресницами? Ведь это поистине волшебство, это чудо, сравнимое разве что с чудом сновидения.

«Мозг мой – вместилище, где все полно цвета, запахов, звуков, где живут и глубоко чувствуют вживленные в меня существа. Вне моей черепной коробки все несравненно тусклее» («Записки скучного человека»).

Искусство подключает нас к богатству и разнообразию жизни, взаправду для нас закрытым; оно позволяет нам если не испытать, то причаститься к чувствам и впечатлениям, которые недоступны нам в нашей заурядной обыденности, преобразить скуку – ту скуку, которая заставляет срываться с места, искать приключений, опасных, а то и гибельных; оно намекает на способ совместить богатство, полноту и глубину впечатлений, переживаний и мыслей с комфортом и безопасностью – то есть решить проблему экзистенциальную, которая от веку мучает человека.

Многие проблемы человеческого бытия связаны с невозможностью совместить «счастье» и полноту (жизненную, духовную). Чрезмерно долгое состояние покоя, безопасности почему-то оказывается невыносимым для человека и человеческих сообществ; существует не вполне объяснимая потребность в напряжении духовном (даже в ощущениях трагических). Возможно, это связано с инстинктом самосохранения человечества как рода (иногда противоречащим инстинкту индивидуального самосохранения) – подобно загадочным самоубийственным миграциям грызунов, слишком расплодившихся на урожайных хлебах. А может, и с каким-то более фундаментальным сопротивлением энтропии (физической и духовной), которая оборачивается вырождением, утратой жизненной энергии.

И если это так, то, удаляясь от животных первооснов бытия, не развивал ли человек искусство еще и как способ компенсировать некую возрастающую недостаточность, обеспечить себе как можно большую полноту и интенсивность чувств – при минимуме реальных гибельных опасностей?

Искусство – концентрат жизни, который добавляется в разжиженную кровь нашего повседневного существования, обеспечивая ее недостающими, насущно необходимыми соками.

В наши дни – с тенденцией к усредненности, безликости, комфорту, скуке – оно позволяет обеспечить некоторую полноту чувств, необходимую для выживания и сохранения человеческого рода – без опасности реальных потрясений.

В этом его величие, – но в этом и соблазн, который может делать искусство опасным для самих основ жизни. Потому что жизнь не должна останавливаться, она требует движения, обновления, подвига, настоящих страстей и настоящих усилий – иначе грозит все та же энтропия, застой, остывание.

Конечно, нынешних форм искусства недостаточно для полной подмены – лишь самые истовые его служители испытали на себе предельное действие этого соблазна. Но не исключено, что цивилизация предпримет еще попытку продвинуться в этом направлении. Соблазн немалый – обеспечить благополучие без потрясений, – но при этом без скуки.

Не такова ли модель «прекрасного нового мира» Хаксли – общество людей, способных чувствовать себя счастливыми при любом уровне и качестве жизни? Наукой там найден способ насыщать и ублаготворять человека, поддерживать продолжение его рода вне любовных отношений – главного источника страстей и трагедий; от мыслей же о смерти отвлечься не так уж трудно. Не случайно в этом мире запрещено искусство, как его понимаем мы. Я не могу найти логического опровержения возможности такой цивилизации.

Условные игры

– Актер Кин! Вы прекрасно показали мне, как умели любить Ричард III и Генрих VIII. А теперь я хотела бы узнать, как умеет любить актер Кин.

– Прошу простить, Ваше Величество, не могу. Я импотент.

Исторический анекдот

Решив разубедить сумасшедшего, который уверял, будто он стеклянный, его легонько стукнули палкой. «Дзинь», – сказал сумасшедший и умер.

Современный анекдот

Что может значить для нас крошечный клочок плохой бумаги с тусклым отпечатком? На отпечатке этом нет ни искусного изображения, ни мудрого изречения. Это уникум, редкая почтовая марка, вся ценность ее создана ошибкой гравера, – но за этот клочок бумаги отдадут миллионы, за ним охотятся, из-за него идут на преступления и убийства.

Мы даже не отдаем себе отчет в условности многих ценностей, на которых строится наша обыденная жизнь, в условности игр, из которых она составляется. Слишком всерьез оборачиваются они порой для нас. Да и всегда ли мы можем определить, какие ценности условны, искусственно созданы, а какие «подлинны», «первичны», насущно необходимы?

«Я знаю, что золото, добытое с помощью огня, а не благодаря солнцу – не настоящее», – говорит в знаменитом разговоре с чертом композитор Адриан Леверкюн, герой манновского романа «Доктор Фаустус». – «Кто это сказал? – возражает ему собеседник. – Разве солнечный огонь лучше кухонного? Цветы изо льда или цветы из крахмала, сахара и клетчатки – то и другое природа, и еще неизвестно, за что природу больше хвалить».

Эта логика типична для декаданса начала века. О.Уайльд, как известно, пошел дальше и провозгласил приоритет «искусственных произведений» перед природными. Символичен его портрет Дориана Грея, который испытывает воздействие жизни и вбирает в себя живую судьбу вместо реального человека.

С другой стороны, порожденные художником образы воздействуют на нас порой реальней, чем взаправду существующие люди. Разве что «дети от стихов не рождаются» – и то как сказать!

«В одном только искусстве еще бывает, – замечал З.Фрейд, – что томимый желанием человек создает нечто похожее на удовлетворение и что эта игра – благодаря художественной иллюзии – будит аффекты, как будто она представляет собой нечто реальное».

Игры воображения способны играть с человеком странные шутки. Медицинский факт: астматик с аллергией на запах розы испытывает приступ удушья при виде бумажного цветка. Настоящее удушье при искусственном цветке – не символ ли это подмены, которая при некоторых условиях может стать опасной?

Профессионалы

Быть может все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов.

В.Брюсов

Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера.

Акутагава

Профессионалы-художники порой особенно этим поражают: кажется, что человеческая жизнь для них и в самом деле значит меньше произведения. Томас Манн подмечал эту черту и в Гете, который видел «во всем, а главное – во всех сырой материал» для своей работы.

«Тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии», – это писал не кто иной, как Пушкин (письмо Вяземскому 24–25 июня 1824 г.).

Тут дело отнюдь не в человеческой холодности и бесчувственности; подлинность горя вовсе не исключена. Казалось бы: если у тебя разрывается сердце, нельзя утешать себя тем, каким эффектным и плодотворным воспоминанием станет это время спустя. Нельзя свое горе и горе других обращать в материал для творчества, для воспоминаний. Почему же так часто художнику свойственно это состояние, которое кажется противоестественным? – он наблюдает за смертью возлюбленной, чтобы правильней запечатлеть перемены ее лица.

У поэта умерла жена...
Он ее любил сильнее гонорара.
Скорбь его была безумна и страшна –
Но поэт не умер от удара.
После похорон пришел домой – до дна
Весь охвачен новым впечатленьем –
И спеша родил стихотворенье:
«У поэта умерла жена».

В этих насмешливых строках Саши Черного очевидно сомнение: действительно ли «страшна и безумна» была скорбь поэта? Но в том-то и особенность ситуации, что скорбь действительно может быть велика и неподдельна – художнического поведения это не меняет. Художник и собственные муки готов сделать предметом поэзии, а мог бы – сделал бы и собственную смерть. (И делает – для других.)

Плакальщицы

Философ М.Мамардашвили вспоминает профессиональных плакальщиц, которые на похоронах доводят присутствующих до состояния, близкого к экстатическому[1]. «Они – профессионалы и, естественно, не испытывают тех же эмоций, что и близкие умершего, но тем успешнее выполняют форму ритуального плача или пения». Автор высказывает догадку, что такое «притворство» имеет важный смысл: «ведь психические состояния как таковые («искренние чувства», «горе» и т.п.) не могут сохраниться в одной и той же интенсивности... и служить основанием для явлений памяти, продуктивного переживания, человеческой связи... Всплакнул, а потом рассеялось, забыл. Дело в том, что естественно забыть, а помнить – искусственно. Искусственно в смысле культуры и самих основ нашей сознательной жизни, в данном случае – в смысле необходимости возникновения и существования сильных форм или структур художественного сознания... Специальные продукты искусства – это как бы приставка к нам, через которые мы в себе воспроизводим человека».

Иными словами, именно переводя свои чувства в какую-то искусственную, условную форму (да и сам плач – что значит он с точки зрения физиологии?), мы не только делаем эти чувства более человеческими, но и придаем им подлинную силу, интенсивность, закрепляем их формально и позволяем благодаря этому задержаться в памяти.

Сама память в чем-то родственна феномену искусства; и то, и другое в каком-то смысле – инструмент в руках инстинкта самосохранения. Ибо если бы в памяти закреплялось первичное, физиологическое качество наших переживаний – жизнь стала бы невозможной.

---

1 «Вопросы литературы», 1976, стр. 77

Когда читателя не тошнит

Один мой персонаж, литературовед, мог за едой читать медицинскую статью о глистах, и это не портило ему аппетита.

Такое чтение предполагает изрядную степень абстрагирования от предмета. В современной литературе многое рассчитано на интеллектуально-отстраненное восприятие, и даже если на шок, то интеллектуальный, а не на реальное сопереживание, сочувствие, тошноту.

Так воспринимается черный юмор.

Человек несет ребенка по лестнице за ножки, головка стукается о ступени.

– Что ты, ирод, делаешь? – кричит жена. – Шапочку потеряешь!

– Не бойся, – успокаивает он, – я ее гвоздем прибил.

Или стишки вроде такого:

> Голые бабы по небу летят –
> В баню попал реактивный снаряд.

Вам не страшно, читатель? Нет, разве что слегка передергивает, но как-то даже приятно.

Не здесь ли одна из причин тяги вполне благопристойных людей к блатным песенкам? Никто не видит и не воображает за их строками реальных драк, блатных жлобов, убийц, алкашей, крови, блевотины – так, щекочущие слова и приятный мотивчик. Но при этом все-таки и некоторое приобщение к миру чуждому, недоступному, опасному. Вроде побывал среди них и благополучно вернулся.

Криста Вольф в «Кассандре» попробовала показать реально, во плоти, что стоит за гомеровским гневом Ахилла, Пелеева сына. И увидела жестокого «скотину»-солдата, который гоняет вдоль городских стен свои жертвы, спорит из-за наложниц, убивает...

Но значит ли это, что именно такова правда жизни? Или есть своя правда и в гекзаметрах Гомера, сотворившего и пустившего в мир своих героев? Мы воспринимаем реальную жизнь отчасти такой, какой нам представили ее Гомер и вся многовековая литература, все разнообразное искусство, вплоть до пошлых и лживых блатных поделок.

И это тоже способ существования.

Химеры

Химеры существовали на самом деле. Мы все видели этих тварей, составленных из разных частей, видели их печальные рожи, подпертые лапами, их зубастые пасти, их человеческие глаза и доисторические хвосты. Они для нас не менее реальны, чем диплодоки и птеродактили.

А можно ли усомниться в реальности Дон-Кихота или Гамлета, принца датского? В реальности Персея, Ликурга, Кришны? Мы знаем о них больше, чем о наших знакомых и соседях по улице: знаем их жизнь, их мысли, их внешность – до мелочей.

Сократ, Христос (не говоря уже о Дон-Жуане или Фаусте) – для нас художественные образы, отличные от реально существующих прототипов. Но они существуют куда реальнее их: до деталей портрета, характера; мы говорим о человеке Сократе, имея в виду, в сущности, его образ.

Странно, если бы выяснилось, что Христос-человек на самом деле все-таки не существовал – столько талантливых рассказчиков, портретистов и толкователей сделали реально ощутимым каждый его жест, ход его мыслей, каждое слово, черту, движение. Туринская плащаница ничего существенного не добавляет.

Монолог незнакомца[1]

...«Всерьез», «взаправду» – надо осмыслить эти слова. Ведь если всерьез вдуматься в это вот волоконце говядины, которое я выковыриваю сейчас из зубов, если вспомнить и вчувствоваться, что я это волоконце знал добрым и нежным теленочком... му-у! в щеку он меня лизал... и прочее... если проникаться такой правдой на каждом шагу – ведь это повеситься. Жить станет нельзя, вы только вообразите! Почему-то нам это заказано. Вот эта денежная бумажка, в которой воплотилось столько труда, надежд, страстей, лет, прожитых и выкинутых в трубу, – если эта скомканная условность взаправду попробовала бы все вместить, она бы в пепел обратилась! В пепел! как все мы. Нет, усмехающийся мой друг, с правдой и ложью почему-то не так оно просто. Жизнь зачем-то требует условности, обмана и самообмана, игры, искусства. А там дело за талантом. В пору моей юности я как-то сказал любимой женщине: только отвечай мне прямо, не играй со мной. Какой идиотизм! Какая в конечном счете пошлость! Это не так далеко от прямодушия того малого, который попросту заявлял даме: я хочу видеть вас голой. Вот правда так правда. А мы все лжем, мы говорим ей другое. Мы говорим, как прекрасно ее лицо, ее глаза, ее кожа. И она подозревает обман, о! потому что она лучше знает, что глаза у нее – ничего особенного, а кожа у подружки нежней. Иные, особо правдивые, даже считают долгом разубеждать: я совсем не такая. Но верят, все же верят именно обману, называют его ослеплением страсти – и оказываются правы. Вот в чем истина, вдумайтесь! Зачем-то жизни нужна эта игра, с распушиванием перьев, уклончивостью, кокетством и танцами, как нужны брачные бои на жизнь и на смерть, как нужны все те же сновидения. Тут великая загадка, не до конца проясненная. Способность к красоте, игре и искусству зачем-то нужна для существования и развития жизни. В этом смысле все люди художники и различаются по силе способности... Я говорю о неизбежном и даже необходимом элементе иллюзии, условности, самообмана, умысла в самой серьезной и подлинной жизни... Какая наша мысль не оборвана? Какие слова вмещают все, что надо бы выразить? Все оформленное, конечное – уже обрублено, отграничено, чтоб им можно было пользоваться. Хоть как-то. Вы назовете это неполной правдой? На том сама жизнь основана, поймите же. Весь мир выделен из хаоса – это и есть акт творения, родственный искусству. Куску хаоса придана форма, видимость закономерности, остальное отсечено и отдано лукавому. Не случайно, уверяю вас! В этом великий смысл. Эта уступка неполноте или, как вам думается, лжи, равносильна красоте и самой жизни. Предельно подлинна лишь бесконечность, бесформенность, бездна, смерть. А нам жить велено.

О стриптизе

«Я хочу, чтоб не лгать... На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы... Проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!»

Удивительно глубоко и емко (а потому, что откровенен до конца) формулирует тему этот персонаж «Бобка» – одного из самых жутких рассказов Достоевского. «Жить и не лгать невозможно». Мертвец готов прорваться, наконец, к самой бесстыдной правде. Живым героям Достоевского это давалось куда как непросто – с надрывом, с оговорками. Его «подпольный человек», самый, пожалуй, откровенный и беспощадный к себе, заранее одергивает себя устами гипотетического читателя: «В вас есть и правда, но в вас нет целомудрия: вы из самого мелкого тщеславия несете вашу правду на показ, на позор, на рынок...»

[1] Из повести «Провинциалы» (1977). В повести здесь, впрочем, диалог, но реплики собеседника опущены за необязательностью.

Но разве мы действительно упрекнем за это героя и писателя? Разве мы не хотим от них предельной правды о жизни, о человеке, сколь бы тяжка и даже ужасна она ни была? Разве мы не ждем исповеди откровенной? а неоткровенная – зачем она нам? Разве для подлинно ищущей души такая беспощадная к себе откровенность не может оказаться поддержкой: не ты один бываешь слаб и низок, другим это тоже знакомо – а ведь справлялись?

Всякая культура и всякий ее язык строятся на запретах: это относится и к искусству. В музыке в разные времена запрещались определенные созвучия, они считались неблагозвучными (параллельные квинты, например). Теперь запретов по сути нет, благозвучен любой шум. Это относится не только к музыке. Непристойность давно не смущает искусство, слово «дерьмо» незаметно стало литературным даже для девичьего уха. Писатель требует от нас не отворачиваться от пьянчуги, лежащего в луже собственной блевотины и мочи – «в собственном соку», как выражается не без изящества автор. (Врач по профессии, он описывает механику совокупления почти в медицинских терминах и полагает, что правдивый разговор о жизни неполон без подробностей самочувствия человека в нужнике)...

Заголимся и обнажимся... Но для искусства полный отказ от запретов не означает ли растворения в хаосе? Отправления, играющие бесспорную роль в нашей жизни, видимо, все-таки не зря совершаются за закрытой дверью. Каждому известно, что под платьем он гол; но если даже в жару мы не ходим нагишом по улицам, стоит ли упрекать себя в лицемерии? Какой смысл имеет утверждение, что в наготе больше правды, нежели в платье? И описание любви в медицинских терминах – не столько смелость, сколько слабость подлинно художественного мышления, насущно важного для человека.

Вернемся к исповеди. Литература всегда в каком-то смысле исповедь, – но именно в каком-то смысле. Одно дело – внимательный, честный взгляд на себя, нужный для самоанализа, самовоспитания (и в целях отчужденного исследования, фрейдистского, например), другое – отчет для других. Одно дело – дневники, писаные для себя и ставшие публичным достоянием помимо авторской воли, другое – публичное самораздевание. Очевидно, в искусстве оно так же недопустимо, как в жизни. Надо знать себя голого (и по себе других), но для анатомических лекций демонстрируют анонимные препараты.

Как известно, у Достоевского нет ни одного в прямом смысле слова исповедального произведения. Откровенничают о своей подноготной всегда лишь его герои. Между тем он и о себе сказал в своих романах больше, чем мог бы сделать это в любой прямой исповеди. Но тщетно будут гадать исследователи, в самом ли деле он совершил ставрогинское преступление. И слава Богу.

Может быть, искусство, среди прочего, есть формально дозволенный способ опосредствованно узаконить глубинный анализ собственной души (насущный для человека), облагородив истину переносом в сферу не-просто-реальную, в сферу, скрещенную с воображением. Художественное мышление есть способ обойти некоторые запреты, не нарушая самой структуры. Оно перебрасывает мостки через бездны; мостки эти можно назвать условными, – но это не делает их ни менее надежными, ни менее нужными.

Лев Толстой, или Диалектика лжи

Всякая палка о двух концах.
Основной закон диалектики

Лев Толстой отвернулся от искусства, ибо стремился быть последовательным в своем неприятии всякой лжи, фальши, условности: будь то историческое лицедейство, будь то условность балета, рифмованной литературы, будь-то любовная ложь и лицемерие брака.

Что он готов был оставить? Честный минимум, потребный для поддержания жизни и воспроизведения потомства? Но, пожалуй, до конца последовательным был скорее тот несчастный румын (упомянутый в дневнике Софьи Андреевны), который под впечатлением «Крейцеровой сонаты» в 18 лет оскопил себя. Бедняга был ошарашен и разочарован, когда совершив, наконец, паломничество в Ясную Поляну, увидел, что сам его кумир, увы, далек от подобного совершенства.

Художник, то есть по природе артист, человек игры, обречен на внутреннюю противоречивость, когда пытается убежать от «искусственности», условности. Тем более писатель, ибо слово – уже условный знак; «мысль изреченная» в каком-то смысле действительно есть ложь. Ее пытались избежать лапутянские мудрецы, которые носили при себе запас настоящих, безусловных предметов, чтобы объясняться с их помощью, без посредства слов. Но опять же предельно последовательными дано тут быть лишь удалившимся от мира молчальникам, ибо в пределе отказ от жизненной игры с ее условностями и ложью ради истины и совершенства есть отказ от самой земной жизни...

Здесь завязывается в узел целый комплекс идей, не случайных для Толстого. В своем порыве к совершенству и духовной чистоте он телесен настолько, что плотское соитие кажется ему единственной правдой любви. Здесь пересекается его утопия с надеждами социальных мечтателей отменить все ненужное, избыточное, в том числе деньги и всякую непроизводительную деятельность, оставив лишь «насущно» необходимое. Здесь истоки его призыва прекратить лживую комедию истории и начать «просто жить»; здесь основа того морального пафоса, который заставлял его видеть в искусстве лишь блажь оторвавшихся от трудовой жизни трутней.

Поэзия выше нравственности

Или по крайней мере совсем другое дело, – добавил Пушкин.

Аминь. Воистину. Хотя бы потому, что нравственность – уже когда-то выработанный и закрепленный свод правил. Она почтенна, что говорить, ее достаточно для жизни большинства.

Поэзия же – или, шире, искусство – это поиск, путь в неизвестное, творчество еще не бывшего, создание новых духовных миров.

Великих, истинных, профессиональных творцов немного, но искра творчества есть в каждом.

Марина Цветаева задается вопросом, кто угодней Богу – священник, призывающий у Пушкина («Пир во время чумы») к молчаливому благоговению перед смертью, или поэт, слагающий гимн Чуме – и тем противостоящий ей, противоборствующий (ибо творя, овладевает стихией, придает форму тому, что было просто хаосом, невыразимым – и невыраженным ужасом).

«Быть человеком важнее, – повторяет она. – Врач и священник нужнее поэта... Все важнее нас... Художественное творчество в иных случаях – некая атрофия совести, больше скажу – необходимая атрофия совести».

Спорт

Игра – общий знаменатель жизни, искусства и спорта. Если существует чистое искусство – то это спортивные игры. Абстрактность шахматных комбинаций, плетение футбольных кружав – особенно на экране крошечного портативного телевизора, когда не видно лиц, да и почти фигур, следишь за схемой перемещения точек – и это вызывает чувства, это как беспредметная живопись, как чистая поэзия, как легкая музыка, хотя само по себе не выражает ни чувств, ни мыслей – и сто тысяч зрителей ревут от восторга.

Спортивные страсти, миллионы футбольных, хоккейных, бейсбольных болельщиков – феномен особый в истории человечества. (Бои гладиаторов, кор-

риды, турниры – вообще принципиально другое дело, там лилась настоящая кровь). Тут поражает абстрактность страстей. Я помню трансляцию футбольного чемпионата мира из Аргентины. Люди на трибуне казались обезумевшими – потом, после победы, они будут всю ночь орать на улицах, гудеть в автомобильные гудки, целоваться, плясать и чувствовать себя счастливыми – что им безработица, нищета, терроризм, диктатура, пытки арестованных, все, что творится тут же рядом, – если одиннадцать молодых парней, их соотечественников, перекидывая кожаный шар, сумели загнать его в сетку между стоек?

Возможно удовольствие еще более абстрактное: следить по газетам, например, за шахматным и футбольным турниром, не видя ни одной партии, ни одного матча. Увлечь может сама драма, динамика турнирной таблицы: кто возвысился и за счет чего, кто потерпел сенсационное поражение из-за просмотра, из-за невезения – оценку дает комментатор, и этого довольно.

И когда комментатор хвалит игрока за то, что он действует без внешних эффектов, мы вместе с ним подразумеваем, что главное в игре все-таки результат (как будто он совпадает с некой истиной). Нам не нужна уже сама плоть игры, само зрелище. Условность доходит до крайности – и мы замечаем, наконец, какую-то подмену, извращение.

На темы Томаса Манна

1. **Иосиф и Иов**. Проблема «жизни» и «игры», тема человека-художника, «артистического бытия» («artistischen Daseins») для Томаса Манна столь важна, что исследователи задавались вопросом, не рассматривает ли он это понятие как «парадигму человеческого существования вообще».

С этим связан, в частности, мотив «формального», представительского существования, характерный для ранних произведений Т.Манна. Мотив этот отчасти автобиографический, писателю знакомо было сомнение: не ведешь ли ты «авантюристическую игру с действительностью, которую, в сущности, игнорируешь, потому что она для тебя лишь повод для игры, не больше»?

Слово «авантюристический» заставляет вспомнить одного из манновских героев, профессионального авантюриста Феликса Круля – тоже в своем роде художника, только сочиняет он не литературный опус, а собственную жизнь (разумеется, по пути вовлекая в свою «игру» и всех встречных). Случай Круля сравнительно легко поддается оценке: недозволенность подобной «игры» утверждается хотя бы уголовным кодексом. Далеко не всегда дело обстоит так просто.

Кто поистине играет в жизни, играет с незаурядной широтой и вкусом – так это Иосиф из библейской тетралогии Манна. Глубоко усвоив культурно-мифологический репертуар своей уже достаточно изощренной эпохи, он «проверял и реализовал свою жизнь, соотнося ее с высшими образцами, разыгрывая ее, как роль, «по правилам» – «ибо мы идем по стопам предшественников, и вся жизнь состоит в заполнении действительностью мифологических форм».

Эта способность определяет поиски Иосифом «высшего в себе» – и в то же время сообщает его жизни оттенок некой вторичности. Он в какой-то мере всегда облегчал свои бедствия, воспринимая их чуть отстраненно, как закономерный, эстетически достойный даже любования эпизод обширной драмы, об исходе которой он, в общем, подозревал. «Ибо играть сын Иакова... не переставал никогда в жизни и двадцатилетним мужчиной играл так же, как неразумным мальчиком. А самой его любимой и самой приятной формой игры был намек, и когда его жизнь, за которой так внимательно наблюдали, оказывалась богата намеками, когда обстоятельства оказывались достаточно прозрачными, чтобы разглядеть высшую их закономерность, он бывал уже счастлив, потому что прозрачные обстоятельства не могут ведь быть вовсе уж мрачными».

Примечателен ответ Иосифа отцу, который однажды мысленно отождествил себя с Авраамом, приносящим в жертву сына, – и ужаснулся. С улыбкой знатока преданий юноша успокаивает отца: «Ведь в ближайшее же мгновение раздался бы голос и воззвал бы к тебе «Не поднимай руки своей на отрока и не делай над ним ничего!», и ты бы увидел овна в чаще... Таково уж преимущество позднего времени, что мы уже знаем круги, по которым движется мир, знаем обоснованные отцами истории, в которых он предстает. Ты мог вполне положиться на голос и на овна».

«– Речь твоя хитроумна, но неверна, – отвечал старик... – Посуди, чего стоила бы моя твердость перед Господом, если бы источником ее был расчет на ангела и на овна?»

Ответ очень важный. Представим себе, в самом деле, что библейский Иов знал бы, какую игру с его участием ведет Бог в пику своему оппоненту (а ведь там шел действительно «розыгрыш» по определенному сценарию) – другая цена была бы и страданиям его, и стойкости. Но для манновского героя такое знание имело основополагающий смысл. Низвергнутый в беду неистовством влюбленной женщины, он вновь с надеждой напоминает себе о спасении мифологических героев, с которыми себя отождествлял. «Его надежда была уверенностью, знанием... Он знал свои слезы. Ими плакал Гильгамеш, когда пренебрег желанием Иштар, и та уготовила ему плач».

Это знание было опорой, оно сохранило его и довело невредимым до финального торжества, в котором Иосиф видит лишь подтверждение своих давнишних снов, завершение непререкаемого мифического цикла. Герой Т.Манна следует сквозь мифическую драму целеустремленно, отстраняя все излишнее, опасное – будь то даже любовь несчастной женщины. Это пушкинский Дон Гуан соглашался погибнуть ради любви. Иосиф, человек отнюдь не бесчувственный (тогда бы все проще!), руководствуется, однако, не чувствами, даже не страхом. Он прежде всего блюдет свою роль в обусловленном сценарии, где ощущает себя не только исполнителем, но порой и режиссером. (Именно как режиссер он обставляет знаменитую сцену «узнавания» с братьями.) Он изрядный эстет, этот обаятельный, талантливый, но вызывающий порой какую-то внутреннюю оговорку герой.

«Ведь в конце концов самое главное, чтобы человек развлекался, а не проживал свою жизнь, как слепая скотина, и все дело в уровне его развлечения», – растолковывает он своему неинтеллигентному стражу по пути в нильское узилище... И все та же оговорка в отношении к артистичному красавцу возникает вновь, потому что слишком трогает еще воспоминание о той, которой он был обязан очередным поворотом сцены. При всех симпатиях к Иосифу, при всех благочестивых обоснованиях его целомудрия (которое, что ни говори, спасает ему жизнь) читатель почему-то испытывает больше сочувствия или сострадания не к нему, а к обреченной, обездоленной, грешной, пренебрегшей условиями и правилами игры Мут-эм-энет. (Во всяком случае, думается, это верно для читательниц.) Если имеет смысл противопоставление «настоящей жизни» «игре», то не здесь ли оно: самозаконное, природой данное влечение – и осторожные оговорки цивилизации?

Тут не все так просто. Мут-эм-энет, в своей страсти доходящая до почти безумного исступления, до забвения всех требований разума, морали, каких-либо культурных ограничений (вспомним хотя бы сцену дикого «шаманства» – недозволенной, первобытной попытки несчастной женщины приворожить возлюбленного), становится в конце концов чуть ли не воплощением темного, демонического начала, отмежевываясь от которого Иосиф сохраняет свое «благочестие» перед Богом – свое достоинство культурного человека. Самоосуществляясь в «священной игре», он помнит об ответственности перед высшим замыслом и обретает свое, особое благословение. «Это благословение редкое, ведь обычно приходится выбирать и нравиться либо Богу, либо людям, а ему дух прелестного посредничества (заметим в скобках, что посред-

ничество для Т.Манна – вообще одна из основных функций художника. – *М.Х.*) даровал способность нравиться и людям, и Богу. Не зазнавайся, дитя мое», – говорит, однако, ему отец... – «Ибо это благословение приятное, но не самое высокое и не самое строгое». «Высокое» благословение патриарха неслучайно получает не артистичный Иосиф, а грубый, но неподдельно страстный, без скидок пробивающийся сквозь свою трудную, полную еще непроясненной новизны жизнь Иуда. Это благословение – символ жизненности, плодотворности, открытого будущего, в то время как само существование Иосифа было лишь «игрой и намеком» на благодать. «Спасения ты не несешь, наследие тебе заказано», – шепчет ему на ухо отец, и Иосиф лучше других знает, что это правда.

Но в смысл такого приговора стоит вникнуть поглубже.

Что наша жизнь? Игра.
Из оперы

2. Игра. Когда мы говорим о «настоящей», «первичной», «неигровой» жизни – что мы имеем в виду? Жизнь, не подозревающую ни о замысле, ни о цели? Но совершенно не подозревает об этом разве что животное (и то много ли мы знаем об этом?). Тот же Иов в конце концов вовсе не усомнился ни в существовании «режиссера», ни в конечной мудрости непостижимого его замысла – это не лишало подлинности его страдания[1]. И разве он выл, как зверь, забыв о членораздельной (причем довольно искусной) речи? Забыв о своем месте среди людей и под небесами? Разве он не оформлял свою неподдельную боль по всем правилам скорбного ритуала – с раздиранием одежд и посыпанием главы пеплом? Этот ритуал и многие скорбные речи с большим знанием дела воспроизвел потом манновский Иаков, оплакивая Иосифа. Бывает ли человеческая жизнь вообще свободна от элементов игры, стилизации, искусства (или искусственности)?

Человек всегда принадлежит к определенной культуре и уже в силу этого не может в каком-то смысле не играть. Выделившись из животной среды, он начинает существовать в мире вторичных систем, в мире знаков, символов, правил – в мире той самой ненаследственной информации, которая позволяет ему ориентироваться в сложной жизни общества, составляет ее организующий стержень, хребет, подсказывая модели поведения, обобщая и передавая совокупный опыт от поколения к поколению.

Во времена Иосифа наиболее авторитетные модели были закреплены в мифах, которые так близко помнил симпатичный герой Манна. Но не случайно термин «миф» используется и по отношению к тем повседневным, не всегда осознанным, порой эфемерным моделям, по которым лепится жизнь человека вплоть до наших дней. Речь идет не только о фундаментальных архетипах культуры, но о самых разнообразных проявлениях игры, подражания, стилизации, в том числе и о феномене, который имел в виду, например, Оскар Уайльд, говоря о жизни, подражающей искусству[2].

Так люди в эпоху Возрождения старались стилизовать по античным образцам даже собственную смерть, ритуализировать жизнь, подчинить ее известным правилам и образцам. Причем эти правила и образцы задавались теперь уже не религиозными мифами, вера в которые безусловна, а мифами

---

[1] Вспомнились стихи поэта И.Габая:

Как легок на Голгофу путь,
Когда уверен, что воскреснешь.

И разве шедший на Голгофу не был исполнен этой веры? Почему же путь его все-таки не был легок? Видно, такая вера, такое знание не избавляют, не должны избавлять от мук – больно все-таки взаправду.

[2] У О.Уайльда множество парадоксов на эту тему, например, такой: «Великий художник изобретает тип, а жизнь старается скопировать его, воспроизвести в популярной форме».

историко-художественными (или даже просто художественными, потому что отношение к героям Плутарха или Светония по существу не отличалось от отношения к героям Гомера или Вергилия).

Из более близких по времени можно упомянуть русских символистов, которые, пытаясь найти сплав жизни и творчества, создавали «поэму из своей личности» (выражение В.Ходасевича). «Я уже сделал собственную жизнь искусством (тенденция, проходящая очень ярко через все европейское *декаденство*)», – писал в 1910 г. А.Блок. Впоследствии он оценил смешение жизни с искусством как некий духовный грех, провозгласив их *неразделъность* и *неслиянность* (предисловие 1919 г. к поэме «Возмездие»).

С развитием средств массовой коммуникации эта проблематика приобрела особое качество. Далекие от доверчивого простодушия людей архаичных эпох, мы, однако, далеко не всегда отдаем себе, скажем, отчет, что говорим или движемся, как обаятельные герои киноэкрана, что равняем свою судьбу по литературным судьбам – и т.д. и т.п. Об этом мало писано, феномен этот непростой и далеко не сводим к издержкам «массовой культуры». «Жизнь по образцам», как бы пародийно она подчас не проявлялась, имеет не случайный смысл. Даже, казалось бы, самое личное, неподдельное – например, представление о любви – в каждую эпоху, как известно, создается в немалой степени под влиянием читанного, виденного, слышанного на эту тему. Хорошо или плохо, но это уже подчас не меньшая данность, чем сама жизнь. Мы «живем в искусстве», в культуре с такой же безусловностью, с какой живем в искусственных постройках, а не в пещерах, и ходим в одежде, заботясь притом о ее покрое.

Все это так. Но не случайны же и возобновлявшиеся в разные времена – вплоть до наших дней – тенденции искусствоборческие, антикультурные, словно вызванные чувством некой опасности. Сравнительно недавний пример – лозунги парижских бунтарей 1968 г.: «Культура – извращение жизни!», «Долой культуру, да здравствует жизнь!», «Долой искусство: мы не хотим жрать труп!».

3. Два разговора с чертом. Разговор композитора Адриана Леверкюна с чертом, уже процитированный выше, – ключевая сцена «Доктора Фаустуса». Ее анализировали не раз и с разных сторон, отмечая, конечно, бросающуюся в глаза близость ее другой классической сцене – знаменитому разговору с чертом Ивана Карамазова. Здесь можно выявить немало прямых совпадений – до описания внешности черта и его манер – как будто один и тот же гость явился дважды, с интервалом в сорок шесть лет к двум разным людям.

Но есть между этими двумя беседами одно принципиальное различие.

К Леверкюну, как и к классическому Фаусту, инфернальный коммивояжер приходит, чтобы заключить сделку. Условия сделки до деталей оговорены. Музыканту обещается творческое вдохновение, гарантия великих успехов. Ему предлагается время, «гениальное время, окрыляющее время... полных двадцать четыре года... Когда они минуют... мы тебя заберем. Взамен мы будем всячески потакать тебе и потрафлять. Ад будет тебе споспешествовать при условии, однако, что ты станешь отказывать всем сущим – всей рати небесной и всем людям... Ты не смеешь любить... Твоя жизнь должна быть холодной».

Как видим, отнюдь не сулится сплошных удовольствий, напротив не скрыта и перспектива страданий. «Великое время, сумасшедшее время, совершенно чертовское время, со взлетами и сверхвзлетами, – конечно, и не без жалких падений, даже весьма жалких, это я не только признаю, но и с гордостью подчеркиваю, ибо так уж полагается, такова уж повадка и природа артистов... Это боль, которую с радостью и гордостью приемлешь как плату за чрезмерное блаженство».

Предложена жутковатая, поистине чертовская игра с четкими правилами, с намеченным до финала сюжетом – и Леверкюн ее принимает. Впрочем, вы-

ясняется, что он участвовал в ней давно, еще не подозревая об этом, невидимый режиссер отметил его, содействовал благоприятной болезни – музыкант подходил для такой роли по исполнительским данным.

Карамазову черт ничего не предлагает и не подсказывает, он лишь намеком проясняет, верней, подтверждает ему смысл того, что сделал Иван. Сделал сам, на свой страх и риск, не зная темных последствий во всей их полноте. Черт Ивана как бы ловит людей с поличным на этих темных (в двояком смысле слова, морально-оценочном и познавательном) делах и помыслах. Но выпутываться оставляет самих, без подсказки, гарантии и даже без соблазна. Похоже, он сам не наверняка знает, что потом будет. Его ерническая болтовня насчет загробных мук – скорей уход от ответа на заинтересованный Иванов вопрос. Он даже – хотите верьте, хотите нет – не знает, есть ли Бог.

То есть для себя, может, и знает, но с человеком у него об этом разговора быть не может, поскольку именно в отсутствии гарантий – залог некой подлинности человеческого существования.

«Каким-то там довременным назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен «отрицать», между тем я искренне добр и к отрицанию совсем неспособен. Нет, ступай отрицать, без отрицания-де не будет критики... Без критики будет одна «осанна». Но для жизни мало одной «осанны», надо чтобы «осанна»-то эта проходила через горнило сомнений, ну и так далее, в этом роде... Мы эту комедию понимаем... Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное... ну и страдают, конечно, но... все же зато живут, живут реально, не фантастически, ибо страдание то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие, все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато».

Дело, пожалуй, не просто в скуке; можно предположить, что страдание действительно зачем-то нужно в полноценной жизни (как и элементы лжи); во всяком случае, наиболее убедительная попытка смоделировать мир, исключивший страдания, – это страшноватая антиутопия Хаксли. Другое дело, что для человека недопустим такой надзвездный, отстраненный взгляд на мир, он не может навлекать на себя страдания умышленно. Это комедия для нечеловеческих сил, а для человека – жизнь, предъявляющая каждодневные требования к его совести и чувству ответственности. Гость Ивана со скучающей миной лишь констатирует факт, не требуя от русского умника практических выводов.

С Леверкюном у него разговор другой, в этом пункте они без объяснения способны понять друг друга. Видно, какое-то развитие совершилось в известном культурном слое за сорок лет, прошедшие между обеими встречами; созрело, в частности, уже упомянутое явление «декаданса» – с его ощущением всеосведомленности, пресыщенности культурой и традицией. (Сам композитор читал не только гетевского «Фауста», но, возможно, и «Братьев Карамазовых». Во всяком случае, Томас Манн, работая над романом, перечитывал Достоевского очень внимательно.) Не в пример Ивану, профессиональный художник, живущий почти исключительно искусством, Леверкюн чувствует это остро прежде всего в своей сфере. «Озарение, экспромт, – подхмыкивает вместе с ним черт... – Но мы-то натасканы в литературе, мы сразу замечаем, что экспромт не нов, что больно уж он отдает то Римским-Корсаковым, то Брамсом... Если произведение не в ладах с неподдельностью, как же тут работать?» Остается разве что пародия – игра «с формами, о которых известно, что из них ушла жизнь», но этот суррогат Леверкюна не устраивает. А к переживанию «нефиктивному, неигровому» он сам уже неспособен прорваться.

«Чтобы писать хорошо, страдать надо, страдать», – уверял Достоевский. Леверкюну эти страдания прямо сулятся, и он идет на них сознательно, если не сказать – умышленно. Вот в этой умышленности и есть больше всего сомнительного.

Трагические герои Достоевского не имели гарантий. Напропалую лицедействуя (в самих повадках их есть что-то актерское), они, однако, не знали заранее пьесы, пробивались сквозь нее всяк по-своему, на свой страх и риск, – то есть жили, бесконечно решая «последние вопросы». Трагическая же, но заведомо обусловленная жизнь Леверкюна с самого начала приобретает оттенок нечестивой игры – не только из-за содержания договора, но из-за самого его факта.

4. Дионис и Аполлон. Есть своя закономерность в том, что принятие Леверкюном дьявольских правил переплетено с отрицанием «игры» и «иллюзии» в их традиционной, узаконенной сфере – сфере собственно искусства. Сомнения в плодотворности и правомерности существования искусства как такового – вообще один из исходных пунктов всего дальнейшего развития композитора, и доводы его заставляют вспомнить другие, сравнительно недавние заявления. «Дозволена ли на нынешней ступени нашего сознания, нашей науки, нашего понимания правды такая игра, – задает себе вопрос герой Т.Манна незадолго до появления на страницах романа черта, – способен ли еще на нее человеческий ум, принимает ли он ее еще всерьез, существует ли еще какая-либо правомерная связь между произведением как таковым, то есть самодовлеющим и гармоническим целым, с одной стороны, и зыбкостью, дисгармонией нашего общественного состояния – с другой, не является ли ныне всякая иллюзия, даже прекраснейшая, особенно прекраснейшая – ложью?» «Уже сегодня совесть искусства восстает против игры и иллюзии, – заявляет далее Леверкюн. – Искусство больше не хочет быть игрой и иллюзией». «Разрыв между искусством и реальностью... «иллюзорный» характер искусства может быть преодолен лишь в той степени, в какой сама реальность приблизится к искусству и оно станет собственной формой реальности... Искусство как форма реальности означает не приукрашивание существующей, но создание новой, противоположной реальности»[1].

Я умышленно позволил себе процитировать без перерыва вслед за Леверкюном современного философа, чтобы сделать особенно наглядной неожиданную актуальность художественно исследованной Т.Манном проблематики. Высказывание Г.Маркузе взято из статьи с характерным названием «Искусство как форма реальности», где сомнения манновского героя словно переводятся в план злободневных размышлений об «отчуждении» искусства от реальности нашего «общественного состояния». Провозглашая отказ от «иллюзии», от «музеев и мавзолеев», Маркузе как бы продолжает весьма примечательную перекличку.

В конце 60-х годов, по его мысли, молодежное движение дало образцы некоего «living art» – «жизненного искусства», дальнейшее развитие которого, с одной стороны, должно отменить «иллюзорные» формы традиционного, отчужденного искусства, с другой – станет своеобразной формой существования будущего, преображенного общества. «Я считаю, что «жизненное искусство» («living art»), реализация искусства возможны лишь в качественно отличном обществе... где разовьются подавленные ныне эстетические возможности людей и вещей, причем под этим подразумеваются не специфические свойства определенных объектов («objet d'art»), а форма и способ существования, соответствующие мышлению и чувствованию свободных индивидуумов»[2].

В майских наступлениях молодежи 1968 г. многие увидели путь к преодолению отчуждения и в жизни, и в искусстве – поскольку они осуществлялись именно как спектакль, как некий большой хепенинг. «Ненависть молоде-

[1] H.Marcuse. Art as Form of Reality, New Left Review, № 74, p.p. 56, 57.

[2] Ibidem, p.p. 56, 57

жи прорывалась в смехе и песнях, стирая грани между баррикадой и танцплощадкой, любовной игрой и героизмом», – писал Маркузе в другой работе.[1]

«Необходимо пересмотреть понятие искусства, – это уже другой влиятельный идеолог направления Мишель Дюфренн. – Официальному искусству нужно противопоставить искусство, которое было бы делом жизни, искусство, прославляющее жизнь с ее свободой, силой, неожиданностью, искусство, подобное невинной и дикой игре, как дионисийский танец ребенка. Да, воссоздание: отчужденный человек воссоздает себя. Игра освобождает, крушит гнетущие ценности, смеется над оскопляющей ее идеологией, раскрепощает жизненную энергию. И, главное, она возвращает человеку вкус к удовольствию. Не к тому бескровному утонченному удовольствию, которое присуще созерцанию (впрочем, и оно лучше, чем ничего), а удовольствию более дикому и глубокому, порой смешанному с тоской, – ведь смерть присутствует в жизни. Если искусство – дело жизни, оно может быть и делом смерти: таким оно было для Ван-Гога и для многих других: игра может перерасти в страсть. Здесь действует свобода: хрупкое и яростное наслаждение, в котором желание на мгновение осуществляется.

Но чтобы искусство привело к такому результату, необходимо, чтобы оно переживалось, как игра, то есть бесконечная выдумка»[2].

Искусствоборческим концепциям новейшего рода присущ эстетизм, парадоксальный разве что на первый взгляд – он отрицает лишь «устарелые», официально узаконенные формы, произведения, созданные в виде ограниченных в пространстве и времени «опусов». «Опус, время и иллюзия... – они все вместе подлежат критике. Она уже не терпит игры и иллюзии, не терпит фикции, самолюбования формы, контролирующей, распределяющей по ролям, живописующей в виде сцен человеческие страдания и страсти. Допустимо только нефиктивное, неигровое, непросветленное выражение страдания в его реальный момент».

А это кто говорит? Кто этот критик, посрамляющий «игру» и «иллюзию» перед лицом «реальности»? Да это все тот же ехидный черт, продолжающий соблазнять Леверкюна своей диалектикой.

Важно отдавать себе отчет в особенностях этого «реализма», когда отрицание игры иллюзорной последовательно связывается с перенесением ее в другую сферу – и здесь самое время вспомнить Ф.Ницше, имя которого в замкнутых рамках манновского романа не могло быть упомянуто. Противопоставляя «апполонийскому» началу начало «дионисийское» (на которое совсем не случайно ссылался М.Дюфренн), Ф.Ницше писал в «Рождении трагедии из духа музыки»: «Аполлон стоит передо мной как преображенный гений principii individuationis, при помощи которого только и достигается истинное спасение и освобождение в иллюзии, между тем как при мистическом ликующем зове Диониса разбиваются оковы плена индивидуации и широко открывается дорога к матерям бытия, к сокровеннейшему ядру вещей»[3]. Это, с одной стороны, придает новое, освежающее качество самой жизни, с другой – ведет «к новому созданию искусства, – и притом искусства уже в метафизическом широчайшем и глубочайшем смысле»[4].

Какие-либо нравственные, социальные, рациональные ограничения при этом, естественно, даже не обсуждаются – ведь речь идет о предельном освобождении. По мнению черта, для которого, как и для Ницше, «художник

---

[1] H.Marcuse. An Essay on Liberation, pp. 25–26.

[2] М.Дюфренн. Искусство и политика. Выступление на VII Международном эстетическом конгрессе. «Вопросы литературы», 1973, № 4, стр. 109.

[3] Ф.Ницше. Полное собр. соч. М., 1912, стр. 113.

[4] Там же, стр. 107.

– брат преступника и сумасшедшего», желанное состояние «гениального» экстаза стоит того, чтобы достичь его любыми средствами. Более того, всего эффективней оно достижимо именно средствами, отвергаемыми «общепринятой» моралью. «Я блажен! Я вне себя! Какая новизна, какое величие! Мои щеки пылают, как расплавленное железо! Я в неистовстве, и всех охватит неистовство в такое мгновение»... «То, что тебя возвышает, что увеличивает твое чувство силы, могущества, власти – это, черт побери, правда, будь она хоть трижды ложью с добродетельной точки зрения!»

Один из парадоксов, которые демонстрирует круг идей, связанных с проповедью высвобождения в человеке чувственного, аффективного, внесоциального, состоит в том, что в подобного рода «витальном взрыве» слишком много заданного, умышленного, чтобы говорить об истинной неподдельности чувств. Аффективный приступ можно вызвать преднамеренно – для этого существует хорошо разработанная техника, фармакология, которой без излишней брезгливости пользовались и пользуются далеко не всегда добросовестные идеологи и практики. И надо отдавать себе отчет в опасности, какую таит в себе возможность злоупотребления «витальными силами», «освобожденными» от всех сковывающих ограничений.

Идеи имеют свою внутреннюю логику, которую не всегда предвидят даже их творцы. Работая над жизнеописанием своего Леверкюна, Т.Манн не в последнюю очередь думал о том, почему эстетские и, казалось бы, элитарные воззрения Ницше оказались питательной почвой для самых низменных, варварских, бесчеловечных концепций. «Существует какая-то близость, какая-то несомненная связь между эстетизмом и варварством, над которой нам не мешало бы поразмыслить», – писал он в своем позднейшем эссе «Философия Ницше в свете нашего опыта» – опыта людей, переживших фашизм. – «Эстетизм Ницше... вносит в его философские излияния что-то «невзаправдашнее», безответственное, ненадежное»[1].

5. Эстетика и этика. «Только как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности», – настаивал Ницше, развивая взгляд на искусство как на высшую задачу и собственно метафизическую деятельность в этой жизни. Ему слишком было противно расхожее благонравие, не желающее знать о прекрасном.

Но вправе ли этот эстетический взгляд претендовать на «полноту» жизнеощущения? Пожалуй, утверждение приоритета эстетики над этикой или наоборот свидетельствует именно об утрате жизненного единства, заключенного в двойном, платоновском смысле слова «хороший».

Есть своя красота и в темных безднах, в разложении и распаде; современное искусство особенно научило вникать в них; это тоже соответствует природной и конкретной сущности человека, для которого и болезнь и смерть естественны. Более того, распад и смерть необходимы и неизбежны в круговороте мироздания, но они могут существовать лишь включенными в некое устойчивое, непреходящее обновляющееся единство. Хаос для искусства может быть лишь частностью или средством – ибо оно (как и сама жизнь) по определению есть преодоление хаоса, то есть распада и смерти. И в этом смысле форма все-таки связана с красотой, как бесформенность с безобразием, в этом смысле красота, возможно, есть выражение устойчивости, полноты, гармоничности.

Вот почему забота об эстетической «форме» может иметь и этический смысл, особенно там, где мы не можем безусловно и сполна судить о правильности своих действий. Если мы не можем до конца чего-то постигнуть умом, просчитать всех последствий своего действия, надо положиться на

[1] Т.Манн. Собр. соч., М., 1961, т. 10, стр. 385, 386. Ср. характеристику Ницше из того же эссе: «Этот великий лицедей и мастер перевоплощения» играл «свою жизненную трагедию – я чуть было не добавил: им самим инсценированную» (там же, стр. 347).

форму – правила, запреты, предписания, не обсуждая их истинности (мысль М.Мамардашвили). Вот почему подчинение «дисциплине игры» (тоже родственное соблюдению эстетических законов) – залог гуманистического характера, способности противостоять тенденциям варварства (мысль Й.Хейзинги). «Что от Бога, то упорядочено», – эти слова из Послания к римлянам вспоминает однажды не кто иной, как манновский Леверкюн. Впрочем, что для него означает порядок? Двенадцатитоновую систему.

Элемент частной «лжи» может входить в цельную истину; эти частные элементы истины могут быть саморазрушительны. Но в целом искусство, видимо, все же создано человечеством из какой-то потребности в устойчивости, самосохранении. Я уже не говорю о том, что увековечивая в искусстве преходящие черты жизни, человек пытается противостоять страху смерти, продлить собственное существование: «Нет, весь я не умру...»

Конкретное произведение искусства не может ни изменить, ни улучшить мира: но искусство в целом и в «высоких», и в «массовых» своих проявлениях вносит в него одухотворенную организацию, без которой он не мог бы существовать. Пусть даже человек сам не всегда сознает глубинную суть этой потребности.

«Я считаю искусство изначальным феноменом, – писал одному из своих корреспондентов Томас Манн в 1922 г., – который ни при каких обстоятельствах не перестанет существовать, а художника как форму бытия – бессмертным... Было время, когда один великий человек, Шиллер, мог сказать: человек лишь тогда вполне человек, когда он играет. В такие серьезные и трудные времена, как наше, это звучит фривольно, и все-таки я уверен, что та священная и освобождающая игра, которую называют искусством, всегда будет необходима человеку, чтобы он чувствовал себя действительно человеком».

Творчество как служение жизни

Итак, можно сказать, что обладая свойствами бесцельной на вид игры, искусство все-таки служит каким-то глубоким и насущным человеческим потребностям – оно по-своему способствует поддержанию и сохранению жизни...

Вот, дошел до мысли, казалось бы, своим умом, – но заглянул в Платона: у него давно, оказывается, есть про это:

«Все, что вызывает переход из небытия в бытие – творчество».

Не это ли роднит искусство со всякой животворящей энергией человека, будь то любовь или культурное деяние? Продолжение рода, физической жизни есть творчество, – так объясняет Сократу мудрая гетера Диотима. Но – разве мы рождаем только тела? – замечает один мой герой.

В таком случае искусство представляется одной из сил, призванных противиться энтропии, распаду, гибели. Ведь если человек был для чего-то создан, то не для того ли, чтобы теплом своей жизни, страсти, творчества поддерживать и обновлять энергию мироздания, обреченного без него?

Андрей ПЛАХОВ (Москва)

КИНЕМАТОГРАФ ИЗ ПОДПОЛЬЯ

Среди многих кинопросмотров наверняка не забудется поздний, почти ночной, в рабочем зале киностудии «Грузия-фильм», в мае 1986 г. Смотрели «Покаяние». Смотрели вместе с режиссером картины и другим режиссером, он же – директор студии, которому строго-настрого было приказано держать запретную ленту во мраке своего сейфа. Невзирая на немыслимую конспирацию, в будку киномеханика набилось человек двадцать народу – сладок запретный плод. До международных премьер и критики «слева» в адрес Абуладзе еще ох как далеко...

Не одному мне памятны такого рода подпольные сеансы с их романтической и одновременно унылой аурой. В иных случаях просмотры выполняли роль дефицитной кости, брошенной на потребу «избранной» публике, в число которой, разумеется, просачивались и жрецы сферы обслуживания.

В одном ряду здесь оказались «полочные» картины Панфилова или Климова и зарубежная полупорнографическая клубничка, а она, в свою очередь, – с запрещенными по «морально-идейным соображениям» шедеврами Бергмана и Пазолини.

Не стоило бы в который раз вспоминать унизительную практику застойных лет, если бы она не наложила поистине рокового отпечатка на сознание наших мастеров экрана, не сформировала типовую психологию человека из подполья.

Подполье это выглядело вовсе не так, как в нашей литературной среде. Не было в кино ни сколько-нибудь развитого самиздата, ни русскоязычного тамиздата. Был официоз, и была одна большая полка. Иногда цензоры забывались и какой-нибудь рулон с пленкой помещали не туда. Одному Богу известно, за какие грехи были погребены на десятилетия некоторые вполне безобидные ленты – просто из-за произвола власть предержащих. Ну, а другие – «Прошу слова» и «Остановился поезд», например, – совсем незаслуженно получили, после некоторых проволочек, официальное признание.

Хоть и со сбоями, машина работала, и ее действие каждый на себе ощущал. Не отсюда ли невиданный в мире последней трети двадцатого века взрыв метафорического мышления, который в цивилизованных неподцензурных странах был пройден, оставлен позади вместе с неореализмом, новыми волнами и внедрением в кино теледокументальных методов?

Последний на Западе всплеск метафорического кино зафиксирован в Испании времен позднего Франко. Почти каждая крупная картина тех лет содержала утопленную в сюжете политическую метафору. На этой основе сформировался особый стиль тогдашней молодой испанской режиссуры.

Пал франкизм, цензура была отменена, вступила в права абсолютная свобода – от политической до эротической. И, за редчайшими исключениями, кинематография этой страны художественно поблекла, утонула в архаизмах и вторичности.

Дьердь Лукач заметил, что политическое искусство при социализме (возможно, он хотел сказать – при тоталитаризме) может развиваться лишь в форме притчи или аллегории.

«Покаяние» – вершина такого рода кино, оно впитало богатый опыт грузинской кинематографической школы, ее живую конкретность и в то же время склонность к символическим моделям. Сегодня, конечно, легко усматривать в этом фильме и чрезмерную прямолинейность, и вместе с тем – хитроумную зашифрованность, позволяющую читать его не вполне конкретно. Один молодой режиссер увидел в поэтике такого рода некую вредоносность:

ему показалось, что пришло время открытого, документированного фактами и примерами разоблачения сталинизма. Время пришло, зато сам режиссер снял фильм в жанре чистейшей аллегории, полагая, вероятно, что вложил в него «всю правду о нашем времени».

Глубоко укорененный цензурный комплекс – неотъемлемая часть творческой психологии советского кинематографиста. Он, этот комплекс, характеризует и самые выдающиеся, и вполне заурядные работы, сильно влияя на движение наших волн и подводных течений. Он в какой-то степени породил и мощную струю украинского фольклорно-поэтического кино, и живописную эзотерику Параджанова и Тарковского, и притчевую природу грузинских «печальных комедий».

Роль Художника, творящего не ради игры и удовольствия (тем более – не ради коммерции), а в вечном сопротивлении и противодействии, в мучительных усилиях обмануть цензоров; Художника, культивирующего только и исключительно внутреннюю свободу; Художника, возложившего на себя миссию выражать боль угнетенных своих соплеменников, – это роль совершенно особая.

Любая из этих духовных установок (которые могут и отрицать друг друга) формирует чаще всего сходный тип творца – аскетичного и сурового, мучимого (и мучающего других) мессианскими притязаниями. Но здесь было бы не совсем уместно ссылаться на идущую вглубь веков русскую традицию, на Толстого и Солженицына. Кино – искусство наиболее обобществленное. И то, что в нем происходит, – результат не национальной наследственности, а установленного на тысячеверстном пространстве социалистического климата. И духовный протест, и психологические комплексы наших художников экрана особые – социалистические.

Попробуйте обозреть глазом типовую кинопродукцию отечественных студий – от Прибалтики до Средней Азии – за последние двадцать лет. Ни в одной из кинематографий мира не найти столько поэтического самогипноза, столько иррационального подтекста и подавленной чувственности, как у нас – в стране победившего марксизма.

Зигмунд Фрейд давно бы опустил руки перед загадкой выживаемости западной цивилизации, которой прочили гибель еще сто лет назад. Зато попади он к нам, своей насмешливой волшебной палочкой он отомкнул бы не один зашифрованный миф советского кино. Начиная даже с Эйзенштейна.

Луис Бунюэль (опять просится испанская аналогия) признавался, что вошел в жизнь «под знаком сутаны и секса». Католическое воспитание провоцировало «нездоровый интерес» к вещам вполне естественным. Наши догмы тоже легко поворачивались своей затененной стороной. Цензура идеологии смыкалась с цензурой ханжеской морали на фоне комплекса мессианства. Не мудрено, что когда власть обеих цензур была ослаблена, наши ведущие режисеры оказались в добровольном простое.

*

Вопрос о смене языка в нашей прозе и поэзии уже поднимался в литературной критике, в частности, в статье Натальи Ивановой («Знамя», № 9, 1989). Н.Иванова справедливо усматривала квинтэссенцию эзоповой закодированной эстетики в романах и повестях Трифонова. В кино, на мой взгляд, наибольшая концентрация иносказательного смысла отличает фильмы Алексея Германа, особенно последний из них – «Мой друг Иван Лапшин».

Между тем в картине этой есть лишь одна метафорическая сцена. Юннат, стоя возле клетки с лисой, съевшей петуха, популярно разъясняет механизм агрессии: «В ней внезапно пробудился инстинкт хищника. По-видимому, не окончательно погашенный». Здоровый все-таки инстинкт в атмосфере всеобщего энтузиазма, когда в качестве эксперимента в одну клетку поместили хищников и птиц. «Эксперимент, – бодро заверяет юннат, – будет продол-

жен». Сладость власти и сладость подчинения. Тоталитарная система как царство счастливых рабов.

В остальном, однако, фильм Германа отличается настолько высокой органикой, что вообще трудно сказать, как автор относится к эпохе 30-х годов. Они для него наполнены живой плотью его ближайших предков, их верой, надеждой, любовью и физически ощутимой болью. Образы и звуки той поры обретают странное качество: они до такой степени сверхреальны, что становятся призраком, мифом, галлюцинацией.

Это ощущение конца истории и тотального торжества мифа режиссер сумел передать внесюжетно, через звукозрительный эмоциональный строй фильма. Ему не понадобились ни кодовая символика, ни мессианский нажим.

Что из того, что бытие любого персонажа картины – сплошной невроз, иллюстрация медицинского учебника. А люди все равно живут, любят, ссорятся, свирепо искореняют зло и мечтают про город-сад. Неисповедима загадка жизни, и никакая схема – философская, социальная или эстетическая – ее не исчерпает.

Собственно, и Юрий Трофимов к концу своей жизни двигался в сходном направлении, но и он, и Герман – скорее исключения. В основной же своей массе кино 70–80-х годов (до середины последних) шло в ногу с неоклассической поэзией и мифологизирующей прозой. Оно выработало свой особый язык-шифр, который хотя и разнился в фильмах Ильи Авербаха и Сергея Соловьева, Романа Балаяна и Николая Губенко, тем не менее обладал некоторыми универсальными чертами.

Кажется, одна из рецензий, тогда сочиненных, называлась «Заботы о духовности». В этом словосочетании (где пародийный акцент проявился скорее всего неосознанно) запечатлелась природа той ветви отечественного кинематографа, которую можно определить как оппозицию в рамках официоза. Можно и иначе: один западный журнал, имея в виду творчество наиболее престижного этой группы режиссера Никиты Михалкова, окрестил его «брежневским кино со знаком качества».

И в «Неоконченной пьесе для механического пианино», и в «Фантазиях Фарятьева», и в «Полетах во сне и наяву» звучит мотив бессмысленно прожитой жизни, которой придает ценность лишь духовная рефлексия, неизбывная тоска по утраченному времени, месту, идеалу. Это – идеал старой культуры и интеллигентности, это – совокупность нравственно-эстетических представлений, связанных с Пушкиным и Чеховым, с атмосферой заброшенных петербургских квартир и разоренных дворянских гнезд, с тонкими незримыми нитями, тянущимися от прошлого и уже почти оборванными.

Обилие культурных цитат и знаков, живописная красивость и нарочитая эстетизация несли в этих фильмах главную стилевую нагрузку, и они служили основой эзопова языка. Только формально это были фильмы о «женских» или «комсомольско-молодежных» проблемах, или вообще фильмы-экранизации классических сюжетов. На самом деле речь шла о насильственно искорененных традициях, о торжестве хама и плебея. Возвышенность и некоторая бесплотность ностальгии сочеталась с довольно-таки прагматичным подходом: духовность «внедрялась» столь же романтически-агрессивно, как в свое время – патриотизм и классовая ненависть. Миссия искусства изменилась, мессианство как принцип ничуть не изжило себя. Недаром одно из интервью с Сергеем Соловьевым той поры было озаглавлено «Экстремизм духовности».

Обращает на себя внимание еще одна черта советского «престижного» кино застойных лет – какая-то неадекватная сверхэмоциональность, истерическая взвинченность, переливающаяся через край неудовлетворенная чувственность. Разумеется, это метафора общей неудовлетворенности.

Учительница, героиня «Чужих писем» Ильи Авербаха при ее поистине ахматовской аскезе испытывает почти физическое влечение к своей беспри-

зорной и бескультурной ученице. Не мудрено: когда всю жизнь твой дух совокупляется только с Культурой, плоть отдает предпочтение чему-то простому и вульгарному. В фильме Сергея Соловьева «Наследница по прямой» юная героиня переживает свою воображаемую генетическую связь с Пушкиным как апофеоз сладострастия.

Да и сама эстетика кинолент этого ряда, их пьянящая живописность, их музыкальная сладкозвучность (с частым использованием Корелли, Перголези, вообще – чувственной итальянской музыки), содержит в себе нечто томительно-эротическое. Хотя эротики как таковой нет и в помине. Табу.

Может быть, самый решительный образец культурно-мифологического кода со скрытой психоаналитической подоплекой дают фильмы Василия Абдрашитова и его сценариста Александра Миндадзе. Именно по той причине, что на поверхностный взгляд фильмы эти сугубо и открыто социологичны, стилистически суховаты и лишены заволакивающего ностальгического флера.

По крайней мере в каждой второй работе этих остросовременных авторов конфликт строится на противостоянии и взаимном тяготении двух контрастных персонажей. Это подсудимая и судья в «Слове для защиты», трудный подросток и его непрошеный опекун в «Охоте на лис», следователь и журналист в картине «Остановился поезд», крупный чиновник и его марионетка-«негр» – в «Слуге». В каждой такой паре заключена не только очевидная социальная оппозиция, но и загадочная «противоестественная» связь на уровне инстинкта, пола, самой глубинной сущности персонажа. Можно даже сказать, что эти персонажи неотделимы друг от друга, как сиамские близницы, что у них одна душа, повернутая перед зрителем разными гранями. Социальная любовь-ненависть, превосходя по своей нагрузке нормальную любовь между мужчиной и женщиной, становится заменой этой любви.

Можно предположить, что Миндадзе и Абдрашитов иллюстрируют таким образом тезис об извращенности общественных отношений. Но столь же верно будет допустить и другое. Сфера подсознательного, гонимая из кинематографа эпохи позднего соцреализма, прорывалась на экран контрабандой. Это был уже не столько эзопов язык, сколько нечто обратное. Иносказание не закладывалось извне в структуру кинопроизведений, а проникало в нее изнутри на уровне клеточного состава. Не эротические коллизии скрывали в себе социальную природу, а как раз наоборот.

*

Бесспорно, что на высшей ступени престижа, почти грозя сломать официальную иерархию, стояли в советском кино «постклассического» периода фильмы и сама личность Андрея Тарковского. Не только в силу исключительности его таланта. Тарковский как никто выразил потребность в мессианстве, в духовном жертвоприношении. Каждая его картина становилась событием, далеко выходящим за рамки кинематографа. Экзальтация и чувственность были выведены в них на уровень религиозной мистериальности, «страстей» в старом, евангельском понимании.

Религиозность Тарковского вполне отвечает понятию синкретизма: в «Рублеве» режиссер вдохновляется строгими ликами православия, сквозь которые проблескивает ересь язычества; в «Ностальгии» – реализует свое тяготение к католицизму и барочности; в «Жертвоприношении» – столь же естественно следует традиции скандинавского протестантизма. Стоит добавить, что «Сталкер» пронизан мотивами восточных религиозных философий.

И культура в мире Тарковского подобна религии: она «синтетична», наднациональна, являет собой единое колоссальное собрание шедевров духа. Оставаясь бесповоротно русским художником даже в своих зарубежных постановках, Тарковский при этом космичен, космополитичен, а его язык – поэтически позвышенный, надмирный – универсален, как карта звездного неба.

Хотя Тарковский и относится к числу «трудных» режиссеров, его понимают (конечно же, по-разному) и у нас, и на Западе. Как бы заранее настраиваясь на некий не до конца постижимый божественный ключ, на поэтику сокрытия, внерационального приобщения, тайны, Тарковский трудно понятен, но понятен. Его «эзопов» язык есть на самом деле язык кинематографической поэзии Андрея Тарковского, лингвистически родственной поэзии его отца. Известно, что судьба режиссера была горестно омрачена конфликтами с цензурой. И, однако, цензура оказалась не властна ни над его художественным максимализмом, ни над свободной природой его гениальности.

Напротив, когорта последователей Тарковского несет в своем сознании комплекс художественной несвободы, с большим трудом пытаясь его преодолеть. Например, Константин Лопушанский сам называет свои мрачные фильмы-антиутопии религиозными драмами, но именно нагнетание религиозной идеологии на светском жанрово-стилевом фоне оказывается их самым слабым местом.

Мне довелось видеть как-то пятиминутный голландский телерепортаж о жизни города Сумгаита. Были показаны не только трущобы, в которых обитают рабочие, не только катастрофически загрязненные земля и вода, но также люди: тысячи из них приговорены рождаться дебилами и заполнять местные больницы, где их держат едва ли не до совершеннолетия, а потом выпускают на улице. Сразу вспомнился фильм Лопушанского «Посетитель музея», который я высоко ценю как профессиональное достижение. С поразительной точностью режиссер воспроизвел страшный психофизический облик вырожденцев, жертв экологического кризиса. Но обращаясь к зрителю на языке вневременной христианско-религиозной драмы, режиссер уводит обжигающе реальную проблему в пространство духовных аллегорий. Между тем мы знаем, что произошло на нашей памяти в Сумгаите: в основе варварской вспышки насилия лежат причины прежде всего социального, или, точнее сказать, факторы цивилизационного устройства. Экология так же зависит от состояния общества, как и его мораль. Абсолютные христианские критерии в подобных ситуациях, где повязаны не только христиане, вообще неприменимы.

После Тарковского, после радиальных изменений в цензурной сфере неприменимыми оказались многие работавшие еще вчера шифры и структуры. То есть они продолжают применяться, но воспринимаются как запоздалая дань все тем же комплексам. Это не значит, что кинематограф метафорический, поэтический или сюрреалистически-гротескный потерял почву под ногами. Но он должен строиться заново, на другом фундаменте, а не на прежних принципах вынужденного иносказания или перевернутых схемах.

Попытки ввести новый шифр, собранный из обломков старых мифов, а также легализованных элементов контркультуры и андерграунда не привели к торжеству новой эстетики ни в «Городе Зеро» Карена Шахназарова, ни в «Жене керосинщика» Александра Кайдановского, ни в «поисках жанра», предпринимаемых с необычайной активностью и увлеченностью Сергеем Соловьевым (имею в виду фильмы «Асса» и «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви»). Хотя все это любопытные и живые картины с множеством виртуозных фокусов и завораживающих эффектов. Не менее причудлива и занимательна ленинградская «новая метафоричность», представленная фильмами «Бумажные глаза Пришвина» Валерия Огородникова, «Оно» Сергея Овчарова и «Посвященный» Олега Тепцова.

Почти все эти фильмы встречены советской публикой довольно равнодушно, критикой – весьма разноречиво (преобладающий тон – кислый энтузиазм, смесь почтения и раздражения); большинство из них нашло признание на небольших зарубежных фестивалях в качестве так называемого «странного» кино, стремящегося заглянуть в XXI век, но иногда производящего впечатление архаичности.

Гораздо больший культурный резонанс имеют фильмы Александра Сокурова, сталкивая в полной непримиримости их сторонников и противников.

Этот режиссер тоже стремится создать антиязык, который, как он верит, и станет подлинным языком будущего кино. Когда на пресс-конференции в Роттердаме Сокурова спросили, в чем он видит причину сегодняшнего кризиса европейского киноискусства, он сказал примерно следующее. К несчастью, кинематограф зародился в Европе в пору, когда там «свирепствовал модерн». Совсем иначе развивалось бы искусство «десятой музы», если бы оно возникло в Китае или, скажем, в Иране – там, где в культуре крепки традиционные каноны. На вопрос, как же выйти из кризиса, режиссер ответил: «Остается надеяться на мессию...»

*

Цели и размер этой статьи не позволяют включить в нее проблему смены языка в массовых жанрах, составляющих заметную часть репертуара отечественного экрана. Как и раньше, этот экран рассекает резкая разграничительная черта, по одну сторону которой свирепствует более или менее умелая конъюнктура, только направленная на иную, чем раньше, систему приоритетов. Здесь вообще трудно говорить о каком бы то ни было художественном языке, ибо он включает не более сотни клишированных разговорных понятий. С первобытной «доэзоповской» дремучестью здесь переговариваются, бродя в дебрях масскульта, Сталин и его подручные, молодая поросль в стиле «рок» и воры в законе.

По другую сторону звучит язык, тоже не обремененный хорошим тоном. Намекаю не только на пресловутый мат, из-за которого чуть не закрыли фильм Киры Муратовой «Астенический синдром», но и на сам кинематографический язык тех фильмов, которые сегодня заняли место престижных.

Это картины молодых и относительно молодых: «Маленькая Вера» и «В городе Сочи темные ночи» Василия Пичула, «Муж и дочь Тамары Александровны» Ольги Наруцкой, «Караул» Александра Рогожкина, «СЭР» Сергея Бодрова. К ним можно добавить «Случайный вальс» Светланы Проскуриной и «Панцырь» Игоря Алимпиева. Именно они представляли за последние два-три года советское кино на самых видных киносмотрах Европы и Америки. Представляли не без успеха, а некоторые попали и в коммерческий прокат.

Наиболее традиционен из всех перечисленных фильм Бодрова, название которого расшифровывается неожиданно: «Свобода – это рай». В нем ощущается почерк режиссера, сформировавшегося еще в доперестроечную эру, – режиссера деликатного, лиричного, не склонного к тотальному бунту, в том числе и эстетическому. Он вводит новые, прежде запретные мотивы (жестокий быт тюрем и подростковых колоний) в уверенное русло мелодрамы. Мальчишка бежит из неволи, пересекает огромную страну, чтобы найти своего отца, а тот тоже в тюрьме. Короткий миг встречи – и герои расстаются, быть может, навсегда. Беглеца возвращают на место его заключения.

Без всяких назойливых акцентов и авторского насилия этот сюжет перерастает в другой. Мелодрама отступает перед тоской и величием неодолимых пространств, где жить бы да жить человеку, ан нет, извольте поместиться каждый в своей камере, откуда вас выведут и на работу, и на прогулку, и на пытку. Жестко налаженная система подавления личности развернута как метафора («страна-тюрьма»), однако прозрачная естественность этой метафоры свидетельствует об обреченной возможности делать «нормальное» перестроечное кино. Не отталкивающее конъюнктурностью. Вполне демократичное и общечеловеческое. И при этом не лишенное артистических амбиций.

Примерно то же относится и к картине «Караул». Экстраординарность ситуации (солдат конвойной службы, доведенный до отчаяния издевательствами, расстреливает своих сослуживцев) на самом деле столь же типичная картинка армейской жизни, сколь и символ тотальной несвободы. Заключен-

ные и их стражники – равно продукты этой несвободы, равно субъекты скрытой гомосексуальности, потому что в неволе нет мужчин и женщин и есть единственный род наслаждения – власть над себе подобными.

Еще вчера подобный поворот привычной картины мира прозвучал бы дерзким вызовом. Сегодня сама эта картина настолько сдвинулась, что «Караул» в добротной режиссуре А.Рогожкина воспринимается как элементарная честность перестроечного кинематографа. Но не как его откровение.

Более энергичные «силовые» режиссерские приемы демонстрирует В.Пичул. «Маленькая Вера» шокировала нашу публику не только обнаженной (кстати, до известных пределов) постельной сценой, но и обнаженным бытом классической в своем убожестве советской семьи. Заставить миллионы людей увидеть себя со стороны – это уже достижение. Заставить многих из них негодовать по этому поводу – тем более. А сфокусировать в маленькой героине с символическим именем Вера раскрепощенную эротическую энергию пуританского общества – это настоящая сенсация.

В следующей картине Пичула открытия как такового нет, но есть ощутимое присутствие режиссера, знающего, чего он хочет, и заставляющего себя уважать. А хочет он разрушить стереотипы так называемого «морально-этического» кино, окончательно снять с его излюбленных персонажей патетику «духовных исканий». Не сгущая реальность до гротеска, Пичул выводит на экран преобладающий у нас тип людей – вечно неудовлетворенных материально, морально, социально и сексуально и ничего не способных сделать в радость самим себе. Не говоря уже о других. Недаром говорят: «Рашен сам себе страшен».

В «Городе Сочи...» нет больше хотя бы маленькой, но веры, маленькой надежды. И, однако, в легкости, с какой автор фильма тасует судьбы своих героев, обнажает их нелепую сущность, вышучивает их нескладную жизнь, есть нечто новое и привлекательное, есть уже как будто симптом выздоровления. Хватит, в конце концов, стенаний и заклинаний, только порция здорового цинизма способна излечить нас от привычки рядиться по любому случаю в возвышенную тогу, словно говорит Пичул. Это, быть может, первый режиссер в советском кино, который не только внешне, но и внутренне свободен от цензуры комплексов и «высоких традиций». Хотя в этой свободе и есть что-то пугающее...

Характерно, что Пичул не понимает свободу как нечто снимающее зависимость от драматургических канонов и сюжетных условностей. Напротив, его фильмы опираются на крепко сработанные сценарии Марии Хмелик, слегка даже театрализованные, с элементами водевильных конструкций.

Совсем в иную стихию погружаешься, смотря фильм-дебют Ольги Наруцкой «Муж и дочь Тамары Александровны». Испытываешь при этом странное чувство, будто вернулся в «рваную» эстетику 60-х годов, в эпоху дедраматизации и захлестнувших тогда экран бессюжетных «потоков жизни». Но с заметной поправкой: все то, что существовало в подтекстах, в эмоциональной атмосфере, выведено теперь наружу, доведено до истошного крика, до надрыва.

Коллективный невроз, тотальная неудовлетворенность и агрессивность – лейтмотив фильма Наруцкой, что само по себе не ново. И чисто режиссерские ее ходы побуждают вспомнить то Германа, то Авербаха. Но и здесь существенное различие. Наруцкая снимает не образное, а «прямое» кино. «Истеричность формы» не есть метафора свихнувшейся жизни; она и есть как бы сама жизнь, разорванная, клочковатая, ничем эстетически не уравновешенная. Даже кадры поразительно снятого и по-своему поэтичного вечернего Ленинграда несут в себе предупреждение об опасности, о смерти, о вселенском хаосе. В самом прямом житейском, а отнюдь не в провиденциальном, мессианском смысле.

Созвучны этим настроениям и другие фильмы «новой волны», биение которой слышно все более отчетливо. В ленинградской картине режиссера

Игоря Алимпиева «Панцырь» дан психический (шизофренический) срез поколения немного старше тридцати. Поколения, оказавшегося в исторической ловушке. Независимо от индивидуального склада судьбы, будь он милиционером или диссидентом, каждый ощущает беспросветность мира, где выбор заключается лишь в том, чтобы физически уничтожить либо себя, либо своего ближнего. Другая ленинградская лента, «Случайный вальс», погружает зрителя в чудовищную рутину русской провинции, а режиссер Светлана Проскурина эмоционально окрашивет ее женской тоской, безвыходностью, неприятием мира, где преобладают «кретины и кастраты».

Несколько отличается по своей интонации молодое кино в Казахстане, где уже давно зрела почва для евро-азиатского культурного синтеза. Влияние Германа и ленинградской школы, а также американских жанровых моделей неожиданно и плодотворно совместилось с экзотикой местного быта, создавая абсурдистские и вместе с тем вполне жизнеспособные комбинации. В фильмах «Игла» Рашида Нугманова и «Трое» Бахита Килибаева и Александра Баранова звучит мотив облегченной безответственности существования аутсайдеров общества – бичей и наркоманов. Тихий ужас советского быта испытывает вернувшийся с афганской войны герой фильма Серика Апрымова «Конечная остановка». Жизнь затерянной в горах казахской деревушки словно застыла в сюрреалистическом сне, в предчувствии глобальных бурь и потрясений.

Черный колорит, возобладавший на огромной территории «многонационального советского кино», имеет разные оттенки, вбирает в себя разные эмоциональные и стилевые установки – от коммунальной истерики до «спокойного» апокалипсиса. За границей с удивлением вглядываются в черты нового советского кино, на глазах разрушающего собственные мифы, купающегося в пыли и осколках. Такого не было ни в одной кинематографии мира.

Была черная волна в британском кино, живописавшая быт кухонь и прачечных. Было нашествие американских «неприкаянных». Была югославская черная серия. Мрачные польские и венгерские гротески. Но такого не было – чтобы и кошмар коммунальных задворок, и проклятия истории, и жестокий, безрадостный секс, и агрессия очередей, и казарменно-тюремный скрежет стали фоном и смыслом всей экранной жизни. Плюс запоздалые всплески авангарда и андерграунда, плюс доморощенный сюрреализм, плюс неизжитый фрейдизм, – есть перед чем встать в тупик западному зрителю, оставившему все подобные прелести в далеком историческом прошлом.

Но даже рудименты метафорической поэтики не меняют общего впечатления: перед нами «прямое» кино, непосредственно отражающее новую ситуацию, когда непреодоленный застой накладывается на перестроечную разруху. А разруха, как известно со времен Булгакова, находится в головах, так что переживаемый нами бытовой апокалипсис есть не что иное, как проекция смятенного сознания. Как говорит, вбегая в квартиру, героиня фильма «Посвященный»: « В четверг будет конец света... Эти, как их, шведы, предсказали. Надо бы солью запастись, крупой. Я вот на всякий случай калоши прихватила с фабрики».

Есть соблазн – некоторые критики так и поступили – прочитать киноманифесты молодой генерации вполне традиционно. Например, как трактаты о бездуховности, о неудовлетворенной потребности в любви. Иногда авторы сами дают повод для таких суждений, ведь им с детства внушали, что искусство должно воспитывать, смягчать нравы, преподносить моральные уроки.

Но гораздо больше, чем сюжеты, чем, быть может, даже намерения, говорит сам язык этих картин. Грубый, лишенный претензий на изящество, совершенно словно бы не знакомый с эвфемизмами и эпитетами. Это язык кинематографа, уже вышедшего из подполья и еще не успевшего сковать себя хорошими манерами и эстетическим этикетом.

*

Вряд ли так может долго продолжаться. Разгул «чернухи» на отечественном экране сегодня уже не эпатирует, а вызывает тяжелое чувство однообразия, притупляет восприятие, и без того измученное каскадом негативных эмоций. Усиливается потребность в киногрезах, в «чистых» комедиях и мелодрамах, в пленительных экранных мифах. Иносказание теперь нужно не для обмана цензуры, а для обмана самих себя. Человеку необходимо обманываться: жить совсем без иллюзий оказывается попросту невозможно. И хотя западные фабрики грез готовы снабжать нас этим товаром охотнее, чем колготками, все равно он в дефиците.

Усиливается потребность и в «вечных ценностях», в том числе эстетических. С тех пор как сбросили с корабля современности Бондарчука, а производственно-техническая база студий стала на глазах разваливаться, почти никто не берется за большие постановочные картины, за историю, за экранизацию классики. Замыслов такого рода более чем достаточно, они есть и у Никиты Михалкова, и у Элема Климова, и у Алексея Германа, и у Тенгиза Абуладзе. А фильмов нет. Где-то в туманах сверхдорогих проектов, в миражах международных копродукций витают Мастер и Маргарита и иже с ними.

Вот почему неожиданное явление горьковской «Матери» в режиссуре Глеба Панфилова стало интригующим событием. Эта трехслишнимчасовая киноэпопея могла бы показаться изнурительной, если бы мы не устали смертельно от ритма «600» секунд. И хотя Горький тоже, кажется, благополучно сброшен с корабля современности, на самом корабле нет ощущения счастья.

Дело, впрочем, не в Горьком, который экранизирован Панфиловым, похоже, из упрямства, чтобы не шагать в колонне под перестроечными знаменами. Иначе бы он наверняка предпочел «Котлован» или что-нибудь набоковское. Горький оказался достаточно хорош для того, чтобы выстроить на нем канву киноромана из российской жизни. А она за истекшее без малого столетие изменилась достаточно, чтобы приблизиться к исходной точке. Вот эту вязкость времени и пространства, из коего не выбраться, и неистребимый дух идеализма, воспаряющий над трясиной, фильм передает впечатляюще. Задуманный еще до перестройки как историческая аллюзия к диссидентскому движению (рабочее название – «Запрещенные люди»), теперь он снят и прочитывается иначе – в качестве философской альтернативы идеологии социальных скачков.

Однако все же самое странное и экзотическое образование на перекроенной кинематографической карте – это, без сомнения, «Астенический синдром», картина, фактически закрывающая киноэпоху 80-х годов.

А может быть, не только 80-х. Вот уже третье десятилетие Кира Муратова слывет enfant terrible нашей режиссуры. Ее фильмы резали и запрещали, выпускали под чужим именем, ее вообще на несколько лет изгнали из кинематографа как недостойную. А за что, собственно?

Ее давние, по определению режиссера, «провинциальные мелодрамы» «Короткие встречи» и «Долгие проводы» родственны всей той ветви русской литературы, что сострадательна к горестям и невзгодам маленького человека. Но по своей жанровой и эмоциональной сути фильмы Муратовой тяготеют еще и к романтической беллетристике, к апофеозу простодушных, всепоглощающих и неподвластных уму страстей. Безыскусность – и манерность, отточенность – и нарочитая небрежность стиля пленяют в этих давних уже фильмах, принесших ее автору спустя двадцать лет международную славу.

Сегодняшняя Муратова усматривает в них чрезмерную – «как у французов» – изысканность. И делает первую часть «Астенического синдрома» как горький и иронический парафраз себя прежней. Отснятая в черно-белом изображении новелла о женщине, похоронившей мужа и обезумевшей от своего горя, и есть экранизация давно примеченного режиссером сценария.

Теперь стало окончательно ясно, что имела в виду Муратова (похоже, цензоры поняли это одними из первых) в своих ранних лентах, переполняя их женским томлением и беспокойством. Капризная взвинченность эмоций шла не только от одиночества, от неприсутствия конкретного мужчины, который имел свойство фатально исчезать, растворяться в пространстве. Но и от догадки о том, что мужчина в этом мире вообще более не существует, что он стал мифом, подобно герою Высоцкого – из «Коротких встреч», подобно самому Высоцкому. Женщина осталась одна на варварском кладбище, среди выброшенной на прилавки дохлой рыбы, дебильных, не способных держаться на ногах существ в штанах, больничных психов и обреченных на медленную смерть собак.

Кто-то уже назвал этот фильм мартирологом советской действительности, кто-то уподобил «сведение на нет» мужчины ницшеанскому «Бог умер». В последней сцене смертельно больной астенией герой (по профессии – учитель) засыпает в вагоне метро, уносится в преисподнюю с распахнутыми, как у Христа, руками. Метафорический слой, как никогда прежде плотный у Муратовой, служит противовесом натурализму, тоже небывало беспощадному.

И все же главная сила Муратовой в другом. Это – безошибочный слух на бешеную и замирающую, скрежещущую и ласкающую музыку жизни. На говор толпы, на интонацию очереди, на голоса ее монстров и типажей. Включаясь в эту дисгармоничную партитуру, кинематограф Муратовой обретает способность чудесным образом преодолевать ужас и даже отчасти как бы сживаться с ним. В том числе с так пугавшим шестидесятников ужасом бездуховности.

Наверняка абсолютное большинство из них изобразило бы толстую завучиху школы с ее жу-у-тким прононсом как вульгарную мещанку, обсмеяло или заклеймило бы ее (тем более, что именно она становится причиной служебных невзгод главного героя). У Муратовой же эта «отрицательная» женщина так органична в своем одноклеточном естестве, что обладая эстетическим чувством, невозможно ею не любоваться.

И не сочувствовать одновременно. Ведь она, зажатая вместе со своим взрослым сыном в захламленной комнатушке, подобна большому зверю в тесноте и неволе зоопарка. Напротив, страдающий от своей рефлексии учитель никакого эстетического соучастия не вызывает: он бесплотен, безъязычен и фиктивностью своего существования способен лишь констатировать пессимизм интеллекта.

Муратова меряет человека не социальными и культурными, а экзистенциальными и природными мерками. Чем примитивнее экземпляр людской породы, тем непроизвольнее, хотя и грубее, проявляется его самоценная сущность. Чем больше ее требования задавлены «надстройкой», тем сильнее они прорываются астенией или агрессией, внутренней либо внешней истерикой.

Замените теперь «надстройку» «перестройкой» – и вы поймете, почему «Астенический синдром» прозвучал кодой для целого исторического сюжета нашего кинематографа. Все его накопленные комплексы и притязания вышли наружу: и эзопов язык, и мессианство, и невротическая энергия, замешанная на сексуальных табу. Только весь фокус в том, что у Муратовой все это – даже отчаянный мат – перестало быть функциональным, перешло в сферу художественного наблюдения.

Кинематограф – это проверено почти столетней мировой практикой – не может жить без мифов. Может быть, и кино в России, в сопредельных с ней странах, все еще пребывающих в жестоких объятиях империи, когда-нибудь вновь создаст свою мифологию, откроет забытый язык величественных символов и глобальных метафор. Сегодня оно предпочитает изъясняться на жаргоне подворотен и даже на нем ухитряется сказать кое-что существенное.

Еще бы: у него большой подпольный стаж. А подпольщики знают толк в разных наречиях. Их жизнь научила. ●

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ

«Люди позднейшего времени скажут мне, что все это было и быльем поросло... знаю я и сам, что фабула этой были действительно поросла быльем; но почему же, однако, она и до сих пор так ярко выступает перед глазами? Не потому ли, что, кроме фабулы, в этом трагическом прошлом было нечто еще, что далеко не поросло быльем, а продолжает и д о д н е с ь т я г о т е т ь над жизнью?»

Перед нами книга, название которой отсылает к этой цитате из Салтыкова-Щедрина; подзаголовок выпуска – «Записки вашей современницы».

В книге много фотографий: нежные лица, нарядные платья... Такими они были до ареста. И читателю приходится прибегать к помощи воображения, чтобы увидеть этих юных женщин такими, какими они стали в тюрьмах, лагерях, ссылках.

Мне напрягать воображение не надо: за девять лагерных лет я насмотрелся на женские лица, потемневшие от мороза и ветров, осунувшиеся от голодухи, шелушащиеся, утратившие улыбчивую привлекательность; видел я и фигуры, обезображенные многоэтажьем напяленных на себя лагерных лохмотьев, и шатающихся, измученных людей, видел и многое другое.

В этой книге они сами повествуют обо всем, что пережили...

Огромно пространство этой книги – от Соловков до Колымы, от Печоры до Казахстана. Велик и размах времени: от рассказа Берты Бабиной о первом аресте в начале двадцатых годов – и до стихов Анны Барковой, написанных после ее последнего ареста в дни хрущевской оттепели, в эпоху реабилитаций и возвращений.

Когда-то, в те же самые тридцатые годы, был введен в обиход термин «человеческий документ». Он подразумевал литературную запись фактов, сообщаемых участниками значительных событий. Появились и писатели – собиратели и обработчики таких документов. Сборник «Доднесь тяготеет» увидел свет благодаря усилиям поэта и литератора Семена Виленского. Но записки женщин почти не требовали обработки. Это – человеческий документ в том смысле, что он создан теми, кто смог сохранить в себе человеческое в нечеловеческих условиях.

Как-то в пятидесятых годах мне пришлось услышать фразу: «ЧК должна быть органом ЦК партии. Иначе она вредна, иначе она превратится в охранку или в орган контрреволюции». Человек, которому принадлежит этот афоризм, – видный деятель революции, – полагал, что он таким образом реабилитирует партию: дескать, отклонение «органов» от партийной совести и привело к произволу. А ведь именно такая позиция (тайная политическая полиция есть орган ЦК) представляет собой формулу беззакония, независимо от того, отклонялись или не отклонялись ЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ от «партийной совести». Книга «Доднесь тяготеет» прекрасно иллюстрирует деятельность этих учреждений в годы, когда борьба с реальными противниками советского режима была уже победоносно завершена.

Самая ранняя хронологически повесть Берты Бабиной – рассказ о пребывании в тюремном «социалистическом корпусе», где содержались члены социалистических партий, расходившихся с большевиками по тактическим вопросам, но признавших Советскую власть и еще недавно имевших своих представителей в Советах. Бабина и ее товарищи оказались за решеткой в 1922 году – по логике межпартийной борьбы, осуществляемой, как это ни дико звучит, государственными органами. За межпартийной борьбой началась внутрипартийная – борьба со всякими «уклонами», – и государственный репрессивный аппарат снова при деле, и вот уже Надежда Гранкина, автор другого очерка, пьет до дна лагерную чашу из-за того, что муж ее некогда примыкал к троцкистам. А дальше – тридцатые годы, истребление своих же собственных кадров, а заодно и бесчисленных невинных людей, вовсе не имевших отношения к партийным делам, выкорчевывание крестьянства, уничтожение интеллигенции, – всех поглотила мерзлая тундра и непролазная тайга. Вслед за политическими деятельницами, такими, как Евгения Гинзбург или Елена Сидоркина, приходит очередь жен, сестер, матерей арестованных. Их судьбу, спустя годы, повторяют их дети, второе поколение. В некоторых семьях доходило и до внуков. Оставшись без родителей, они попадали в детские дома, в спецколонии, и счастлив был тот, кто оказался на попечении немощных стариков или родственников, уцелевших в кровавой круговерти. Они вырастали, не зная отцов и матерей, нередко с присвоенной им другой фамилией, с вымышленной биографией... Боль о детях лейтмотивом проходит сквозь эту созданную женщинами книгу, – и это, пожалуй, самая трагическая ее черта. Страшно читать о детях за

Доднесь тяготеет. Вып. 1. Записки вашей современницы. Составитель и автор предисловия Семен Виленский. М., «Советский писатель», 1989. Готовится к выходу второй выпуск.

колючей проволокой в воспоминаниях Хеллы Фришер, Евгении Гинзбург, Хавы Волович.

Читатель составит себе ясное представление и о диапазоне лагерных работ, на которых использовались заключенные женщины: от лесоповала и строительства железных дорог до «благословенных» уголков каторги – пошивочных мастерских, сельхозкомандировок, лазаретов, наконец, театров и ансамблей «художественной самодеятельности». Да и все градации наказаний, изобретенных сталинскими юристами, весь этот жуткий жаргон малопомалу расшифровывается для непосвященных: «тюрзак» – тюремное заключение, лагерь – обычный, режимный, особый, ссылка по решению таинственного заочного ОСО и бессрочное, без всяких решений и объяснений поселение по отбытии срока; статьи, фигурирующие в Уголовном кодексе, и зловещие аббревиатуры, понятные только судьям и их жертвам: ПШ (подозрение в шпионаже), КРА, АСА (контрреволюционная агитация, антисоветская агитация – где тут разница?), КРД (контрреволюционная деятельность) или КРТД (то же самое, но еще и «троцкистская»). Специально для женщин и подростков: ЖИР – «жена изменника Родины», ЧСИР – «член семьи изменника Родины»... Так называемое «повторничество», когда в конце 40-х годов несчастных людей, уже отсидевших в лагере кто восемь лет, кто «червонец», едва успевших отведать – нет, не вольной жизни, вернуться домой им не разрешали, – а хотя бы не подконвойной, снова хватали и, не предъявляя никаких новых обвинений, запирали в камеры, гнали этапами на край света в вечную ссылку.

Воспоминания женщин – долгий путь к прозрению. В лагере существовала поговорка: «Дальше едешь – тише будешь». Можно было бы сказать: «Дальше едешь... зорче станешь». Видимость благополучия, когда не знаешь или не желаешь знать, что происходит, – до того мига, пока это не ударило по тебе. Ошеломление, недоумение и поначалу уверенность, что ты стала жертвой ошибки: и лишь постепенно, ценой мук, унижений, тяжких раздумий, постижение неслыханного лицемерия, среди которого тебе выпало жить.

Сборник «Доднесь тяготеет» состоит не только из воспоминаний в собственном смысле слова. Есть тут и замечательно интересная эпистолярная проза Ариадны Эфрон, и дневники Юлии Соколовой, и лагерный эпос – поэма Елены Владимировой «Колыма», и лирика Анны Барковой.

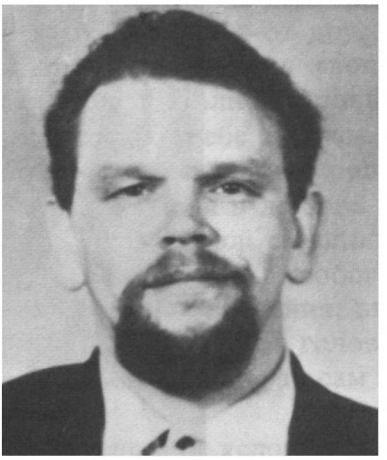
Большая часть того, что принято называть творческой жизнью, у Анны Барковой (которую я решаюсь назвать одной из самых значительных женщин-поэтов нашего времени) прошла в тюрьмах, лагерях, ссылках. Но даже в этой обстановке – и, может быть, даже подхлестнутое ею – воображение поэтессы вызывает из глубин памяти, из пластов истории сопоставления, образы и лики далеких эпох: в песчаной Караганде ей чудятся цветные шатры Тамерлана, над тупыми физиономиями сталинских следователей витают тени инквизиторов, мрачные призраки минувшего перекликаются с бесчеловечной явью современности. Когда-то, прочитав стихи двадцатилетней Анны Барковой, А.В.Луначарский писал ей: «Я вполне допускаю, что вы сделаетесь лучшей русской поэтессой за все пройденное время русской литературы, но, разумеется, при условии чрезвычайного отношения к собственному дарованию». Какой странной иронией звучат эти слова. С 1934 по 1965 год (с перерывом в восемь лет) А.Баркова находилась в заключении, и ее стихи приходят к читателю только теперь.

Бывают удивительные совпадения. Знал ли режиссер Тенгиз Абуладзе, работая над фильмом «Покаяние», о воспоминаниях Веры Шульц, еще одной участницы сборника «Доднесь тяготеет», когда снимал сцену, в которой подручный диктатора Варлама арестует людей только за то, что они чьи-то однофамильцы? Но Вера Шульц очутилась в застенках исключительно по причине своей фамилии: раз Шульц, то, конечно, немка, конечно, прибыла из Германии, конечно, шпионка...

Не все авторы книги дожили до дней, когда они смогли бы увидеть свои воспоминания опубликованными. Их близкие и друзья с немалой опасностью сберегли эти бесценные, в большинстве случаев отмеченные незаурядным литературным дарованием человеческие документы.

Мы обязаны отдать должное труду и настойчивости составителя С.С.Виленского, чья юность тоже прошла по ту сторону мира живых: он бывший узник страшной Сухановской тюрьмы и Магадана. Целых три десятилетия он собирал воспоминания бывших лагерниц, долгие годы пробивал эти тексты сквозь всевозможные рогатки и препоны, терпел поражения (начиная со времен оттепели), вновь принимался за дело, – и вот, наконец, произошло чудо. Но не будем обольщаться, не будем легкомысленно списывать все, о чем молчаливо кричит эта книга, на сталинское или брежневское прошлое. Чудовищные учреждения насилия и террора стоят, как ни в чем не бывало, – и кто знает, что они сделают с нами завтра? ●

Лазарь Шерешевский



РЕВОЛЬТ ИВАНОВИЧ ПИМЕНОВ

(1931–1990)

«...Знаю: сгустком крови черной за свободу я плачу...» – читал мне гумилевские строки Револьт Пименов в тюремном подвале Ленгорсуда в 1957 году.

Тридцать три года спустя он умер от потери крови.

Доктор физико-математических наук, политзаключенный и ссыльный, электромонтер и пилостав, народный депутат РСФСР, кубанский казак по рождению, ставший депутатом народа коми, публицист, историк, писатель...

Русский патриот, принципиальный противник эмиграции, революционер, демократ, эклектик («да, эклектик, – писал он мне однажды, – и не вижу в этом ничего плохого»).

Жаргонное слово «подельник», кажется, уже не нуждается в объяснении. Дважды – в 1957 и в 1970 г. – мы были с ним подельниками, дважды выслушивали стоя: «Именем Российской Советской...» Еще более странно, что судили нас оба раза за одно и то же, и не только в общем виде – самиздат, «клевета», «антисоветизм»... – но даже оба раза инкриминировали распространение одного и того же текста: его, Револьта, послесловия к «секретному» докладу Хрущева на XX съезде.

Хрущев, XX съезд, «оттепель»... Далекая молодость, будто сто лет прошло. Шестидесятники «вышли» из хрущевского доклада, как русские писатели из гоголевской «Шинели». Но про Револьта этого не скажешь. Его первый политический поступок – выход из ВЛКСМ и ответная репрессия властей – психушка – приходятся на 1949 г. Но говорить, что уже тогда Пименов стал «бороться с режимом», разумеется, было бы преувеличением. Начало его сознательной деятельности, скорее либерально-просветительской, а уж потом – подпольно-революционной, относится к 1956 году.

Пименов действительно считал себя революционером, хотя, в отличие от любимых им народовольцев и социалистов-революционеров, он о «насильственном свержении», о заговоре не помышлял. Слово и пишущая машинка были его оружием.

Сейчас модно говорить о «бесовщине». Особенно же те говорят, кто вовремя от этой «бесовщины» увернулся, поджал хвост и ушел в кусты. Я утверждаю, что Револьт Пименов и его окружение никакой «бесовщиной» не страдали. Ясное дело, в любой подпольной организации в СССР появлялись стукачи и подосланные провокаторы. Это нормально. Но никакой нечаевщины, сознательного обмана товарищей, здесь не было. Как, впрочем, и во многих других родственных подпольных и полуподпольных кружках тех лет.

На следствии Револьт держался мужественнее других. Его стойкость и принципиальность в тюремно-лагерных условиях засвидетельствована очевидцами.

В тюрьмах он предпочитал одиночки. Если позволяли условия, занимался математикой и писал стихи. Во Владимирской тюрьме изучал вымирающую породу людей, «сделанных из особого материала», – сидевших вместе с ним бериевских генералов и полковников.

После выхода из тюрьмы (1963 г.) продолжал заниматься наукой и самиздатом. Но подполья для него больше не было, на смену подполью приходило движение за права человека.

Есть рифмующиеся периоды в послевоенной советской истории. Вошли советские танки в Будапешт – внутри страны начали сажать. Вошли советские танки в Прагу – снова гонения. Снова обыски на квартире Пименова, изъятия многочисленного

А.Д.Сахаров с Револьтом Пименовым. Сыктывкар, Коми АССР, 19 мая 1989.

самиздата – в том числе знаменитых «Двух тысяч слов» – и арест, и снова мы подельники на процессе в Калуге. Это был первый процесс, на котором фактически судили «Хронику текущих событий», первый процесс, на который приехал А.Д.Сахаров и получил возможность сидеть среди переодетой «комитетской» публики.

На этот раз мы, можно сказать, отделались «легким испугом»: по 5 лет ссылки каждому. Для того, кто сидел в тюрьмах и лагерях, ссылка не так уж страшна. Револьт попал в Коми АССР.

Через 20 лет бывший ссыльный математик, несмотря на всевозможные интриги местного партаппарата, был избран здесь, в Коми, народным депутатом РСФСР, не в последнюю очередь благодаря поддержке А.Д.Сахарова, специально прилетевшего в Сыктывкар, чтобы агитировать за Пименова – за дважды судимого и ни разу не реабилитированного.

Последней общественной работой Револьта было участие в Конституционной комиссии РСФСР. Там, в Архангельском, он почувствовал недомогание – и потом оказалось: рак.

Он умер 19 декабря 1990 г. в клинике бывшего Восточного Берлина, похоронен на Северном кладбище Ленинграда. Напрасно, по-моему, его отпевали в церкви: дело не в том, что он был некрещеный, но в том, что он не верил в Бога. Надо все же уважать и «чувства неверующих»...

Револьт Пименов прошел путь от туманно-социалистических (впрочем, немарксистских) идеалов к либерализму. Один из основополагающих пунктов его предвыборной программы – диффузия собственности, «отделение экономики от правительства». В журнале «Урал» он писал: «Мне все рассуждения в терминах «капитализм», «социализм» обрыдли давно. Как ученый, привыкший к точности научной терминологии, я пришел к убеждению, что сами термины эти некорректны, устарели и не охватывают существа современных политико-экономических проблем».

Сначала как кандидат в депутаты, а затем уже как народный депутат, он столкнулся напрямую с народом, со своими избирателями. И тут оказалось, что он не готов к «неожиданной и очень трудной задаче: научиться говорить на языке демоса, не превратившись в демагога». Впрочем, не готов оказался не только он... Но важно, что он поставил эту проблему.

Жизнь Револьта Пименова не прошла бесследно для нас, его современников. Он был сильной, яркой и оригинальной личностью. Жаль, что его общественная деятельность оборвалась так рано. Как раз тогда, когда силы неосталинизма двинулись в свой «последний и решительный» бой. ●

Борис Вайль

Принцип равенства, делающий людей независимыми друг от друга, прививает им обыкновение и склонность руководствоваться в своих действиях единственно лишь своей собственной волей. Полная независимость, которой они всегда пользуются по отношению к себе равным в частной жизни, заставляет их следить ревнивым взором за любого рода властью и быстро внушает им идею политической свободы и любовь к ней. Люди, живущие в такие времена, обладают естественной склонностью к свободным общественным институтам. Возьмите наугад любого из них и исследуйте, если сможете, его самые глубинные влечения; вы обнаружите, что из всех правительств ему прежде всего придет в голову и будет оценено наиболее высоко такое, главу которого он избрал сам и чью администрацию он может контролировать.

Из всех политических следствий, вызванных равенством условий, эта любовь к независимости есть первое, что поражает наблюдателей и внушает тревогу несмелым; нельзя сказать, что эта тревога совсем необоснована, ибо анархия в демократических странах имеет более устрашающий облик, чем где бы то ни было. Поскольку граждане не имеют прямого влияния друг на друга, то, когда терпит крушение верховная власть нации, удерживающая каждого в соответствующем положении, очевидно, что беспорядок должен мгновенно достигнуть наивысшего уровня и ткань общества распадается, поскольку все его члены увлекаются в различных направлениях.

Я убежден, однако, что анархия – это не главное, а наименьшее зло, которого должен опасаться демократический век. Ибо принцип равенства порождает две тенденции: одна ведет людей прямиком к независимости и может внезапно ввергнуть их в анархию; другая ведет более длинным, более тайным, но и более верным путем – к порабощению. Нации легко замечают первую тенденцию и готовы ей противостоять; но их, незаметно для них самих, увлекает другая тенденция; вот почему особенно важно на нее указать.

Что касается меня, то я весьма далек от того, чтобы осуждать принцип равенства за то, что он делает людей непокорными, более того, именно это обстоятельство вызывает мое одобрение. Я с восторгом наблюдаю, как принцип равенства отлагает в умах и сердцах людей смутную идею политической независимости и инстинктивную любовь к ней, создавая тем самым противоядие против зла, которое он порождает; именно по этой причине я так к нему привержен.

Шарль-Алексис-Анри Клерель де Токвиль,
«О демократии в Америке» (1840 г.)

ВСЕ МЕРТВЫЕ ЛИТВЫ...

Останки литовских ссыльных, погибших за Полярным кругом, извлекают из земли для перенесения их на Родину.